И. И. Лажечников

ЛЕДЯНОЙ ДОМ



И.И.Лажечников

ЛЕДЯНОЙ ДОМ

Роман



Москва
«Художественная литература»
1988

ББК 84Р1
Л16

Классики и современники

Русская классическая литература



Текст печатается по изданию:
Лажечников И. И. Ледяной дом. М., Художественная литература, 1970

Послесловие
А. РОГИНСКОГО

Художник
А. ЛУРЬЕ

Л $\frac{4702010100-017}{028(01)-88}$ 18-88

ISBN 5-280-00022-1

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I

СМОТР

Какая смесь одежд и лиц,
Племен, наречий, состояний!

Пушкин

Поник задумчивой главой.
Пора весны его с любовию, тоской
Промчалась перед ним. Красавиц томны очи,
И песни, и пиры, и пламенные ночи,
Все вместе ожило; и сердце понеслось
Далече...

Он же

Боже мой! Что за шум, что за веселье на дворе у кабинет-министра и обер-егермейстера Волынского? Бывало, при блаженной памяти Петре Великом не сделали бы такого вопроса, потому что веселье не считалось диковинкой. Грозен был царь только для порока, да и то зла долго не помнил. Тогда при дворе и в народе тешились без оглядки. А ныне, хоть мы только и в четвертом дне святок (заметьте, 1739 года), ныне весь Петербург молчит тишиною келии, где осужденный на затворничество читает и молитвы свои шепотом. После того как не спросить, что за разгулье в одном доме Волынского?

Только что умолкли языки в колоколах, возвестившие конец обедни, все богомольцы, поодиночке, много по двое, идут домой, молча, поникнув головою. Разговаривать на улицах не смеют: сейчас налетит подслушник, переведет беседу по-своему, прибавит, убавит, и, того гляди, собеседники отправляются в полицию, оттуда и подалее, соболей ловить или в школу заплечного мастера. Вот, сказали мы, идет народ домой из церквей, гру-

стный, скучный, как с похорон; а в одном углу Петербурга тешатся себе нараспашку и шумят до того, что в ушах трещит. Вскипает и переливается пестрая толпа на дворе. Каких одежд и наречий тут нет? Конечно, все народы, обитающие в России, прислали сюда по чете своих представителей. Чу! да вот и белорусец усердно надувает волынку, жид смычком разогревает цимбалы, казак пощипывает кобзу; вот и пляшут и поют, несмотря, что мороз захватывает дыхание и костенит пальцы. Ужасный медведь, ходя на привязи кругом столба и роя снег от досады, ревом своим вторит музыкантам. Настоящий шабаш сатаны!

Православные, идущие мимо этой бесовской потехи, плюньте и перекреститесь! Но мы, грешные, войдем на двор к Волынскому, продеремся сквозь толпу и узнаем в самом доме причину такого разгульного смешения языков.

— Мордвы! чухонцы! татары! камчадалы! и так далее...— выкликает из толпы по чете представителей народных великий, превеликий или, лучше сказать, превысокий кто-то. Этот кто-то, которого за рост можно бы показывать на масленице в балагане,— гайдук его превосходительства. Он поместился в сенях, танцуя невольно под щипок мороза и частенько надувая себе в пальцы песню проклятия всем барским затеям. Голос великана подобен звуку морской трубы; на зов его с трепетом является по порядку требуемая чета. Долой с нее овчинные тулупы, и национальность показывается во всей красоте своей. Тут, не слишком учтиво, оттирает он сукном рукава своего иному или иной побелевшую от мороза щеку или нос и, отряхнув каждого, сдает двум скороходам. Эти ожидают своих жертв на первой ступени лестницы, приставив серебряные булавы свои к каменным, узорочным перилам. Легкие, как Меркурии, они подхватывают чету и с нею то мчатся вверх по лестнице, так что едва можно успеть за красивым панашом, веющим на их голове, и за лоснящимся отливом их шелковых чулок, то пинками указывают дорогу неуклюжим восприемышам своим. Говоря о скороходах, не могу не вспомнить слов моей няньки, которая некогда, при рассказе о золотой старине, изъявляла сожаление, что мода на бегунов-людей заменилась модою на рысаков и иноходцев. «Подлинно чудо были эти скороходы,— говорила старушка,— не знали одышки, оттого-де, что легкие у них вытравлены были зелиями. А одежа, одежа,

мое дитятко, вся, как жар, горела; на голове шапочка, золотом шитая, словно с крыльями; в руке волшебная тросточка с серебряным набалдашником: махнет ею раз, другой, и версты не бывало!» Но я с старушкою заговорился. Возвратимся в верхние сени Волынского. Здесь *маршалок*[1] рассматривает чету, как близорукий мелкую печать, оправляет ее, двумя пальцами легонько снимает с нее пушок, снежинку, одним словом все, что лишнее в барских палатах, и, наконец, провозглашает ставленников из разных народов. Дверь настежь, и возглас его повторяется в передней. Боже мой! опять смотр. Да будет ли конец? Сейчас. Вот кастелян и кастелянша, оглядев набело пару и объяснив ей словами и движениями, что она должна делать, ведет ее в ближнюю комнату. Фаланга слуг, напудренная, в ливрейных кафтанах, в шелковых полосатых чулках, в башмаках с огромными пряжками, дает ей место. И вот бедная чета, волшебным жезлом могучей прихоти перенесенная из глуши России от богов и семейства своего, из хаты или юрты, в Петербург, в круг полутораста пар, из которых нет одной, совершенно похожей на другую одеждою и едва ли языком; перенесенная в новый мир через разные роды мытарств, не зная, для чего все это делается, засуеченная, обезумленная, является, наконец, в зале вельможи перед суд его.

Пара входит на лестницу, другая пара опускается, и в этом беспрестанном приливе и отливе редкая волна, встав упрямо на дыбы, противится на миг силе ветра, ее стремящей; в этом стаде, которое гонит бич прихоти, редко кто обнаруживает в себе человека.

Было б чему и нашим современникам подивиться в зале вельможи! Глубокие окна, наподобие камер-обскуры, обделанные затейливыми барельефами разных цветов, колонны по стенам, увитые виноградными кистями, огромные печи из пестрых изразцов, с китайскою живописью и столбиками, с вазами, с фарфоровыми пастушками, похожими на маркизов, и маркизами, похожими на пастушков, с китайскими куклами, узорочные выводы штукатуркою на потолке и посреди его огромные стеклянные люстры, в которых грань разыгрывается необыкновенным блеском: на все это и нам можно бы полюбоваться. Бедные дикари не знают, где стать, чтобы не ступить на собственную фигуру, отражающую-

---

[1] Дворецкий. *(Примеч. автора.)*

ся в налощенном штучном полу. Смешно видеть, как и наши простодушные предки, входя в залу вельможи, принимают картины в золотых рамах за иконы и творят пред ними набожно крестные знамения.

Посреди залы, в богатых креслах, сидит статный мужчина, привлекательной наружности, в шелковом светло-фиолетовом кафтане французского покроя. Это хозяин дома, Артемий Петрович Волынской. Он слывет при дворе и в народе одним из красивейших мужчин. По наружности можно дать ему лет тридцать с небольшим, хотя он гораздо старее. Огонь черных глаз его имеет такую силу, что тот, на ком он их останавливает, невольно потупляет свои. Даже замужние, бойкие женщины приходят от них в смущение; пригожим девицам мамки, отпуская их с крестным знамением на куртаги [1], строго наказывают беречься пуще огня глаза Волынского, от которого, говорят они, погибла не одна их сестра.

Из-за высокой спинки кресел видна черная, лоснящаяся голова, обвитая белоснежною чалмою, как будто для того, чтобы придать еще более достоинства ее редкой черноте. Можно бы почесть ее за голову куклы, так она неподвижна, если бы в физиономии араба не выливалась душа возвышенно-добрая и глаза не блистали то негодованием, то жалостью при виде страданий или неволи ближнего.

В нескольких шагах от Волынского, по правую его сторону, сидит за письменным столом человечек, которого всего можно бы спрятать в медвежью муфту. Лицо его в кулак стянуто, как у старой обезьяны; на нем видно и лукавство этого рода животных. Он ужимист в своих движениях, уступчив или увертлив в речах, глаза и уши его всегда на страже. Ни одна исправная гауптвахта не успевает так скоро отдавать честь, как он готов на все ответы. Эта маленькая каракулька, ученая, мудреная и уродливая, как гиероглиф,— секретарь кабинет-министра, Зуда. Он записывает имена и прозвания лиц, являющихся на смотр, замечания, долетающие к нему с высоты кресел, и собственные свои. Чего Волынской не договаривает, то он дополняет.

В отдалении, почти у двери передней, стоит молодой человек. По одежде он не солдат, не офицер, хотя и в мундире; наружность его, пошлую, оклейменную с ног

---

[1] Приемные дни во дворце *(нем.)*.

до головы штемпелями нижайшего раба, вы не согласились бы взять за все богатства мира. Чего в ней нет? И глупость, и разврат, и низость. Один свинцовый нос — достаточный изъяснитель подвигов, совершенных его обладателем, и указатель пути, по коему он идет. Это Ферапонт Подачкин, вольноотпущенный Волынского и в должности пристава. Ему-то поручено было доставить в Петербург из Твери сто разноплеменных пар, собранных там с разных мест России,— доставить живьем и незапятнанных морозом. По какой же *протекции* получил он столь важный *пост*? Мать его — *барская барыня* в доме кабинет-министра. Она спала и видела, чтобы произвесть своего сынка в офицеры, то есть в такие люди, которые могут иметь *своих* людей: высшая степень честолюбия подобного класса и образования женщин! Волынской, хотя человек умный и благородный, имел слабость не отказать в просьбе Подачкиной, помня старые заслуги мужа ее, бывшего его дядьки: за исправное, честное и усердное исполнение порученного Ферапонту дела обещан ему первый офицерский чин. А там, кто ведает, на какую высоту полез бы он, открыв себе ключом четырнадцатого класса врата в капище почестей! Надо заметить, что в тогдашнее время не нуждались в аттестате на чин коллежского асессора,— о, ох! этот уже аттестат! И вот Ферапонт, по батюшке Авксентиевич, близок уже к своей цели. Еще один шаг, одно барское спасибо — и новое ваше благородие в России. Участь его должна решиться на сегодняшнем смотру: или дворянское достоинство, или палки на спину. Он теперь необыкновенно низко повесил голову — признак, что дух его встревожен и он ожидает невзгоды за какую-либо неудачу или промах.

Сравните белое лицо кандидата в благородия и черное лицо невольника: кажется, они поменялись своими назначениями. Где ж маменька ужасного честолюбца? — Видите ли направо, у дверей буфета, эту пиковую даму, эту мумию, повязанную темно-коричневым платочком, в кофте и исподнице такого же цвета? Она неподвижна своим туловищем, вытянутым, как жердь, хотя голова ее трясется, вероятно от употребления в давнопрошедшие времена сильного притирания; морщиноватые кисти рук ее, убежавшие на четверть от рукавов, сложены крестообразно, как у покойника; веками она беспрестанно хлопает и мигает, и если их останавливает, то для того, чтобы взглянуть на свое создание,

на свое сокровище, на свою славу. Прошу хорошенько заметить: это она, дражайшая родительница драгоценного дитятки.

Мы сказали уже, что Подачкина (по имени и отчеству Акулина Саввишна) — *барская барыня*. Это звание в старину было весьма важное: в него избирались обыкновенно жены заслуженного камердинера, дворецкого, дядьки и тому подобной почетной дворни. Она присутствовала при туалете госпожи своей, заведовала ее гардеробом, служила ей домашними газетами, нередко докладчицею по тайным делам мужниной половины, и играла во дворе *своем* посредническую роль между властителями и слугами. Заметьте, она — *барыня,* но только *барская*!.. Придумать это звание могла лишь феодальная спесь наших вельмож тогдашнего времени. Впоследствии и мелкие дворяне завели у себя такое должностное лицо. Еще и ныне в степной глуши звучит иногда имя барской барыни, но потеряло уже свое сильное значение.

Ни одного шута, ни одной дуры и дурочки в зале! Уж по этому можно судить, что Волынской, смело пренебрегая обычаями своего времени, опередил его.

— Как думаешь, Зуда? — сказал кабинет-министр, обращаясь с приметным удовольствием к секретарю своему,— славный и смешной праздник дадим мы государыне!

— Об нем только и говорят в Петербурге,— отвечал секретарь, привстав немного со стула.— Думаю, что он долгое время занимать будет стоустую молву и захватит себе несколько страниц в истории.

Кабинет-министр дал знак головою, чтобы секретарь садился, и продолжал усмехаясь:

— Разве наш господин Тредьяковский удостоит сохранить его в своих виршах...

— О которых все столько кричат.

— Потому что их никто не понимает.

— Известно, однако ж, что ваше превосходительство с некоторого времени сделались самыми ревностными поклонниками нашего Феба и очень частенько изволите черпать в тайнике его.

— Ты хочешь сказать, с того времени, как милая молдаванская княжна стала учиться русскому языку. Да, бывший надутый школьник Тредьяковский ныне Василий Кириллович, в глазах моих великий, неоцененный человек; я осыпал бы его золотом: не он ли выучил Ма-

риорицу первому слову, которое она сказала по-русски?.. И если бы ты знал, какое слово!.. В нем заключается красноречие всех твоих Демосфенов и Цицеронов, вся поэзия избранной братьи по Аполлону. Василия Кирилловича за него непременно в профессоры элоквенции [1]! Я ему это обещал и настою в своем слове.

Волынской говорил с особенным жаром; только слова: *молдаванская княжна, Мариорица,* старался он произнести так тихо, что, казалось ему, слышал их только секретарь. Этот, заметив, что лицо барской барыни, может быть поймавшей на лету несколько двусмысленных слов, подернуло кошачьею радостью, старался обратить разговор на другое.

— Слышно, что господин Тредьяковский,— сказал он,— действительно собирается описать подробно, в нескольких томах, праздник, который вам поручено устроить.

— Потянемся и мы с тобою, любезный, к потомству в веренице скоморохов. Завидная слава!.. Расхохочутся же наши внуки, а может быть, и пожмут плечами, читая в высокопарном слоге, что кабинет-министр занимался шутовским праздником с таким же вниманием и страхом, как бы дело шло об устройстве государства.

— Разве, утешая этим больную владычицу севера, которая столько жалует вас, вы не творите полезного...

— Для одного курляндца... Посмотри, он еще затеет какие-нибудь торжества, игрища, все под видом неограниченной преданности к государыне; но для того только, чтобы меня занять и между действиями сыграть ловче свои штуки...

Барская барыня сделала опять легкую гримасу; сын ее вытянул шею и силился что-то настигнуть в словах Волынского, но, за недостатком дара божьего, остался при своем недоумении, как глупый щенок хочет поймать на лету проворную муху, но щелкает только зубами. Зуда спешил наклониться к своему начальнику и шепнул ему:

— Осмотритесь! вы забыли уроки Махиавеля...

Последнее слово, казалось, было условным паролем между кабинет-министром и секретарем. Первый замолчал; другой свел свои замечания на приходящих, которых разнообразие одежд, лиц и наречий имело такую

---

[1] Красноречия *(лат.)*.

занимательность, что действительно могло оковать всякое прихотливое внимание.

Вот статная, красивая девушка из Торжка, с жемчужным *венцом*, наподобие отсеченной сахарной головы; он слегка прикрыт платком из тончайшей кисеи, которого концы, подвязав шею, прячутся на груди. На лоб опускаются, как три виноградные кисти, *рязки* из крупного жемчуга, переливающего свою млечно-розовую белизну по каштановым волосам, слегка обрисованным; искусно заплетенная коса, роскошь русской девы [1], с блестящим бантом и лентою из золотой бити, едва не касается до земли. Ловко накинула девушка на плеча свой парчовой полушубок, от которого левый рукав, по туместной моде, висит небрежно; из-под него выказывается круглое зеркальце, неотъемлемая принадлежность *новоторжской* красоты. Богатая *ферезь* ее, как жар, горит. Легко ступает она в цветных сафьянных черевичках, шитых золотом. Рядом с нею ее чичисбей — вы смеетесь? Да, таки чичисбей [2]: горе тамошней девушке, если она его не имеет! Это знак, что она очень дурна: мать сгонит ее с белого света, подруги засмеют. Раз избранный, он неотлучен от нее на вечерних и ночных прогулках. Какой молодец! Удальство кипит в его глазах: зато он и слывет первым кулачным бойцом на поголовном новоторжском побоище. За ними — дородная мордовка в рубашке, испещренной по плечам, рукавам и подолу красною шерстью, как будто она исписана кровью; грудь ее отягчена серебряными монетами разной величины в несколько рядов; в ушах ее по шару из лебединого пуху, а под ним бренчат монеты, как бляхи на узде лошадиной. Вот человеческий лик, намалеванный белилами и румянами, с насурменными дугою бровями, под огромным кокошником в виде лопаты, вышитым жемчугом, изумрудами и яхонтами. Этот лик носит сорокаведерная бочка в штофном, с золотыми выводами, сарафане; пышные рукава из тончайшего батиста окрыляют ее. Голубые шерстяные чулки выказы-

---

[1] В Торжке есть поговорка:
Ты расти, расти, коса,
до шелкова пояса;
вырастешь, коса,
будешь городу краса.
(Примеч. автора.)

[2] Счаливан. *(Примеч. автора.)* — От старинного выражения «быть счалену», то есть сдружиться.

вают ее пухлые ноги, а башмаки, без задников, на высоких каблуках, изменяют ее осторожной походке. Рекомендую в ней мою землячку, коломенскую пастильницу. Далее миловидная, стройная казачка держится так, что хочет, кажется, пристукнуть медными подковками свою национальную пляску. Вот и калмык раззевает свои кротовые глазки, чтобы взглянуть на чудеса русские; с ним все житье-бытье его — колчан со стрелами и божки его, которых он из своих рук может казнить и награждать. Вот... Но всех занимательных лиц не перечтешь на сцене.

Пары являлись и уходили попеременно, говорили мы. Распорядитель праздника с вниманием модистки рассматривал одеяния (заметьте) пригожих женщин, какого бы они племени ни были, и некоторых из них пригласил даже остаться в зале, чтобы погреться. Ласковое внимание знатного барина, которого наши прадеды почитали за полубога, и к тому ж барина пригожего, зажигало приветливый огонь в глазах русских девушек и, как сказали бы тогдашние старушки, привораживало к нему. Мелькнуло еще несколько пар. Вдруг хозяин дома глубоко задумался. Голова его опустилась на грудь; черные длинные волосы пали в беспорядке на прекрасное, разгоревшееся лицо и образовали над ним густую сеть; в глазах начали толпиться думы; наконец, облако печали приосенило их. Долго находился он в этом положении. Никто из домашних этому не удивлялся, ибо с ним такой припадок с недавнего времени случался нередко, даже на дружеских пиршествах и придворных куртагах; действительно ли это был болезненный припадок, или прихоть вельможи, или срочная дань какому-то предчувствию, мы того сказать не можем. Все молчало в зале, боясь пошевелиться; казалось, все в один миг окаменели, как жители Помпеи под лавою, на них набежавшею. Где были тогда думы Волынского? Куда перенесся он? Не играл ли беззаботно на родном пепелище среди товарищей детства; не бил ли оземь на пирушке осушенную чашу, заручая навеки душу свою другу одного вечера; не принимал ли из рук милой жены резвое, улыбающееся ему дитя, или, как тать, в ночной глуши, под дубинкой ревнивого мужа, перехватывал с уст красавицы поцелуй, раскаленный беснующимися восторгами? Зачем также не полагать, что он заседал в Кабинете, где бросал громы красноречия на ябеду и притеснения, или в дружеском кругу

замышлял падение временщика? Кто знает, может статься, он грозно смотрел в очи палачу, когда тот поднимал на него секиру! Где были тогда думы Волынского, неизвестно нам; но, судя по характеру его, они могли быть везде, где мы дали им место. В его душе страсти добрые и худые, буйные и благородные владычествовали попеременно; все было в нем непостоянно, кроме чести и любви к отечеству.

Женатый лет с восемь на пригожей, милой женщине, он между тем искал, где только мог, любовных приключений, которые обращать в свою пользу был большой искусник. Впрочем, ничто не нарушало согласия четы. Сердце Волынского не знало постоянной страсти, а после мгновенной ветрености он возвращался всегда пламенным любовником к ногам супруги. Ее душевные и наружные достоинства умел он лучше оценить после сравнения с другими предметами его волокитства. Сказывали также, или он говорил, что жена его смотрела будто бы довольно хладнокровно на его проказы. Он не имел детей, но всегда их желал. Лаская чужих, забывал, что они не его, и эта любовь к детям, соединяясь с мыслию, что судьба отказала ему быть отцом, делала его иногда особенно грустным. С некоторого времени жена его гостила у родных в Москве, где и занемогла опасно. Носились даже слухи, что она умерла. Может быть, старался подтвердить их и сам Волынской. В продолжение этой разлуки барская барыня составила порядочный входящий журнал его проказам для поднесения своей госпоже; особенно один новый нумер, по необыкновенной важности, требовал больших трудов для очистки.

Но ветреник в делах сердечных был совсем другой в делах государственных, и если б порывы пламенной души его не разрушали иногда созданий его ума, то Россия имела бы в нем одного из лучших своих министров. Природные дары старался он образовать чтением лучших иностранных писателей, особенно политических, для перевода которых держал у себя Зуду, ученого, хитрого, осторожного, служившего ему секретарем и переводчиком, ментором и поверенным. Любя свое отечество выше всего, он тем с большим негодованием смотрел, как Бирон полосовал его бичом своим, и искал удобного случая, открыв все государыне, вырвать орудия казни из рук, которым она вверила только кормило своего государства. В то время, когда ра-

болепная чернь падала пред общим кумиром и лобызала холодный помост капища, обрызганный кровью жертв; когда железный уровень беспрестанно наводился над Россиею, один Волынской, с своими друзьями, не склонял пред ним благородного чела. Возвышенному характеру его давали эту смелость и нужда в нем по делам государственным и милостивое внимание к нему государыни, знавшей его преданность к ней и любовь к отечеству. Трудно было разуверить в этом императрицу. Бирон же, добиваясь возможности погубить своего соперника, не только не показывал, что оскорблялся его гордостью, но, напротив, казался к нему особенно внимателен и при всяком случае старался обратить на него милости ее величества. Впрочем, оба измеряли друг друга, чтобы вернее и ловче уронить. Один из них непременно должен был пасть.

Мы оставили нить нашей повести в зале Волынского, когда он задумался. Минуты эти канули в вечность — он встрепенулся, поднял голову, заложил за уши черные кудри свои и осмотрелся кругом. Перед ним стояли цыган и цыганка. Последняя, красавица в полном смысле этого слова, но красавица уже отцветшая, с орлиною проницательностью рассматривала вельможу с ног до головы. Казалось, она любовалась им. Если бы нас спросили, что она думала тогда, мы б сказали: такого бравого мужчину желала своей дочери! Можно ли поверить? — кабинет-министр устыдился, что был застигнут в своем припадке взором цыганки, пристально на него устремленным! Однако ж это было так: он смутился, как будто пораженный чем-то.

— Чудесная игра природы!..— воскликнул он, наконец, обращаясь к Зуде.— Замечаешь ли?

— Я видел... только раза три... и поражен необычным сходством,— отвечал секретарь, сощурив лукаво свои глазки.

Во время этого переговора на лице цыганки переливалось какое-то замешательство; однако ж, победив его, она своими смелыми взорами пошла навстречу пытливым взорам кабинет-министра и секретаря его.

— Как тебя зовут? — спросил ее Волынской.

— Мариулой,— отвечала она.

— Даже имя!.. Диковина!.. Знаешь ли, Мариула, что лицо твое самое счастливое?

— Таланливо оно и тем, что полюбилось вашей милости.

— Останься здесь; я с тобою еще поговорю.

Цыганка благодарила, приложив руку к сердцу и немного наклонившись, потом стала позади кресел вельможи, в некотором отдалении.

— Кто далее? — спросил Волынской.

Явилась малороссиянка, одна.

— Где ж пара ее? — был грозный вопрос Артемия Петровича.— Эй, Подачкин! Я тебя спрашиваю.

При этом вопросе свинцовый нос Подачкина побелел; матушка его необыкновенно дрогнула плечами и затрясла головой, как марионетка, которую сильно дернули за пружину. Этот вопрос поднял всю нечисть со дна их душ.

Правящий должность пристава сделал несколько шагов вперед и, запинаясь, отвечал:

— Это пьяница, ваше превосходительство, презлой, и пресердитый, и преупрямый, ваше превосходительство...

— Так что ж? ты не мог его усмирить?

— Дорóгой я уломал было его. Да под Санкт-Питером он начал огрызаться на меня, ваше превосходительство, мы уж и побаивались, что кусаться станет. Памятуя долг присяги и точный смысл данной мне инструкции, я поспешил набить на него колодки.

— Лжешь! тебе дана инструкция обходиться как можно лучше с людьми, которых тебе поручат: на это была собственная воля государыни.

— Божусь богом, ваше превосходительство, чтоб мне в тартарары провалиться, колодки прелегкие, и коли позволите, я пройду в них целую версту, не вспотев. А он ехал в них, да еще в крытой кибитке!

— Куда ж он теперь девался?

— Колодки с него сбили, когда вели его сюда на смотр, и он невесть как пропал...

— Бездельник! Знаю все... я хотел только испытать тебя... ты продаешь меня фавориту... Гм! людей сбывают, как поганую кошку!.. люди пропадают среди бела дня! Но я отыщу, хотя б мертвого... хотя остатки вырву из волчьей пасти!.. Пора, пора и волка на псарню!

— Саввишна! — прибавил грозно Волынской, взглянув на барскую барыню,— полюбуйся подвигами своего сынка. Как думаешь, мало его повесить за такое дело!

Саввишна поклонилась, сложа руки, и ответствовала голосом глубочайшего смирения:

— Буди твоя барская воля, батюшка! Ты над нами владыка, а мы твои рабы.

— Ты в этих делах не участница,— продолжал Волынской, смягчив голос,— я знаю, ты всегда была предана роду нашему. Но этому мошеннику стоило б набить колодки, такие же легонькие... кабы я не дал себе слова...

— Батюшка! отец родной! — завопила барская барыня,— помилуй за службу покойного мужа моего, а вашего дядьки. И я тебе, милостивец, служу сколько сил есть, готова за кроху твою умереть... Вот что ты, глупый, наделал,— прибавила она, обратясь к своему сыну и горько всхлипывая.

— С глаз моих долой, негодяй! Счастлив, что не по тебе отец и мать. Теперь оставьте меня, вы все, кроме тебя, мой дорогой Зуда, и тебя...

Здесь Артемий Петрович дал знак рукой цыганке, чтобы она не уходила.

— Смотр остальным завтра!

Глава II

ЦЫГАНКА

> Я цыганка не простая...
> Знаю ворожить.
> Положи, барин, на ручку,
> Всю правду скажу.
>
> *Опера «Русалка»*

Волынской, цыганка, сделавшая на него какое-то чудное впечатление, и Зуда остались втроем. Тогда Артемий Петрович подозвал ее к себе и ласково сказал ей:

— Смолоду ты была, верно, красавицей?

Цыганка, несмотря на свои лета, покраснела.

— Да, барин,— отвечала она,— в свое время много таких знатных господчиков, как ты, за мною увивалось; может статься, иной целовал эти руки,— ныне они черствые и просят милостыню! О! тогда не выпустила бы я из глаз такого молодца. Но прошлого не воротишь; не соберешь уже цвета облетевшего.

— Нет ли у тебя дочки? Мне любопытно было бы видеть ее.

— Кабы имела, я сама привела бы ее к тебе на колена. Народила я деток не для свету божьего; да и кстати! не таскаются за мной, не пищат о хлебе. Уложила всех спать непробудным сном.

— Жаль, очень жаль, что у тебя нет взрослой дочки, а то б сличил... Чудесное сходство! Чем более всматриваюсь, тем удивляюсь более... Даже маленькая, едва заметная веснушка на левой щеке!.. Знаешь ли, Мариула, что ты походишь на одну мою знакомую княжну как розан увядающий на розан, который только что распукивается?

Во время этих замечаний на лице цыганки показались белые пятна, губы ее побледнели; но она, силясь улыбнуться, отвечала:

— Покажи мне, желанный мой, когда-нибудь мою двойнюшку.

— Пожалуй, я доставлю тебе этот случай. Во дворце, как и везде, старые и молодые девки любят ворожить об суженых.

— Так эта княжна живет во дворце? — спросила Мариула, и глаза ее необыкновенно заблистали, и румянец снова выступил на лицо.

— Под бочком у самой государыни. Государыня ее очень жалует.

— Куда ж нам, воронам, в такие высокие хоромы! Чай, одышку схватишь, считая ступени вверх по лестнице,— каково ж, когда заставят считать вниз!

— Со мною сойдешь и взойдешь безопасно, только чур, уговор, поворожить княжне на мою руку, понимаешь...

— Понимаю, понимаю, это наше дело!.. Видно, ты больно заразился ею?

— По уши!

— И... наверно, она... также тебя любит?

— Ты ворожея; отгадай сама!

— Изволь, господин таланливый, пригожий; да только и от меня будет уговор: теперь ты должен положить мне золотой на ручку, а за первый поцелуй, который даст тебе твоя желанная, подарить мне богатую фату.

— Вот тебе рублевик; золотую фату получишь, когда сбудется, о чем говоришь. Чего б я не дал за такое сокровище!

— Побожись, что не обманешь!

— Глупенькая!.. Ну, да будет мне стыдно, коли я солгу.

— Давай же руку свою.

Волынской усмехнулся, посмотрел на Зуду, слегка покачавшего головой, и протянул ладонь своей руки. Цыганка схватила ее, долго рассматривала на ней ли-

нии, долго над ней думала, наконец произнесла таинственным голосом:

— Давно пели вам с пригожей девицей подблюдные песни; были на ваших головах венцы из камени честна, много лобызаний дал ты ей; да недавно ей спели «упокой господи!», дал ты ей заочно последнее земное целование.

Волынской покачал печально головой в знак подтверждения.

— Как будто по-писаному рассказывает,— произнес лукаво Зуда, едва не хлопая в ладоши.

— Деток у тебя нет; тебе их очень хочется.

— Ты вырезала мое сердце и прочла в нем,— сказал, вздохнув, Волынской.— Что ж далее?

— Скоро, очень скоро опять золотой венец!.. твоя суженая девица... рост высокий, черный глаз из ума выводит... бровь дугой... бела, как кипень...

— Скажи лучше, с маленьким загарцем, как чесаный лен; но что твои белянки перед ней!

— Статься может, и ошиблась,— сказала цыганка, покраснев.— Молвлю еще тебе, что она не из земли русской, а из страны далекой, откуда лебеди сюда прилетают...

— О! да это слишком много; ты уж успела поразведать кое-что...

Секретарь пожал плечами и сделал ручками знак восклицания. Мариула, углубясь в рассматривание ладони, продолжала:

— Линии так выходят; не я их проводила! Смотри, береги сокровище; не расточи его своею ветреностию; береги и себя. В твоей суженой не рыбья кровь здешних русских женщин... Первое дитя будет у тебя мужеска пола... Далее черты путаются так, что не разберешь! Довольно для руки сердечной; дай мне правую ручку (Волынской передал ей другую руку). Эта владеет мечом-кладенцем, или... перышком, которое, говорят, режет исподтишка, что твое железо! Правая ручка достает деньги, честь, славу!.. О! для этих вещиц забываете вы и про любовь, а наша сестра горюй и сохни!

— Да какая же ты красноречивая!.. Где всему этому набралась? Видно, вспомнила старину!.. Вот теперь-то и запутаешься...

— Попытаемся!.. Слушай же! Ты в силе у матушки-царицы; но борешься или собираешься бороться с человеком, который еще сильнее тебя. Брось свои затеи

или укроти свой ретивый нрав, уложи свое сердце. Силою ничего не возмешь, разве возьмешь лукавством. Выжидай всего от времени... Уступай шаг первому: довольно, если будешь вторым...

— Хоть десятым,— воскликнул Волынской вне себя,— но только за человеком, который этого бы стоил, который бы любил Россию и делал бы ее счастливою.

— А то, смотри, если эта вторая линия напрямик переступит эту первую,— беда тебе!

— В сторону нашего мертвого Махиавеля! — сказал Зуда,— примемся за живого, который, право, дает советы не хуже хитрого секретаря Цесаря Боргия!

— Мариула! — произнес ласково кабинет-министр,— ты умна, как хорошая книга, видишь много впереди и назади, похожа на одну особу, которую... я уважаю, и потому мне очень полюбилась.

— Дорога мне твоя ласка, господин, дороже злата и серебра.

— Когда ж ты хочешь... видеть свою двойню?

— Хоть сейчас,— хотела сказать цыганка и удержалась.— Ныне, завтра,— отвечала она,— мне все равно, лишь бы твоей милости в угоду было.

— Ныне я никуда не выеду; но завтра поговорю о тебе, как о славной ворожее, придворным барышням, явись в полдень во дворец, спроси меня,— тебя позовут, я за это берусь.

— Во дворец?.. Меня заранее дрожь пронимает.

— Пустяки!.. Дом с людьми, как и мы!.. Только не забудь условия.

— Коли надо тебе будет приворотный корешок или заговоры...

— Скорей твое лукавство и мастерство на некоторые дела. Смотри! (Волынской положил палец на свои губы.)

— Не бойся, барин; ты напал не на такую дуру! Если б пытали меня, скорей откушу себе язык и проглочу его, чем проговорюсь. Прощай же, таланливый мой; не забудь про фату!

— У меня обещано — так сделано! Зуда, напиши от имени моего записку, чтобы ее и цыгана, который с ней, полиция нигде не тревожила и что я за них отвечаю.

Записка была готова в одну минуту, подписана самим кабинет-министром и вручена чудесной Цивилле. Он отправился с Зудой в другую комнату, а Мариула, произнеся вслед им вполголоса, но так, чтобы они слы-

шали: «Зачем я не знатная госпожа? Зачем нет у меня дочери?» — спешила к товарищу своему.

Старый дородный цыган, дожидавшийся своей подруги на дворе, очень обрадовался ее появлению. Жестокий, с лишком в двадцать градусов, мороз прохватывал его до того, что он, за неимением с кем погреться вручную, готов был побарахтаться с медведем. Но как Мариула, после милостивого обхождения с нею кабинет-министра, сделалась важной особой в доме его, то и доставила вход в кухню своему товарищу, едва не окостеневшему. Там его отогрели и обоих накормили, как свиней на убой. Во время их обеда сбегали не раз в кухню дворовые люди и перешептывались о чем-то с поварами. И потому цыганка на вопросы свои, издали забегавшие о семейной жизни гостеприимного и доброго барина, получила только ответы, утвердившие ее в мысли, что Волынской вдовец.

Выходя из дому, она делалась более и более задумчивою и что-то бормотала про себя.

— Какой мороз! — сказал ее товарищ, нахлобучив плотнее свою шапку и подвязывая себе бороду платком.— Того и гляди, что оставишь нос и уши в этом чухонском городке, который ближе бы назвать городскими слободками. Там палаты, около них жмутся мазанки; здесь опять палаты, и опять около них мазанки, словно ребятишки в лохмотьях связались в игру с богатым мужиком. А меж ними луга да площади, как будто нарочно, чтоб ветру ходить было разгульнее!

Цыганка молчала.

— Сильно же машут мельницы! только они и нагреваются ныне. Уф!

Цыганка все хранила угрюмое молчание.

— Ге, ге! да у тебя щека побелела; оттирай скорей.

— Пускай белеет!.. Кабы мороз изрыл мне все лицо так, чтобы признать меня нельзя было!

— Что с тобой, Мариуленька? Ты больно сердита.

— Лишь бы носа не откусил! (Цыганка закрыла его рукавом своим.) Без носу страшно было бы показаться к ней. Сердце петухом поет во мне от одной мысли, что она меня испугается и велит выгнать. (Немного помолчав.) Завтра во дворец?.. Я погублю ее сходством, я сниму с нее голову... На такой вышине, столько счастия, и вдруг... Нет, я не допущу до этого... Вырву себе скорее глаз, изуродую себя... Научи, Василий, как на себя не походить и не сделаться страшным уродом.

— Дай подумать в тепле; а то и мысли стынут.

— Придумай, голубчик; камень с груди свалишь. Меня не жалей, пожалей только мое дитя, мое сокровище. Возьми все, что у меня есть; мало, я пойду к тебе в кабалу.

— Я твой слуга, ты моя кукона и благодетельница; поишь, кормишь, одеваешь меня... Разве только убить себя велишь, тогда тебя не послушаю. Да из какой же беды хочешь себя исковеркать?

— Вот видишь, Вася, по соизволению божью, моя Мариорица здесь... На что ж бы я пришла сюда, как не посмотреть на ее житье-бытье? Мариорица в чести, в знати... за нею ухаживают, как за княжной, за нее сватаются генералы... и вдруг узнают, что она... дочь цыганки!.. Каково мне тогда будет? что станется с нею?.. Нет, не переживу этого! скорей накину на себя петлю!.. На беду, она похожа на меня, как две капли воды; вот уж и Волынской и его приближенный признают это... Признáют и другие!.. Господи, господи! от одной мысли меня в полымя бросает!.. Из княжон в цыганки!.. Каково так упасть!.. Я ее лелеяла, я берегла ее от этого позора; она не знает, что я мать ее,— пусть никогда и не узнает!.. Мне сладко быть матерью, а не называться только ею; сладко видеть Мариорицу счастливою, богатою, знатною; не хочу ничем потревожить ее счастия... Умру с тем, что я могла б одним словом... да! таки одним словом... и не сказала его. Видишь, мне одной обязана она всем. Бог это знает да я! Вот что меня утешает; вот, Васенька, что меня утешит, когда глаза мои станут навеки закрываться.

Мариула утерла слезы на щеках.

— Ну, Мариуленька, разогрела ты меня пуще водки,— сказал старый цыган, покрехтывая,— я помогу как-нибудь твоему горю — вот тебе мое слово свято!

Оба замолчали.

Пусто было на улицах и площадях; лишь изредка мелькал курьер, сидя на облучке закрытой кибитки; по временам шныряли подозрительные лица или гремели мерным звуком цепи и раздавалась заунывная песнь колодников: «Будьте жалостливы, милостивы, до нас, до бедных невольников, заключенных, Христа ради!» На всем пути наших цыган встретили они один экипаж: это был рыдван, облупленный временем; его тащили четыре клячи веревочными постромками, а на запятках стояли три высокие лакея в порыжелых сапогах, в шу-

бах из красной собаки и с полинялыми гербовыми тесьмами; из колымаги же проглядывал какой-то господин в бархатной шубе с золотыми кистями, причесанный à la pigeon [1]. Окошки были опущены, вероятно потому, что не поднимались, и оттого-то грел он себе концы ушей, не закрытые пуклями [2], то правым, то левым рукавом шубы. Василий частенько озирался, стараясь, по приметам домов, не сбиться с пути.

— Что ты так посматриваешь по сторонам? — спросила цыганка.— Не сбились ли мы с дороги? Ведь я сказала тебе, ко дворцу.

— Не бойся; я Петров город знаю, как ты свои Яссы. Былому русскому матросу, да еще матросу Петра Алексеевича, стыдно не знать этого корабельного притона. Нырну и вынырну здесь, где хочу. Пожалуй, я перечту тебе все дома. Вот эти каменные палаты, как сундук с высокой крышкою, Остермановы [3]. Неподалечку выходит на луг деревянный домик со столбиками: это подворье новгородского архиерея Прокоповича. Направо церковь каменная, огороженная деревянным забором, Исакия Далмацкого. Странно! как ни приду в Питер, все она строится. Диковинные были на ней часы с курантами! Тридцать пять тысяч стоили; как час, так и заиграют свои штуки. Года за четыре, говорят, разгневался батюшка Илья-пророк, что музыка над церковью, да и разбил громом часы. Вот, идем мы теперь мимо адмиралтейской крепостцы: небось не перемахнешь чрез валики, даром что водица в канавах заморожена. Смотри-ко, купол-ат над башнею горит, будто славушка Петра Алексеевича. То-то был великий государь, хоть и больно бивал из своих рук! Зато при нем все шло как по маслу, и житье было привольное, веселое, лишь своего дела не запускай. По этой Луговой линии выступали здесь чинно из болот мазанки, да в мазанках слышны были с утра до ночи песни. А теперь, как очистил их пожар, встали наперекор ему высокие палаты — эки гордые, так и прут небо! Мало высокой кровли, давай и на кровлю надеть шляпу, или будку чванливую... Зато ни гугу! молчат, как домовища, и скучны, как остроги.

Цыганка плохо слушала рассказы своего товарища

---

[1] Как голубь *(фр.)*.

[2] Буклями, локонами *(фр.)*.

[3] Ныне дом Сената. *(Примеч. автора.)*

и с нетерпением высматривала вперед, не видать ли дворца. Вдруг кто-то, следовавший за ними так тихо, что скрал шум своих шагов, закричал:

— Стойте! *слово и дело!*

— Батюшка! голубчик! — завопила цыганка, поспешив сунуть в руку незнакомца мелкую серебряную монету,— отпусти; мы идем по делу Артемия Петровича Волынского.

При этом имени незнакомец осмотрелся; видя, что поблизости их не было никого, взял деньги и промолвил:

— Ступайте! хорошо, что на доброго человека напали, а то б не легко распутались.

И в самом деле эта встреча могла бы повести цыган к *заплечному мастеру*. Молча шли они далее. Но скоро показался трехъярусный дом с корабликом на каждых воротах по сторонам, а за ним Зимний дворец. При виде этих палат язык старика вновь развязался.

— Видишь ли,— сказал он,— этот дом с корабликами по бокам?

— Вижу, ну!

— Это дом Апраксина. А за ним палаты, вот что солнышко играет в окнах незамороженных?

— Не дворец ли уж?

— Да, славное житье в нем, а пуще всего, что там больно тепло. Чай, матушка-государыня ходит теперь, спустя рукава, или поваливается на пуховиках! Уф! брр! экой морозина, так и хватает за сердце!

Цыган, говоря это, проворно плечами переминал и частенько похлопывал рукавицами.

— Знаешь ли,— произнесла с восторгом Мариула, удвоив шаги и подняв выше голову,— знаешь ли, что моя Мариорица живет вот тут, в этом дворце?

Старик покачал головою.

— Да, да, неверный, таки живет в этих больших каменных палатах!.. Мариорица — княжна... ее ласкает, любит сама государыня...

— Не морочит ли уж кто тебя?

— Поспорь, я тебе выцарапаю глаза! Сто человек мне это сказывали. Спроси любого прохожего. Все ее хвалят, все ее любят... О! она и сызмала была такая добрая... А Волынской?.. Кабы это случилось?.. Почему ж и не так? Ведь она ему ровнюшка!.. Мариорица княжна... Милая Мариорица!.. Вася, дурачок, миленький, друг мой, что ж ты не говоришь ничего, глухой?

И глаза цыганки прыгали от радости, и щеки ее на

морозе разгорались. Казалось, она готова была идти плясать на площади.

— Не с ума ли ты сошла, моя кукона? [1]

— Правда, есть с чего рехнуться! Погоди, остановимся-ка против дворца.

— Чтобы на нас опять закричали *слово и дело* и посадили в каменный мешок.

— Пускай кричат, пусть запрячут! Не боюсь никого. Видишь, видишь, у одного окна кто-то двигается... может быть, она смотрит... Она, она! Сердце ее почуяло свою мать... Василий! ведь она смотрит на меня? Василий! говори же...

— Смотрит,— сказал старик, вздохнув и качая головой.

— Божье благословенье над тобой, дитя мое! Ты во дворце, милая Мариорица, в тепле, в довольстве, а я... бродяга, нищая, стою на морозе, на площади... Да что мне нужды до того! Тебе хорошо, моя душечка, мой розанчик, мой херувимчик, и мне хорошо; ты счастлива, ты княжна, я счастлива вдвое, я не хочу быть и царицей. Как сердце бьется от радости, так и хочет выпрыгнуть!.. Знаешь ли, милочка, дочка моя, дитя мое, что это все я для тебя устроила...

— Вот к крыльцу подают две кареты золотые, все в стеклах, как жар горят. Экой осмеричок!.. А шоры, видно, из кована золота! Знать, сама государыня изволит ехать, а когда она едет, не велят стоять на дворцовой площади.

— Побежим к крыльцу!

— Воля твоя, наживем себе петлю, а пуще всего, как ты говоришь, погубишь свою...

— Погубить? Дурак! разве я не мать? Может статься, Мариорица поедет... хоть одним глазком взгляну...

И цыганка в несколько прыжков у крыльца дворцового, и покорный товарищ за ней, ни жив ни мертв. В другое время палки осыпали бы их, но было уже поздно...

Появилась государыня Анна Иоанновна среди толпы придворных. По лицу ее, смуглому, рябоватому, но величавому, носилось облако уныния, которое, заметно было, силилась она прикрыть улыбкой. Она недомогала, и медики присоветовали ей как можно более рассеяния и движения на свежем воздухе. Теперь ехала

---

[1] По-молдавански: госпожа. *(Примеч. автора.)*

она в манеж Бирона, где обыкновенно упражнялась с полчаса в верховой езде. Ей вздумалось быть там ныне, не предварив никого, и только едва успели придворные послать к герцогу нарочного уведомить его об этом и двух дежурных пажей в самый манеж приготовить там все к приезду государыни. За нею шло несколько придворных кавалеров и дам в бархатных шубах светлых цветов.

Между этими дамами одна отличалась чудною красотою и собольею островерхою шапочкой наподобие сердца, посреди которой алмазная пряжка укрепляла три белые перышка неизвестной в России птицы. Черные локоны, выпадая из-под шапочки, мешались с соболем воротника. Если б в старину досталось описывать ее красоту, наши деды молвили бы просто: она была так хороша, что ни в сказках сказать, ни пером написать. Это была молдаванская княжна Мариорица Лелемико.

Государыня села в первую карету с придворною дамою постарше; в другую карету вспрыгнула Мариорица, окруженная услугами молодых и старых кавалеров. Только что мелькнула ее гомеопатическая ножка, обутая в красный сафьянный сапожок,— и за княжною полезла ее подруга, озабоченная своим *роброном* [1]. В это время надо было видеть в толпе два неподвижные черные глаза, устремленные на молдаванскую княжну; они вонзились в нее, они ее пожирали; в этих глазах был целый мир чувств, вся душа, вся жизнь того, кто ими смотрел; если б они находились среди тьмы лиц, вы тотчас заметили бы эти глаза; они врезались бы в ваше сердце, преследовали бы вас долго, днем и ночью. Это были два глаза *матери*... Оглянувшись из кареты, заметила их и княжна: она вздрогнула и невольно стиснула руку своей подруги. Кареты двинулись. Раздался в толпе крик, глухой, задушенный, скипевшийся в груди... В этой же толпе хохотали.

— Что такое? — спрашивали друг у друга.

— Упала какая-то цыганка,— отвечали голоса,— видно, сдавили в тесноте... Да палка не свой брат, сейчас поднимет и умирающего.

---

[1] Модным платьем с закругленным шлейфом *(фр.)*.

Глава III

ЛЕДЯНАЯ СТАТУЯ

И так погибну в цвете лет,
Истлею здесь без погребенья
И неоплакан от друзей!
И сим врагам не будет мщенья
Ни от богов, ни от людей.

«Ивик. журавли»
Жуковский

Летний дворец, Летний сад — сколько цветущих воспоминаний увиваются около этих двух имен! Там, говорите вы, в маленьких покоях Петр I созидал дела великие, которых последствия осенят и наших потомков.

Там, под тенью дерев, им самим посаженных, любил государь, после заповеданных трудовых дней, тешиться, как добрый, простой семьянин. Кому также не известно, что этот сад бывал сборным местом всего Петербурга, когда царь, от избытка удовольствия, спешил сообщить своим любезным подданным и детям весть об успехе важного подвига, совершенного им для блага России? Радость передавалась безусловно; все состояния в ней равно участвовали. Уж и наши прадеды не любили ломаться на зов надежды-государя и угощения матушки-царицы и великих княжон. Хмельные от вина, медов и торжества, они не чинилися, тем более что, по простому обычаю старины, и сам державный бывал иногда навеселе. Все говорили вслух о том, что было у них на душе, потому что в душе ничего не таилось против хозяина. Аллеи кипели и шумели; на скамьях обнимались; в гроте, убранном на диво заморскими раковинами, слышались поцелуи; водометы плескали, и самые мраморные статуи, между перебегающими группами, казалось, двигались. На царицыном лугу народ роился; там деревянный лев, обремененный седоками, беспрестанно нырял в толпе и высоко возносился на воздух; покорные под всадниками лошадки и сани с обнимающимися парами кружились так, что глазам зрителей было больно. Тут же любопытных допускали смотреть в зверинце двух живых львов и слона. Только темная ночь разгоняла пирующих. Когда же государь, распрощавшись с гостями своими, уходил в двухэтажный домик, охраняемый любовью народной, он мог слышать, как про-

вожали его виваты иностранцев и благословения русских.

И вдруг исчезает на время очарование этих воспоминаний. Порог этого храма переступает Бирон, поставив у входа его секиру. В жилище державного и вместе великого святотатственно водворяется он, не прикрыв доблестями душевными рода своего, не скрасив славными подвигами своего властолюбия. Наружным величием старается он заменить истинное: к маленькому дому сделаны огромные пристройки; блестящий двор и гвардия герцога курляндского наполняют его. Видны везде власть, великолепие, фортуна; везде вытягивается временщик; но где сила народной любви? где человек народный, вековой? Дом переменил хозяина, и все в нем и вокруг его изменилось: бывало, походил он на кордегардию, и его все-таки величали дворцом; Бирон силится сделать его дворцом — и он смотрит кордегардией. Ужас царствует вокруг этого жилища; сад и в праздниках и в будни молчалив; не нужно отгонять от него палкою,— и без нее его убегают, как лабиринта, куда попавшись, попадешься к Минотавру на съедение; кому нужно идти мимо жилища Бирона, тот его дальними дорогами обходит.

Зимой — именно в то время, в которое происходит начало действия нашего романа,— зимой, говорю я, сад с окованными водами, с голыми деревьями, этикетно напудренными морозом, с пустыми дорожками, по которым жалобно гуляет ветер, с остовами статуй, беспорядочно окутанных тогами, как саванами, еще живее представляет ужас, царствующий около его владельца.

Благодарение богу, нечистый дух выкурен из этого жилища с того времени, как посетил его добрый гений дщери Петровой; очарование воспоминаний снова окружает маленький домик в Летнем саду.

Но обратимся к зиме 1739/40 года.

Мы не взойдем теперь в жилище Бирона, а перенесемся через Фонтанку в манеж его. Он расположен на берегу в длинной мазанке с несколькими осьмиугольными окнами по стенам и двумя огромными, из пестрых изразцов, печами на концах. Подле одной печи сделано возвышение в виде амфитеатра с узорочными перильцами и балдахином из малинового сукна с золотою бахромой. Под балдахином стоят кресла с высокою спинкою, обитые малиновым бархатом. У ручек вытягиваются два пажика в высоких напудренных париках, с ру-

мяными щечками, как два розана, уцелевшие под хлопками снега, в блестящих французских кафтанах, которых полы достают почти до земли, в шелковых чулках и башмаках с огромными пряжками. По временам кладут они на перила свои детские головы в стариковской прическе, как бы высматривая кого-то. Вот все, что замечательно в манеже. За ним, через обширный двор, тянутся каменные великолепные конюшни, в которых красавицам лошадям, выписанным из Голстинии, Англии и Персии, тепло и привольно. Как их холят и нежат! Люди, ухаживающие за ними, завидуют их житью-бытью. От конюшен идет каменная ограда до набережной; за оградою нечистый дворик и посреди его колодезь с насосом, ручкою для качки воды и желобом, проведенным в конюшню. Подле самого колодца дерево почти без сучьев. На главный двор два въезда — с Фонтанки и с Невы.

Вообразим, что мы пришли к манежу за полчаса до пажей, и посмотрим, что делается на заднем дворике.

К дереву крепко привязан под мышки мужчина, высокий, сутуловатый, желтоликий, с отчаянием в диких взорах; на нем одна рубашка; босые ноги оцеплены. Хохол на бритой голове изобличает род его. Это малороссиянин, которого недоставало на смотру Волынского. Жестокий мороз хватает жгучими когтями все живое; людям тяжело дышать; полет птиц замедляется, и самое солнце, как раскаленное ядро, с трудом выдирается из морозной мглы. Каково ж в одежде тропичных стран стоять в снегу под влиянием такой атмосферы? Однако ж малороссиянин еще стоит — не стонет, а только скрежещет зубами. Сначала он дрожал, теперь окаменел; ноги его горели, как на раскаленном железе, теперь онемели. Против него храбрится офицер среднего роста, пузатый, с зверскою наружностью, в медвежьей шубе. Это адъютант герцога курляндского, Гроснот. По обеим сторонам малороссиянина человека с четыре конюхов.

— Обругать его светлость! писать на него доносы! — кричал Гроснот ломаным русским языком и сиплым от досады голосом, остря кулаки на свою жертву.— Знаешь ли, с кем тягаешься?.. Мы всчешем тебе хохол курляндскою гребеночкой; мы собьем с тебя панскую спесь, поганый Мазепа!

Малороссиянин глубоко вздохнул и поднял глаза к небу.

— Что? мороз не уговаривает ли тебя? Скажешь ли, где бумаги?

— Ни! — произнес твердо малороссиянин.

— Посмотрим! Гей, ребята! ушат с водою! — закричал адъютант.

Разом накачали конюхи воды в ушат. Лицо малороссиянина исковеркали судороги; потом глаза его налились кровью и впились в своего мучителя.

Гроснот тряхнул головой, как бы для того, чтобы избавиться от неподвижного взгляда своего мученика, и дал приказ двум конюхам стать на скамейку, приготовленную у дерева, и поднять туда ж ушат с водой.

— Скажешь ли, куда девал донос? — спросил он.

— Передал богу,— был ответ.

— Окатите ж его!

И ушат воды вылит на голову несчастного.

Облако пара обхватило его, но скоро исчезло, подрезанное морозом. Хохол его унизался бусами, темя задымилось; рубашка стала на нем, как бумага картонная.

— Го-го-го! — застонал малороссиянин в этом жестком мешке, собрав последние силы,— дойдет бумага до императрицы, хоть сгину... Скажи своей... бесовой собаце... Бог отплат... бр...

Здесь он захлебнулся.

— Еще ушат и еще! удвоить порцию! — заревел адъютант.

Другой ушат воды обдал мученика с ног до головы. На этот раз рубашка покрылась чешуей, и струи, превратясь будто в битое стекло, рассыпались с треском по снегу.

После третьего ушата хохол повис назад, как ледяная сосулька, череп покрылся новым блестящим черепом, глаза слиплись, руки приросли к туловищу; вся фигура облачилась в серебряную мантию с пышными сборами; мало-помалу ноги пустили от себя ледяные корни по земле. Еще жизнь вилась легким паром из уст несчастного; кое-где сеткою лопалась ледяная епанча, особенно там, где было место сердца; но вновь ушат воды над головою — и малороссиянин стал одною неподвижною, мертвою глыбой.

— Государыня будет скоро в манеж! — закричали на дворе,— вот и пажи приехали.

— Лей, лей проворнее! а то мне и вам беда! — командовал испуганный адъютант.

Еще два-три ушата, и нельзя было признать чело-

века под ледяною безобразною статуей. Она стала на страже колодца. Солнце, выплыв из морозной мглы, вспыхнуло на миг, как будто негодуя на совершенное злодеяние, и опять скрылось во мгле.

— Государыня едет! — закричали опять на дворе.

Гроснот возвратился в манеж, будто ни в чем не бывало, а исполнители его подвига — в конюшню.

Государыня любила верховую езду и была в ней очень искусна. Нынешний же раз, чувствуя себя слабою, сделала только два-три вольта, сошла с лошади, села на кресла под балдахином, окруженная своею свитой, и с высоты любовалась мастерскою ездою Бирона, статного, довольно красивого, хотя жестокость его прокрадывалась по временам сквозь глаза и вырезывалась неприятным сгибом на концах губ. Он был в светло-голубом бархатном кафтане. На лошади под ним, изабеллова цвета, блистал чепрак, облитый золотом и украшенный по местам шифром государыни из бирюзы; крупные же бирюзовые каменья вделаны были в уздечку. Герцог подъехал, наконец, к возвышению, где находилась императрица, и, скинув перед ней шляпу, поникнув несколько головой, ждал себе лестной награды. Государыня встала с своего места, подошла к перилам, приветствовала всадника улыбкой, ласкала рукою прекрасное животное, на котором сидел Бирон и которое положило свою голову на перила, как бы ожидая и себе внимания царицы. Разные нежные имена были даны любимице Бирона, названной им бриллиантом его конюшни; красавица, казалось, от удовольствия била землю копытом. Велено было принесть кусок хлеба, который и схватила она осторожно из нежных рук. Придворные дамы любовались этою сценою; вся душа пажиков была в глазах их, сверкающих от радости; одна Мариорица не заботилась о том, что делалось около нее, и часто обращалась взорами ко входу в манеж.

— Едем! — сказала, наконец, Анна Иоанновна, кивнув благосклонно Бирону, и он, соскочив с лошади, оставшейся как бы вкопанною на своем месте, свел государыню с возвышения.

У входа в манеж тряслись на морозе Гроснот и *нечто* в розовом атласном кафтане, которое можно было б изобразить надутым шаром с двумя толстыми подставками в виде ног и с надставкою в виде толстой лысой головы, о которую разбилась бы черепаха, упав с высоты. В этой голове было пусто; не думаю, чтобы сыска-

лось сердце и в туловище, если бы анатомировали это *нечто*, зато оно ежедневно начинялось яствами и питьями, которых доставало бы для пятерых едоков. Это *нечто* была трещотка, ветошка, плевальный ящик Бирона. Во всякое время носилось оно, вблизи или вдали, за своим владыкою. Лишь только герцог продирал глаза, вы могли видеть это огромное *нечто* в приемной зале его светлости смиренно сидящим у дверей прихожей на стуле; по временам *оно* вставало на цыпочки, пробиралось к двери ближайшей комнаты так тихо, что можно было в это время услышать падение булавки на пол, прикладывало ухо к замочной щели ближайшей комнаты и опять со страхом и трепетом возвращалось на цыпочках к своему дежурному стулу. Если герцог кашлял, то *оно* тряслось, как осенний лист. Когда же на ночь камердинер герцога выносил из спальни его платье, *нечто* вставало с своего стула, жало руку камердинеру, и осторожно, неся всю тяжесть своего огромного туловища в груди своей, чтобы не сделать им шуму по паркету, выползало или выкатывалось из дому, и нередко еще на улице тосковало от сомнения, заснула ли его светлость и не потребовала бы к себе, чтобы над ним пошутить. Вы могли видеть *нечто* у входов верховного совета, сената, дворца и даже Тайной канцелярии, когда в них находилась его светлость; на всех церемониалах, ходах, пиршествах и особенно жирных обедах, где только обреталась его светлость. Этот кусок мяса, на котором творцу угодно было начертать человеческий образ, это существо именовалось Кульковским. Высочайшее его благо, высшая пища его духа или пара животного, заключалось в том, чтобы находиться при первом человеке в империи. В царствование Екатерины он находился *при* Меншикове, в царствование Петра II *при* Долгоруком, ныне же *при* Бироне. Так переходил он от одного первого человека в государстве к другому, не возбуждая ни в ком опасения на счет свой и ненависти к себе, во всякое время, при всех переменах, счастливый, довольный своей судьбой. Где был временщик, там и Кульковский; привыкли говорить, что где Кульковский, там и временщик. Сделаться необходимою вещью, хоть плевательницею этого,— вот в чем заключалась цель его помышлений и венец его жизни. И он достиг этой цели; от привычки видеть каждый день то же бесстрастное, спокойное, покорное лицо Бирон скучал, когда занемогал Кульковский. Вся-

кое утро и вечер первый человек в империи приветствовал его улыбкой, иногда и гримасой, которая всегда принималась за многоценную монету, а если герцог в добрый час расшучивался, то удостоивал выщипать из немногих волос Кульковского два-три седых волоса, которых у него еще не было. Знак этой милости, несмотря на боль, особенно радовал его. Для поощрения ж к дальнейшему ревностному служению иногда поручали ему первому повестить о награде или немилости, ниспосылаемых герцогом. Кроме этого, во всю жизнь его давали ему, еще при Екатерине, одно важное поручение в Италию; но он, исполнив его весьма дурно, возвратился оттуда католиком. И веру свою переменил он от желания угодить первому человеку в Риме, то есть папе, которого туфли удостоился поцеловать за этот подвиг. О ренегатстве его, скрываемом им в Петербурге, только недавно узнала государыня и искала случая наказать его за этот поступок не как члена благоустроенного общества, а как получеловека, как шута. Надо, однако ж, присовокупить, что он имел достоинство молчать обо всем, что делалось в глазах его и о чем не приказано ему было говорить, хотя б то было о прыщике, севшем на носу его светлости.

Когда государыня, у входа в манеж, заметила Кульковского, она улыбнулась; молдаванская княжна, взглянув на него, едва не захохотала. Сели в карету. Велено ехать на набережную Невы. Экипаж поравнялся с оградою дворика: тут Анна Иоанновна, по какому-то внутреннему побуждению, обернулась направо, и в глаза ее блеснула под лучом полуденного солнца ледяная статуя. Государыня приказала остановить карету и, подозвав к себе герцога, ехавшего за нею в санях, спросила его, что за ледяная фигура видна на маленьком дворе.

Кликнули Гроснота.

— Что такое? — угрюмо спросил герцог своего адъютанта, указывая на дворик. В этом вопросе подразумевалось: «Дурак! что ты сделал?»

Гроснот, не смутясь, отвечал:

— Конюхи вашей светлости вылили для забавы ледяную статую.

Ответ был услышан государынею.

— Этот случай,— сказала она ласково Бирону,— дает мне мысль построить ледяной дворец с разными фигурами.

— Как то было при его величестве, блаженные памяти,— прервал герцог.

— С бо́льшими затеями, если можно. Да, кстати, мне хотелось проучить Кульковского, чтобы он вперед не целовал у папы туфлей. Сколько ему лет?

— С прошлого месяца он начинает другой полвека.

— Мы женим его и сыграем свадьбу в ледяном дворце. Объявите ему также, что я жалую его в пажи к моему двору. Как это лучше устроить, мы поговорим в тепле.

С последним словом императрицы карета тронулась, облепленная по бокам дверец гайдуками, а сзади двумя турками. Пятидесятилетнему Кульковскому велено явиться ко двору в должность пажа и искать себе невесты: надо было нити его жизни пройти сквозь эту иголку, и он выслушал свой приговор с героическою твердостью, несмотря на поздравления насмешников-пажей, просящих его, как товарища, не лишить их своей дружбы.

Скоро манеж и двор опустели, и под вечер ледяная статуя отвезена... куда — вы узнаете после.

Глава IV

ФАТАЛИЗМ

> Восточной странностью речей,
> Блистаньем зеркальных очей
> И этой ножкою нескромной...
> Ты рождена для неги томной,
> Для упоения страстей.
>
> *«Гречанке». Пушкин*

Волынской лежал в своем кабинете на диване. Он решился целый день не выезжать и сказался больным, ожидая возвращения Зуды, которого послал отыскивать следы пропавшего малороссиянина. Этот малороссиянин был для него тяжелая загадка.

Грудь его разрывалась от досады, когда он помышлял, что властолюбие Бирона, шагая по трупам своих жертв, заносило уже ногу на высшую ступень в России. Герцог имел свой двор, свою гвардию; иные, будто ошибкой, титуловали его высочеством, и он не сердился за эту ошибку; считали даже милостью допуск к его руке; императрица, хотя выезжала и занималась делами,

приметно гасла день ото дня, и любимец ее очищал уже себе место правителя.

«Жду случая свергнуть его,— думал Волынской,— жду перемены к нему государыни; а когда этот случай настанет?» К этим мучительным мыслям присоединилось и чувство, столько же, если не более, мучительное. Женатый, он любил...

Какая же несчастная была предметом этой любви?

Восемнадцати лет, княжна Мариорица Лелемико испытала уже так много превратностей, что можно было наполнить ими долголетнюю романическую жизнь.

С малолетства лишившись отца и матери, на пепелище дома, разграбленного и сожженного янычарами, Мариорица досталась в удел хотинскому паше. Он готовил ее для собственного гарема, но, пока пленница росла вместе с своими прелестями, старость предупредила его замыслы. Тогда честолюбие заменило в нем все прочие страсти, и хотя он с помощью скамейки садился на лошадь, но все еще метил в сераскиры или по крайней мере в трехбунчужные. Мысль угодить повелителю правоверных, подарив ему диковинную красоту, блеснула в его голове, и с того времени смотрел он на княжну как на лучшее украшение султанского гарема, как на будущую свою владычицу и покровительницу. Он видел уже в ней любимую султаншу, а себя одним из первых сановников под луною. Дочь нельзя более нежить и утешать, как он нежил и утешал ее. Пиастры сыпались иностранцам, чтобы развить в ней все дарования, способные обворожить падишаха. И старик мог рассчитывать верно, судя по наружным и душевным ее прелестям. Когда Мариорица, разбросав черный шелк своих кудрей по обнаженным плечам, летала с тамбурином в руках и вдруг бросала на своего опекуна молниеносные, сожигающие взоры или, усталая, останавливала на нем черные глаза свои, увлажненные негою, избытком сердечным, как бы просящие, жаждущие ответа; когда полураскрытые уста ее манили поцелуй — тогда и у старика поворачивалась вся внутренность. Он вздыхал, очень тяжело вздыхал, и готов бы был отдать свой Хотин, свою бороду и все прошедшие и будущие милости падишаха за несколько минут давно прошедшей молодости. Оканчивалось тем, что он обращался мысленно к пророку, а там снова к мечтам честолюбия. Иногда только, когда вкушал соку плода, запрещенного кораном, он приходил к своей пленнице и осмеливался кос-

нуться устами своими прекрасной ножки ее, приложив наперед, в знак почтительности, правую руку к чалме, а левою подобрав свою бороду. И шалунья из прихоти допускала его к этой милости, а куда не простирается прихоть женщины? Ей было весело, что борода паши, довольно пушистая, щекотала ее нежную, пышную ножку. Случалось и то в подобных изъявлениях особенного ее благоволения, что шаловливая ножка, будто ненарочно, сваливая чалму с головы старика, обнажала таким образом огромную сияющую лысину. Княжна при виде ее смеялась до слез и позволяла ему за это удовольствие подремать на ее коленах. Впрочем, она любила пашу как благодетеля своего, как родственника и умела это изъяснять ему даже в своих детских шалостях.

Мариорице даны были учители, каких она только вздумала иметь. Она танцевала, как мы уж сказали, с такою ловкостию, что приводила в исступление и старика, и играла на гитаре с большою приятностью. А как ее учительница танцевания и музыки была француженка, то она в скором времени выучилась говорить и писать на этом языке с большою легкостию. От христианской веры, в которой она родилась, остались у ней тайные понятия и золотой крест на груди. Каким образом этот крест попал к ней, она не помнила; только не забыла, что женщина, которая вынесла ее из пожарища, когда горел отцовский дом, строго наказывала ей никогда не покидать святого знамения Христа и, как она говорила, благословения отцовского. Эта самая женщина продала ее хотинскому паше. Француженка, узнав, что Мариорица родилась христианкою, старалась беседами на языке, непонятном для черных стражей, ознакомить ученицу свою с главными догматами своей веры. От этого учения и гаремного воспитания ее сочетались в душе Мариорицы, пламенной, мечтательной, и фатализм магометанский и мистицизм христианский, так что в небе, созданном ею, обитали и чистейшие духи и обольстительные девы пророка, а на земле все действия человека подчинялись предопределению.

Старый паша любил ее сначала как будущий предмет своих удовольствий, потом как средство достигнуть честей и, наконец, как дочь. Он избавлял ее от делания шербета, конфет и других трудов домашних, сносил ее прихоти и капризы, лелеял ее и берег, как дорогую жемчужину, на которую обладатель ее боится дышать, что-

бы не потемнить ее красоты. Прислуга, стоокая от боязни наказания, стерегла ее денно и нощно. Ни один взгляд молодого мужчины не перелистывал еще ее девственных прелестей, этой роскошной поэмы, в которой мог бы зачитаться и сам небожитель, как некогда пустынник заслушался пеночки на целое столетие. Пришла пора везти Мариорицу ко двору верховного владыки, и паша задумывался и откладывал отъезд. Самые мечты честолюбия не радовали его. Настало, однако ж, время им расстаться, но, по воле судьбы или предопределения — так называла ее Мариорица,— загорелась война между Турцией и Россией, и в губернаторы хотинские назначен сын опекуна, известный под именем знаменитого Калчан-паши. С того времени старик возненавидел тайно султана и явно своего преемника, хотя единокровного, и поклялся скорей передать свои сокровища, в том числе и воспитанницу, неверным, собакам-христианам, нежели тем, которые так жестоко оскорбили его старость и долголетнюю службу. Тут грянула ставучинская битва, столь славная для русского оружия, как будто нарочно для того, чтоб выполнить клятву старика; ибо вслед за тем Хотин был сдан русским, а прекрасная Мариорица, с богатствами двух пашей, отца и сына, в числе с лишком двух тысяч человек обоего пола, досталась в добычу победителей. Ее воспитатель сам представил ее Миниху, как молдаванскую княжну, и поручил милостям государыни. Участь княжны, попавшейся к неверным псам-магометанам, тронула военачальника. Он взял ее под особенное свое покровительство и с офицером (старым, израненным) послал, отдельно от других пленников, в Петербург, описав ее чудесную историю, как сам слышал, государыне.

При дворе и знати была тогда мода на калмыков и калмычек, не менее бешеная, как на дураков, шутов и сказочников обоего пола и разного состояния, начиная от крепостных до князей. С жадностью доставали детей азиатской породы, как дорогую собачку или лошадь, и не один супруг пострадал от холодности своей половины, если не мог подарить ей в годовой праздник восточного уродца. Калмыков этих приводили *в веру крещеную*, лелеяли, клали спать с собою в одной спальне и выводили *в люди*, то есть в офицеры, или выдавали замуж за офицеров с богатым приданым, часто на счет и к невыгоде родных детей. Судите после этого, какую же

суматоху должен был произвесть в Петербурге приезд Мариорицы. Романическая ее жизнь, ее красота, ее род и отечество вскружили всем голову до того, что, если б можно было, каждая знатная госпожа не пожалела бы дать половину своего имения, чтобы иметь при себе молдаванскую княжну. Ныне в исступлении говорят: «Ah! j'enrage, ma chère [1], что не могу иметь к вечеру NN райской птички». Тогда говорили вздыхая: «Ах! мать моя, каков этот иностранный немец Миних, прислал сюда только одну молдаванскую княжну, а, сказывают наши, полонил их тысячу, да отослал к своим, в немецкую землю,— ну съела бы его зубами!»

Сама государыня была в восхищении от Мариорицы, поместила ее в ближайшей от себя комнате между своими гоф [2]-девицами, нарядила в полунациональную, полурусскую одежду, как можно богаче, и в учители русского языка выбрала для нее служащего при С.-Петербургской академии *де сиянс* [3] Василия Кирилловича Тредьяковского. Этот вельми ученый муж каких языков не знал! На французском писал он стихи едва ли не лучше, нежели на русском; из Фенелонова Телемака воссоздал знаменитую «Телемахиду», с цитатами греческими, латинскими и прочими, и в два приема исчерпал весь гений Ролленя, своего учителя. И потому он должен был служить Мариорице, посредством французского языка, проводником к познанию русского. Обладая способностями необыкновенными и побуждаемая к изучению его силою внутреннею, творящею чудеса, она в несколько месяцев могла свободно изъясняться и на этом языке.

Мариорица не успела еще образумиться от зрелища новых и странных предметов, поразивших ее при дворе русском, от новой своей жизни, ни в чем не сходной с той, которую вела в гареме хотинского паши, и успела уже под знамя своей красоты навербовать легион поклонников. Лесть мужчин, их услужливое внимание преследовали ее до того, что стали ей приторны; старухи, у которых не было дочек, называли ее ненаглядною; молодые говорили, что они от нее без ума, наружно ласкали ее, как любимую игрушку, как любимицу государыни, но втайне ей завидовали. Так ведется со времен двух первых братьев!

---

[1] Ах! я в бешенстве, моя дорогая *(фр.)*.
[2] Придворными (от *нем.* Hof— двор).
[3] Академии наук (*фр.* academis des sciences).

Года, кажется, за два до приезда ее в Петербург, когда русские уполномоченные в Немирове[1] вели переговоры с турками, старый паша, ее воспитатель, в шутку говорил, что, если Мариорица не любит его, он уступит ее русскому послу Волынскому, о котором слава прошла тогда до Хотина. «А молод ли он? хорош ли он?» — шутя спрашивала Мариорица своего воспитателя. И что ж? По странному стечению обстоятельств, этот самый Волынской, когда она, по приезде в Петербург, остановилась в отведенной ей квартире, был первый из придворных, который ее встретил и от имени государыни поздравил с благополучным прибытием. Увидеть мужчину ловкого, статного, красивого, с глазами, проницающими насквозь сердца, с черными кудрями, свободно падающими на плеча (Волынской редко пудрился), и сделать сравнение с ним и турецким длиннобородым козлом или черным евнухом, значило с первого приступа склонить оружие. При кабинет-министре, не знавшем иностранных языков, находился тогда переводчик, вовсе не любезный и непривлекательный. Лицо круглое, как мапемонда[2], синеватое, задавленное масленым галстуком, на котором покоился тучный, двумя ступенями, подбородок; бородавка на левой щеке, умильно-важная физиономия, крутой сияющий лоб, вделанный в мучной насаленный оклад с двумя мучными же мортирами по бокам и черным кошельком назади, одним словом, это все был *сам* Василий Кириллович Тредьяковский. «Жаль,— думала Мариорица,— что этот дурной, а не тот пригожий мужчина, должен со мной объясняться». Волынскому некогда было думать: увлеченный красотою молдаванки, он спешил выражаться красноречивым подлинником взоров и словами через своего толмача. Слова эти дышали теплотою Востока и, благодаря верности перевода, щекотали сердце неопытной девушки, приводили ее в какое-то смущение, ей доселе неведомое. Мариорица хотела знать фамилию посланного к ней от императрицы.

При имени Волынского княжна затрепетала. Фатализм, которым она с малолетства была напитана, сказал ей, что это самый *тот*, неизбежимый ею, суженый ей роком, что она ведена с пепелища отцовского дома в Хо-

---

[1] Польском местечке, пограничном с турецкими владениями. *(Примеч. автора.)*

[2] Карта полушарий *(фр.)*.

тин и оттуда в страну, о которой и не мыслила никогда, потому единственно, что еще при рождении назначено ей любить русского, именно Волынского.

Прибавьте к этому пламенное воображение и кипучую кровь, весь этот человеческий волканизм, с одной стороны, с другой — примешайте вкрадчивую любезность, ум, страсть в каждом движении и звуке голоса — и рецепт любви готов. Маленький доктор, в блондиновом паричке и с двумя крылышками за плечами, попав раз к таким пациентам, то и дело посещает их и каждый раз, очинивши исправно свое перо, пишет на сигнатурке: repetatur[1], *прибавить того, усилить сего*.

Волынской вышел от молдаванской княжны в каком-то чаду сердечном, видел только по дороге своей два глаза, блестящие, как отточенный гранат, как две черные вишни; видел розовые губки — о! для них хотел бы он превратиться в пчелу, чтобы впиться в них,— видел только их, отвечал невпопад своему переводчику или вовсе не отвечал, грезил, мечтал, забывал политику, двор, Бирона, друзей, жену... В его голове и сердце все было эдем, восторги, райские минуты, за которых не взял бы веков; все было я и *она*! А препятствия? Их не существовало, их не могло существовать: девушка так неопытна, воспитана в гареме, готовлена для гарема; по глазам ее видно, что у ней в жилах не кровь, а огонь... жена еще не скоро приедет из Москвы; можно найти и средства задержать ее... кабы умерла? (да, и эта преступная мысль приходила ему в голову!..) остальное докончит искусство, притворная и, может статься, истинная страсть.

И вот княжна Лелемико во дворце. Сама государыня заботится доставить ей покой, приятности всякого рода, показывает ей свой Петербург, свое войско, учреждает для нее игры, праздники, балы и, привыкшая видеть около себя притворство и лесть, утешается, как чистосердечно, простодушно, чувствительно дитя полуденной природы, как все новое занимает ее и утешает. И Мариорица почти везде за государыней и везде видит Волынского, и скоро едва ли не одного неизбежного Волынского. Все молодые мужчины кажутся ей куклами, попугаями, существами бездушными. Сначала он не мо-

---

[1] Повторить *(лат.)*.

жет говорить ей о своей любви; но при каждом свидании взорами своими волнует ее душу, так что ее душа, кажется, бежит вон из тела. Нередко танцует он с нею (она выучилась уже европейским танцам). Пожатие руки его проникнуло тонким ядом все ее существо; она смущена новым для нее ощущением, хочет отнять руку и не отнимает... В другой день, на другое пожатие она отвечает ему тем же... и ей кажется в эту минуту, что земля и небо готовы перед ней и над ней раскрыться. Эпоха сладостная для влюбленных! Они не забывают ее ни в будущих сильнейших восторгах, ни в муках любви. Возвратясь в свою спальню, она горела вся в огне и заснула в обворожительных мечтах.

К учителю русского языка летали от Волынского перстеньки, табакерки, и подвигалась кафедра элоквенции в академии *де сиянс*, и потому можно судить, что он действовал по точной инструкции кабинет-министра. Первые слова, которые ученица затвердила, были: *милый друг! люблю тебя!* Как сладко, как обворожительно выговаривала она эти слова! В слово *милый* она вставляла р, отчего произносила *мирлый*; но эта ошибка придавала ему какую-то особенную прелесть в устах ее. И сам Василий Кириллович, слушая первый выученный урок, почесывал свое темя, как будто у него под черепом что-то жгло. Ни при ком не произносила Мариорица этих слов, как при Тредьяковском, догадываясь, что он перенесет их на крыльях своего усердия Артемию Петровичу. Лекции русского языка проходили часто между учителем и ученицей в разговорах о кабинет-министре, которого благородство, щедрость, чувствительность превозносились до небес. Разумеется, учителю строго запрещено было упоминать о том, что Артемий Петрович женат: это выполнялось свято. А девушке и не приходила в голову мысль, что тот, кто ее любит, мог иметь неразрывные связи с другой, что любовь его преступна. Разумеется, и княжна умоляла Василия Кирилловича не сказывать Волынскому, что она иногда говорит о нем: учитель обещал, но был верен своему слову только до первой встречи с покровителем. Вскоре могла она сама понимать по-русски вкрадчиво-нежные выражения Артемия Петровича, выражения тем более опасные, что они были новы для нее, как сама любовь.

Можно догадаться, что при таких обстоятельствах любовь бежит огнем по пороховой дорожке.

И что ж? Во всем этом, как вы видите, был виноват фатализм.

Далее... Не все же вдруг сказывается: дайте мне, как жаворонку, завести мою песнь от земли.

Глава V

ТАИНСТВЕННОЕ ПОСЛАНИЕ

Скажи, в чем тут есть главное уменье?
— В том,— отвечал сосед,—
Чего в тебе, кум, вовсе нет:
В терпенье.

Крылов

Победа, смерть ли? будь, что будет,
Лишь бы не стыд!

Языков

Итак, Волынской лежал вечером на диване в своем кабинете, волнуемый двумя чувствами: любовью к Мариорице и ненавистью к Бирону. Мечты его нарушены приходом араба, который и подал ему пакет от герцога. Кабинет-министр несколько встревожился, ибо такого рода посылки сопровождались или чрезвычайною милостью, или какою-нибудь грозой. Он сорвал печать и, к удивлению своему, нашел в пакете еще другой, запечатанный, с надписью руки самого Бирона, и бумагу в лист, просто сложенную. Полагая, что это какой-нибудь документ, он поспешил распечатать письмо и прочесть его прежде.

Герцог дружески сожалел о нездоровье Артемия Петровича, присовокуплял, что он без него, как без рук; что ее величество изволила об нем с большим участием проведывать и, в доказательство своей к нему милости, назначила ему в награду двадцать тысяч рублей по случаю мира, заключенного с турками.

— А! — сказал про себя Волынской, оставив на минуту чтение письма,— временщик думает купить меня этим известием; но ошибается! Что бы ни было, не продам выгод своего отечества ни за какие награды и милости!

Спрашивали также в письме, как идут приготовления к известному празднику, и уведомляли, что государыне угодно сделать прибавление к нему построением

ледяного дворца, где будет праздноваться и свадьба Кульковского, для которого уже и невесту ищут. Ее величеству желательно, чтобы и устройством ледяного дома занялся также Артемий Петрович. Рисунок обещано прислать завтра чем свет.

Волынского, знакомого с махиавелизмом Бирона, не удивило ни дружеское содержание письма, ни предложение новых занятий — последнее он уже наперед отгадывал,— но изумило его то, что в послании его светлости — ни слова о приложенной бумаге.

«Вам угодно было знать,— писали в ней рукой незнакомой и почерком весьма поспешным,— куда девался малороссиянин, не явившийся ныне к вам на смотр. Исполняю не только это желание, но и обнаруживаю вам обстоятельства, скрытые для вас доныне. Плачу тем дань не званию и богатству вашему, не видам каким-либо, но высокому достоинству человека, которое в вас нашел. Давно уже благородная ваша душа привязала меня к вам. Не старайтесь узнавать, кто я; вы, может быть, погубите меня тем, а себя лишите важного помощника в борьбе с сильным временщиком. Его шпионы окружают вас везде; вы имеете их у себя дома. Они следят все ваши слова, поступки, движения, доставляют обер-гофкомиссару Липману, главному шпиону, сведения обо всем, что у вас делается, говорится, и о всех, кто у вас бывает. Ваши друзья уже на замечании. Известно, что вы составляете заговор против его светлости. Я не мог еще добраться, кто именно из ваших домашних передает эти сведения.

По содержанию моего письма вы догадываетесь, что я очень близок к его светлости. Повторяю, не старайтесь доискиваться меня. Настанет время, сам откроюсь. Знайте только, что я иностранец; но, ущедренный Россиею, я нашел в ней свое второе отечество и хочу служить ей, как истинный сын ее. Мне больно видеть каждый день, что все мысли, все чувства и поступки Бирона вертятся кругом одной его особы, что он живет только для своего лица, а не для славы и блага России. Страна эта потому только не совсем ему чужда, что он считает ее своей оброчницей. Боже! как он трактует русских!.. Чуждаясь их языка и обычаев, не желая их любви и в презрении к ним не соблюдая даже наружного приличия, он властвует над ними, как над рабами».

При этих словах глаза Артемия Петровича налились негодованием; руки его дрожали.

«Наступает важный случай открыть государыне его своекорыстие: дело об удовлетворении поляков за переход войск чрез их владения, дело, на котором вы столь справедливо основываете свои надежды (вот как нам все известно!), скоро представится на рассмотрение кабинета. При первой возможности доставлю вам нужные заметки и тут же напишу три слова: *теперь или никогда!* О! тогда скорей, богатырски опрокиньте стену, пред которою дает он фейерверки и за которою душит и режет народ русский; откройте все сердцу государыни... Вы, с вашею благородною смелостью и красноречием, с вашим патриотизмом, с вашим пламенным усердием к пользе и благу императрицы, одни можете совершить этот подвиг. Если вы падете в этом деле, то падете со славою. Тогда-то я откроюсь вам и разделю с вами участь вашу, какова бы она ни была, клянусь вам в этом своею честию. Когда бы вы знали, как горит душа моя быть участником вашим в этой славе! Может статься, чрез сотню лет напишут, поставив мое имя подле вашего: «Россия гордится ими!..» Жить в истории — как это приятно!..

Пишу много; сердце мое имело нужду излиться пред благороднейшим из людей. Давно я не беседую с ними. Случай первый! Герцог, отдав мне письмо к вам, уехал во дворец, куда был неожиданно позван, только что из него приехавши.

Теперь исполняю желание ваше узнать о малороссиянине. Это дворянин из черниговской провинции, по прозванью Горденко. Он занимал должность хорунжего в стародубовском повете и умел обратить уже на себя неприятное внимание доимочного приказа тем, что противился повелению герцога ставить за недоимки крестьян разутых в снег и обливать их холодною водою. Услышав однажды об оскорбительных словах, сказанных герцогом одному русскому вельможе, он имел неосторожность произнести: «Побачив бы я, як бы мне то выбрехал бесова батька Бирон». Слова эти доведены до ушей его светлости. Малороссиянин потребован к допросу воеводой, приехавшим нарочно для исследования этого преступления. О! когда дела касаются до личной обиды герцога, они скоро решаются. Оговоренный был в это время очень болен. Он принесен пред судью на простынях и, в наказание за свою неосторожность, должен был услышать от воеводы ругательства, которые не хотел вынести от самого Бирона. Когда ж он, собрав

силы, отвечал, как требовала оскорбленная честь дворянина, его пощекотали батогами. Этот способ лечить и жажда мщения возвратили ему вскоре здоровье. Он покинул семейство свое, составил прошение к императрице, в котором описывал жестокости временщика и корыстолюбивые связи его с поляками, ездил по Малороссии собирать к этому прошению подписи важных лиц, успел в своем намерении и пробрался до Твери, где удачно обменил собою простого малороссиянина, которого, в числе других, везли сюда на известный праздник. Но ищейные клевреты Бирона уследили его тотчас по прибытии в Петербург. Здесь, в манеже герцогском, когда делали перекличку всем разноплеменным парам, его не оказалось. Подачкин объявил, что он, вероятно, бежал во время суматохи, случившейся в то время, как их вели в манеж. Прибывших гостей к вам отправили. В самом же деле несчастный был задержан. Расправа была с ним короткая: его свели на задний, нечистый дворик за конюшню. Там, раздев до рубашки и привязав к дереву, пытали о бумаге, но Горденко успел, видно, сбросить ее или передать. Благородного мученика, окатив десятком ушатов воды, заморозили среди белого дня. Мой приятель Гроснот совершил этот подвиг, как будто выпил стакан пуншу. Впрочем, Липману шепнули, чтоб он спрятал, как знает, концы в воду. Это будет легко ему сделать с помощью силы, грозы и денег.

Ответ герцогу привезите завтра лично, по обыкновению, в приемные часы. Будьте осторожны, не проговоритесь не только словами, но и наружностью. Скрывайте себя до времени, а то все испортите.

В случае нужды во мне для объяснений, вложите вашу записку в расселину среднего камня, на левом углу ограды Летнего сада к Неве».

Прочтя это таинственное послание, в истине которого нельзя было сомневаться, Волынской то предавался радостной мысли, что приобретает новые важные права для обвинения Бирона и освобождения России от ига его, ходил скорыми шагами по комнате, обхватив эту надежду, нянча ее, как любимое дитя свое; то путался в мыслях, отыскивая своего тайного доброжелателя.

Иностранец?.. Их так много окружает курляндского герцога, и ни в одном из них Артемий Петрович не видал особенного к себе участия. Этот?.. Злодей! из одной улыбки его светлости вызовется, вместо меха, своим ды-

ханием разогреть жаровню и изжарить на ней мелким огнем человека, невинного, как младенец. Другой? Глупец! готов стащить на своей спине, не оглядываясь, вьюк чужих злодейств. Третий? Подлец! доставляет за фальшивые определения жене Бирона бриллианты и серебряные сервизы. Четвертый? Родственник клеврета его, Липмана, и ненавидит кабинет-министра. И так далее перебрал он всех, и ни на ком не мог остановиться. Каким образом постиг тайный друг желание его узнать, куда девался малороссиянин?.. Загадка! тайна!.. Голова его пылала, сердце ходило ходенем. Он забыл даже о посланном герцога; но, вспомнив и спросив, узнал, что податель, не дожидаясь ответа, скрылся.

Когда же Волынской хотел доискаться, кто бы мог быть шпионом Липмана в его собственном доме, он, казалось, блуждал, как странник в диком бору, где боится на каждом шагу наступить на ядовитого гада. Что б могло заставить дворовых людей идти в его оговорители? Он считался, по-тогдашнему, милостивым господином. О стульях, бессудной помощи палача, кошках, разделках на конюшне, столь обыкновенных в его время, не было помину в доме. Наказания его, и то за важный проступок, ограничивались удалением от барского лица. Челядинцы, от большого до малого, были одеты исправно, накормлены сыто, получали, сверх того, в каждый годовой праздник по медной гривне и по калачу; их заслуги предкам Волынского ценились как должно; старики были в почтении у младших и нередко удостоивались подачек со стола господского; немощных не отсылали с хлеба долой на собственное пропитание, не призирали в богадельнях, а в их семействах. Добрыми нравами строго дорожили. Сам Артемий Петрович хотя славился волокитством, но в ограде дома целомудрие так уважалось, что раз подслеповатый *маршалок*, увидев издали девушку на коленах мужчины, поднял весь дом, как будто на пожар; к счастью, объяснилось, что отец ласкал свою дочь. «Не барин, а отец родной! — говорили служители об Артемии Петровиче,— мы живем за ним, как у Христа за пазушкой». Что ж в самом деле могло бы заставить кого из них решиться на оговоры? Они сочли бы того Иудою-предателем. Не барская ли барыня?.. Чем же она может быть недовольна? Гардероба ее станет и на приданое внучатам; деньги пускает она в рост, ласками господ не менее богата.

Впрочем, ее порядочно коверкало, когда дело шло о малороссиянине... может статься, нетерпение видеть сынка офицером?.. Зуда намекал не раз, что это женщина опасная... Да опять, как проведать ей тайны господские, которые говорятся только в кабинете, между самыми близкими друзьями. Зуда?.. Этот мог бы всех скорее!.. При этом слове, мысленно произнесенном, сердце Артемия Петровича облилось кровью. «Нет,— прибавил он, рассуждая сам с собою, то ходя быстрыми шагами по комнате, то садясь на канапе,— сердце отталкивает малейшее на него подозрение. Он лукав, но благороден. Ни денег, ни честей не любит; настоящий Козьма-бессребреник. Из чего ж станет кривить душой и подличать пред фаворитом? Хотел бы он денег? я давно б озолотил его. Чинов? Сколько раз предлагал я вывесть его в чины, но он всегда отказывался от них, считая их за тягость. Он слишком любит спокойствие, чтобы затеять доносы. Это не в его характере. Да к тому ж не могу расстаться с мыслию видеть в нем человека, мне преданного. Десять лет в моем доме! Десять лет раскрывал я ему грудь свою, и в ней читал он до последней тайной буквы!.. Друг мой!.. Нет, нет, лучше погубить себя, чем его подозревать! Не он, не он, не может быть! Но... диавол-дух или человек-диавол, кто бы он ни был, мой домашний шпион, я отыщу его!»

Волынской позвал своего араба.

— Николай! — сказал он ему с особенным чувством,— любишь ли ты меня?

— Когда вы говорите мне слово ласковое,— отвечал тронутый араб,— мне кажется, что со мною говорит старик отец, зарезанный в глазах моих. Вы мне вместо отца, и матери, и родины.

— Ты меня никогда не продавал?

— Я, сударь?.. да я готов отдать за вас жизнь свою, Никола свидетель!

— Слушай же: у нас дома есть недобрый человек, который выносит сор из избы, оговаривает своего барина.

— Знаю!

— Знаешь? — спросил изумленный Волынской.— Кто ж это?

Араб приложил палец к толстым губам своим и покачал головой.

— Говори, я тебе приказываю.

— Не могу, мне Зуда не приказал.

Волынской вспыхнул.

— Так ныне Зуда ваш господин, так он более меня значит! Зуда командует моими людьми против меня!.. Вот каков Зуда!.. Скоро сделается он моим барином; скоро мне воли не будет в своем доме!

Араб бросился в ноги к Артемию Петровичу и сказал:

— Не могу! я поклялся Николою!.. Он говорит, что это для вашего же добра...

«Что за тайна?..— подумал Артемий Петрович,— посмотрим, к чему это все ведет!»

— Хорошо! — прибавил он вслух,— встань! делай, что приказал тебе Зуда, молчи о том, что я тебе говорил, и всегда, непременно, становись на карауле у дверей моего кабинета, как скоро будут в нем двое. Да вот и Зуда, легок на помине!

В самом деле, араб только что успел встать, как вошел секретарь кабинет-министра. Смущение на лице господина и слуги встретило его; но он сделал вид, что ничего не примечает, скорчил свою обыкновенную гримасу и, съежившись, ожидал вызова Артемия Петровича начать разговор.

— Выдь вон,— сказал Волынской арабу, потом, обратившись к своему секретарю, произнес ласково: — Ну что слышно о малороссиянине?

— Он пойман и содержится в канцелярии полицеймейстера.

— Пойман?

— Да, ваше превосходительство; что ж тут удивительного?

— От кого ты знаешь эту весть?

— Я сам видел его.

— Видел?.. Какое плутовство!

— Позвольте спросить, о чьем плутовстве вы говорите?

— На, прочти лучше сам это длинное послание, упавшее ко мне с неба, и объясни, как мертвые воскресают в наше время, богатое чудесами.

Волынской подал письмо неизвестного, рассказал, как оно принесено, прилег на диван, всматриваясь, какое впечатление сделает на секретаря чтение бумаги, и, когда увидел, что этот развернул ее и начал рассматривать, спросил, не знаком ли ему почерк руки.

Сощурился Зуда, покачал головкой, отвечал твердо:

— Нет, в первый раз вижу,— и начал чтение. В продолжение его он часто пожимал плечами, потирал себе средину лба пальцем; на лице его то выступала радость, как у обезьяны, поймавшей лакомый кусок, то хмурилось оно, как у обезьяны, когда горячие каштаны обжигают ей лапы. Наконец, Зуда опустил руку с письмом и опять уныло покачал головой.

— Что? прочел ли? — спросил Волынской.

— Прочел.

— Что ж ты думаешь после этого?

— То, что вас и еще кое-кого знаю, что победа будет на стороне силы, коварства и счастия. Это я думаю, это я вам всегда говорил и советую, как и всегда, уступить временщику. Да! таки уступить!.. Послушайте, какая слава о нем в народе.

— Любопытен знать.

— *Он такой фаворит, что нельзя об нем и говорить:* как же вы хотите против него действовать?

— Как действовали во все времена против утеснителей своего отечества истинные сыны его; как указывает мне сердце и тайный, но благородный советник!

— Который вас и обстоятельств хорошо не знает, который губит вас и себя, вспомните мое слово. Дайте грозной туче пройти самой. Поберегите себя, друзей, супругу...

— Как? из того, что я могу навлечь на себя немилости, пожалуй — ссылку, казнь, что я могу себя погубить, смотреть мне равнодушно на раны моего отечества; слышать без боли крик русского сердца, раздающийся от края России до другого! Рассказывать ли тебе, как будто ты не знаешь, неистовства, совершающиеся каждый день около нас, не говорю уж о дальних местах? Стоит только раскрыть Петербург. Архипастырь [1], измученный пытками за веру в истину, которую любит, с которою свыкся еще от детства, оканчивает жизнь в смрадной темнице; иноки, вытащенные из келий и привезенные сюда, чтоб отречься от святого обета, данного богу, и солгать пред ним из угождения немецкому властолюбию; система доносов и шпионства, утонченная до того, что взгляд и движения имеют своих ученых толмачей, сделавшая из каждого дома Тайную канцелярию, из каждого человека — движущийся гроб, где заколочены

---

[1] Тверской, Феофилакт Лопатинский. *(Примеч. автора.)*

его чувства, его помыслы; расторгнутые узы приязни, родства, до того, что брат видит в брате подслушника, отец боится встретить в сыне оговорителя; народность, каждый день поруганная; Россия Петрова, широкая, державная, могучая — Россия, о боже мой! угнетенная ныне выходцем,— этого ли мало, чтоб стать ходатаем за нее пред престолом ее государыни и хотя бы самой судьбы?

Здесь Артемий Петрович остановился, посмотрев зорко на секретаря. Этот не думал отвечать. Все, что говорил кабинет-министр, была, к несчастию, горькая существенность, но существенность, которую, при настоящих обстоятельствах и с таким пылким, неосторожным характером, каков был Волынского, нельзя было переменить. Зуда пожал только плечами и покачал опять головой.

Две свечи на бюро тускло горели; огромная тень кабинет-министра быстро двигалась по стене. Он продолжал:

— Как? выступая на битву против врагов отечества, вы оробеете, когда вам скажут ваши нежные, заботливые приятели, что вы можете потерять ручку, ножку, что вы, статься может, оставите по себе неутешную вдовушку, плачущих ребят!.. Пускай неприятели топчут жатвы, жгут хижины, насилуют жен и девиц — не ваши поля и домы, не ваша жена и дочь! До них скоро ли еще доберутся! А ты покуда успеешь належаться на теплой печке, в объятиях своей любезной... Так ли думают истинные патриоты? Так ли я должен мыслить?

— Позвольте...

— Нет, сударь, не слушаю вас, не хочу слушать ваших вялых, своекорыстных советов. Я лучше прочту еще раз, что пишет мой тайный друг. (Волынской взял бумагу, развернул ее и прочел вслух: «Он властвует над русскими, как над рабами».) Слышите ли, сударь, над рабами?.. И вот что говорит в благородном негодовании своем иноземец!.. (Это слово залито было такою иронией, что захватило на миг его дыхание. Покачав головой, он опять с жаром продолжал.) А мы, русские, мы протянули свои воловьи шеи под ярмо недостойного пришельца, мы любуемся, как он, вогнав нас в смрадную топь, взбивает нам кровь ремнями, вырезанными из наших спин. Простой народ не выдерживает жестокостей его и бежит целыми селениями в Польшу, в Бессарабию. А русские дворяне, забыв и род свой и заслуги

предков, истлив свой стыд, как трут, которым он зажигает свою трубку, лазят, ползают пред конюхом, подходят уже к его ручке! Князья, люди первых фамилий русских, которых отцы стяжали себе славу на ратном поле, рядом с бессмертным Петром, или в сенате, бесстрашно говоря ему правду, спешат наперерыв записаться в скоморохи, в шуты... Не посоветуете ли мне пойти вприсядку для потехи его конюшенной светлости? Не прикажете ли мне приложиться к его ручке?.. Нет, сударь, не дождетесь этого от меня с вашим выходцем: скорей сожру я руку, которую он протянет мне, хотя бы этим поганым куском подавиться!.. Пляшите, господа, под его дудочку, вертитесь кубарем под его кнутик; лобызайте секиру, омытую кровью ваших братьев, деритесь в драку за пригоршни золота и разнокалиберных игрушек, которые бросает он вам из окон своих высоких палат... Мое назначение другое (тут Волынской поднял голову и произнес с особенною твердостию): я русский боярин, не скоморох. Ты сам знаешь, что я друзьям и себе дал слово идти против чужеземного нашествия и предводителя его. В этом я поклялся пред образом спасителя, — мне достался крест по жеребью — я опоясался им, как мечом; я крестоносец, и если изменю клятве своей, наступлю на распятие сына божия!

— Все ли вы сказали? — прервал Зуда Артемия Петровича.

— Все, что должен был сказать и что исполню.

— Позвольте мне в свою очередь сделать вам вопрос один только.

— Будем слушать и отвечать.

— Может быть, не с такою твердостию, как доселе говорили.

— Увидим, увидим! Ну, к делу, господин грозный противник!

— Противник всегда, в чем вижу вашу гибель. Прекрасно, благородно, возвышенно ваше рвение к пользе отечества, кто с этим не согласится? Но при этом подвиге необходимо условие, и весьма важное: собираясь в свой крестовый поход, вы, как твердый рыцарь, должны отложиться от всех пагубных страстей. То ли вы делаете? Ваша благородная дама забыта, и волшебница под именем Мариорицы опутывает вас своими цветочными цепями. Надо избрать одно что-нибудь: или великий, трудный подвиг, или...

— Или волокитство, хочешь ты сказать,— прервал Волынской, несколько смутившись и покраснев.— О! эта шалость, из тысячи подобных, не опасна!.. Ты знаешь, холодный проповедник, что я не в состоянии пристраститься ни к одной женщине. Мариорица мила, прелестна... это правда; но один поцелуй — и страсть промелькнет вместе с ним, как потешный огонек.

— Он сожжет это полуденное растение и отуманит вас, сына севера, крестоносца, запаянного в броню железную! Что станется тогда с вашею доброй, любезной супругой, которая вас так любит?

— О! она женщина холодная, на эти вещи смотрит очень равнодушно.

— Пока они неопасны! Что станется тогда с вашим предприятием, с вашими друзьями, которых вовлекли в него, с вами самими?..

— Ну, полно, честный иерей Зуда! Твоих проповедей до утра не переслушаешь. Скажи-ка мне лучше, что ты думаешь о домашних моих шпионах?

— То, что главный почти в руках моих.

— Я тебя не понимаю.

— Не могу более объясниться; на днях все узнаете. Но до вашего похода,— прибавил Зуда, вздыхая,— не угодно ли будет запастись орудиями Махиавеля; они вам очень нужны.

— Ты хочешь сказать, лукавством и осторожностию, которых во мне недостает...

— Так же, как в вас слишком много благородства для борьбы с Бироном.

— О, что касается до этого, то я с тобой опять не согласен. Но обратимся к нашему учителю, Махиавелю. Ввернул ли ты в перевод выражение насчет нашего курляндского Боргио?

— Исполнил скрепя сердце, хотя со всею осторожностию,— сказал печально секретарь, как бы давая знать, что это ни к чему не послужит.— Не угодно ли вам будет прослушать последнюю главу?

Волынской дал знак согласия, и скоро принесена огромная тетрадь, прекрасным почерком написанная. Зуда сел и начал читать вслух главу из Махиавелева «Il principe» [1], которого он, по назначению кабинет-министра, перевел для поднесения государыне. Но едва

---

[1] «О государе» *(ит.)*.

успел пробежать две-три страницы, прерываемый по временам замечаниями Волынского, присовокупляя к ним свои собственные или делая возражения, как вошел араб и доложил о прибытии Тредьяковского.

— Вели впустить его,— сказал Волынской, приметно обрадованный этим посещением,— Махиавеля и политику в сторону!..

Он вошел...

Глава VI

ПОСРЕДНИК

Пыщутся горы родить, а смешной родится мышонок!

Вступ. к «Телемахиде»

О! по самодовольству, глубоко прорезавшему на лице слово: *педант*! — по этой бандероле, развевающейся на лбу каждого бездарного труженика учености, по бородавке на щеке вы угадали бы сейчас будущего профессора элоквенции, Василия Кирилловича Тредьяковского. Он нес огромный фолиант под мышкою. И тут разгадать не трудно, что он нес — то, что составляло с ним: *я и он, он и я* Монтаня, свое имя, свою славу, шумящую над вами совиными крыльями, как скоро это имя произносишь, власяницу бездарности, вериги для терпения, орудие насмешки для всех возрастов, для глупца и умного. Одним словом, он нес «Телемахиду», это высокое произведение, которое почти целый век, то есть до появления «Александроиды», не имело ничего себе равного.

— А! дорогой гость, добро пожаловать! — сказал Волынской, кивнув ему и взглянув мельком на чудовищную книгу такими глазами, как бы несли камень задавить его.

Гость отвесил глубокий поклон у двери так, что туловище его с нижнею частию фигуры составляло острый угол,— два шага вперед, другой поклон, еще ниже третий. Лицо его утучнялось радостью; желая говорить, он задыхался, вероятно от того ж чувства; наконец, собравшись с силами, произнес высокоторжественным тоном:

— Великий муж! как дань моего глубочайшего высокопочитания пришел я положить к подножию вашему энтузиасмус моего счастия.

— Поведай, поведай, что такое,— сказал с усмешкою хозяин,— но с уговором, чтобы ты сидел. Я буду мечтать, что беседую с Омиром, повествующим мне о прекрасной Елене.

— Помилуйте, я и постою пред лицом вашим.

— Да, боже мой, садись, я тебе приказываю.

Тредьяковский сел и возглагольствовал, помогая словам согласной мимикой.

— Человеческого духа такое, конечно, есть свойство, когда он сильно встревожен, что долго он как будто перстами ощущает, прежде нежели прямо огорстит слова для выражения своих чувств. В таком и я обретаюсь состоянии. Но дух, как Ираклий, чего не возможет! Он совершил во мне седьмой подвиг, и я приступаю. Я сей момент из собрания богов, с Олимпа и... и помыслите, ваше превосходительство, вообразите, возмните, какое бы благополучие меня ныне постигло.

— Что ж, ты видел государыню?

— Насладился ее божественным лицезрением, но этого не довольно.

— Она говорила с тобою?

— Еще выше и гораздо выше.

— Да не томи же нас!

— Итак, познайте, ваше превосходительство, я призван был в царские чертоги для чтения моего творения... Весь знаменитый двор стекся внимать мне. Не знал я, какую позицию принять, чтобы соблюсти достодолжное благоговение пред богоподобною Анною... рассудил за благо стать на колена... и в такой позитуре прочел почти целую песню... Хвалы оглушали меня... Сама государыня благоволила подняться с своего места, подошла ко мне и от всещедрой своей десницы пожаловала меня всемилостивейшею оплеу́хою.

Тут Волынской едва не лопнул со смеха; Зуда закусил себе губы.

— Не помыслите, великий господин, чтобы сия оплеуха была тяжка, каковые дают простые смертные своими руками; нет! она была сладостна, легка, пушиста, возбуждала преутаенные душевные пружины в подвижность, как подобает сие произойти от десницы небожителя. Она едва-едва коснулась моей ланиты, и рой блаженства облепил все мое естество. Не памятую, что со мною тогда совершалось, памятую только, что сия оплеуха была нечто между трепанием руки и теплым дуновением шестикрылого серафима. Проникнутое,

пронзенное благодарностью сердце бьет кастальским ключом, чтобы воспеть толикое благоденствие, ниспосланное на меня вознесенною превыше всех смертных.

— Поздравляем тебя от чистого сердца,— сказал Волынской. Не зная, как освободиться от энтузиасмуса своего гостя и между тем боясь оскорбить его крутым переходом к тому предмету, который лежал у него на сердце, он спросил будущего профессора элоквенции, что у него за книга под мышкою.

— А именно эта книжица есть вина предшедшего и вечно незабвенного события. Ее велено... (вы понимаете, кто велел)... показать вам... Я имею довольно свободного времени, чтобы повествовать вашему превосходительству сие происшествие в достодолжном порядке.

— Много чести; зачем беспокоиться!

— Сие беспокойство есть для меня репетиция моего благополучия.

Кабинет-министр внутренно досадовал; но, желая разобрать смысл намека на знаменитую книжицу, потребовал ее к себе и присовокупил, что он между тем будет слушать поэта внимательно, с тем, однако ж, уговором, чтобы он обрадовал его секретною весточкой. Василий Кириллович улыбнулся, показал таинственно на сердце, мигнул глупо-лукаво на Зуду, как бы считая его помехою, и поспешил обратиться к своему любезному предмету.

— Вот, извольте видеть, высокомощный господин, эта книжица есть...

Тут Василий Кириллович начал говорить и говорил столько о Гомере, Виргилии, Камоэнсе, о богах и богинях, что утомил терпение простых смертных. Зуда незаметно ускользнул из кабинета; в слух Артемия Петровича ударяли одни звуки без слов — так мысли его были далеки от его собеседника. Перебирая листы «Телемахиды», он нашел закладочку... На ней, в нескольких словах, заключалось для Волынского все высокое, все изящное, о чем оратор напрасно целые полчаса проповедовал; на ней было начертано: *Мариорица; твоя Мариорица — скучно Мариорице!* Слова эти горели в глазах влюбленного Волынского; он видел уж впереди, и очень близко, шифры, переплетенные огнем, пылающие алтари, потаенные беседки, всю фантасмагорию влюбленных. Чего не изъяснил он, не перевел, не до-

полнил в этих словах! Любовь скорее всякого профессора научит анализу того, что говорит любовь.

«О Мариорица! милая Мариорица! — думал он,— мы и заочно чувствуем одно; нам уже скучно друг без друга. Ты теперь между шутами, принуждена сносить плоскости этих двуногих животных; предо мною такой же шут, которого терплю потому только, что он бывает у тебя, что он с тобою часто говорит, что он приносит от тебя частичку тебя, вещи, на которых покоилась прелестная твоя ручка, слова, которые произносили твои горящие уста, след твоей души».

В то самое время, когда Волынской, влюбчивый, как пылкий юноша, беседовал таким образом с своею страстью, портрет его жены, во всем цвете красоты и счастия, с улыбкою на устах, с венком на голове, бросился ему в глаза и, как бы отделясь от стены, выступил ему навстречу. Совесть заговорила в нем; но надолго ли?.. Взоры его обратились опять на магические слова: *твоя Мариорица*, и весь мир, кроме нее, был забыт.

И вот кабинет-министр, в восторге своего счастия, взглянул на небо, как бы прося исполнить скорей преступные его желания.

— О победа! о венец труда великого! — воскликнул с радостным лицом Василий Кириллович, полагая, что восторженное движение Волынского относилось к одному месту из его поэмы.— Какое же место привело вас в такой энтузиасмус? соблаговолите указать торжествующему родителю на его детище, чтобы он мог сам поласкать его.

Волынской смутился, как бы пойманный в преступлении, поспешил спрятать закладку в карман, бросил взоры наугад в книгу и, настроив свой голос на высокий лад, прочел:

Видят они[1] весь шар земли, как блатную грудку;
Все ж преобширны моря им кажутся водными капли,
Коими грязная кочечка-та по местам окроплена.

Это место превосходно! исполнено силы, великолепия! Я ничего подобного не знаю.

— Го, го, го, есть места еще лучше. Если дозволите прочесть вашему признательному пииту!.. Например,

---

[1] Боги. *(Примеч. автора.)*

когда Калипса, воспаленная *паренком* любви и ревностью, дает *окрик* на Телемаха и *дядьку* его.

Здесь Василий Кириллович встал и, сам воспалясь гневом, замахав руками, вскричал так, что по сердцу собеседника его пробежала дрожь:

Прочь от меня, прочь далей, прочь, вертопрашный детина;
С ним же ты совокупно прочь, старичишка безмозглый:
Ты почувствуешь, мощен колико гнев есть богинин,
Ежели не отвлечешь его ты вскоре отсюду.
Больше видеть его не хочу; и к тому не терплю я,
Чтоб которая из нимф слово спустила
Иль на него чтоб и невозбранно коя смотрела.

Чувствуете ли, ваше превосходительство, какую красоту причиняет слово *прочь*, четырежды повторенное. Это по-нашему называется: фигура усугубления.

«Дух-мучитель!» — подумал Волынской, истерзанный самолюбием сочинителя, и сказал вслух:

— Хорошего понемногу, Василий Кириллович! Дайте мне отдохнуть от красоты одного образцового места, великий муж!

— Ага, ваше превосходительство, вы истинный меценат, вы постигли меня, вы отдаете мне справедливость. Но я поведаю вам анекдотец, как могут ошибаться и великие люди. Теперь, не краснея, смею предъявить его во услышание мира, ибо я на предмет своей знаменитости успокоен. Пускай букашки, цепляясь за былинки, топорщатся на Парнасус; пусть рыбачишка холмогорский в немецкой земле пищит и верещит на *сопелке* свою одишку на взятие Хотина, которую несмысленые ценители выхваляют до небес: моя труба зычит во все концы мира и заглушит ее; песенка потонет в 22205 стихах моей пиимы! 22205 вернейшим счетом!.. Не легко сказать; возьмись-ка кто написать!.. Сколько ни обгложут из них мои зоилы, сиречь завистники, все останется мне их довольно для существования в потомстве.

— Скорей к повествованию, Василий Кириллович, и потом жаждущему хоть каплю воды: одно слово о княжне. Когда ты скажешь мне его, я велю принесть подарочек...

Глаза будущего профессора элоквенции заблистали огнем. Он рассыпался в благодарности, окрилился и повествовал:

— Итак, я поведаю вашему превосходительству вкратце анекдотец о себе и Петре Великом. Извольте ведать, что я обучался элементам наук и древних язы-

ков в архангельской школе. Уже в летах младых я обещал в себе изобильные надежды. Единожды, когда соблаговолил посетить наш вертоград блаженные и вечно достойные памяти государь Петр Первый, профессор подвел меня к его императорскому величеству, яко вельми прилежного и даровитого студента по всем ветвиям наук, особенно в риторике и пиитике. Еле четырнадцатилетний паренище, я выучил наизусть главу *об изобретении* со всеми цитатами и эпиграфами, как помилуй мя боже, и сочинил стихословный акростих: «Како подобает чествовати богов земных?» Сей акростих был поднесен его императорскому величеству, и он, воззрев на него, соблаговолил изречь: *«Лучше б написал он мне о рыбной ловле здешнего края!»* Ге, ге, ге, о рыбной ловле: заметьте, ваше превосходительство! Осмелюсь присовокупить, впрочем не утруждая вашего драгоценного внимания: Петр Алексеевич хотя и был государь премудрый, но в риторических извитиях не обращался, греческого и латинского языков не любил. Сожалительно весьма; чего бы он с познанием их не сотворил! Но обращаюсь к сущему повествованию. Потом всемилостивейший государь, блаженные и вечно достойные памяти, соблаговолил подойти ко мне, выведенному из ряду прочих школьников, поднял державною дланью волосы на голове моей и, взглянув пристально мне в очи, а скиптроносною ударив по челу моему, произнес: *«О! этот малой труженик: он мастером никогда не будет»*. И я дерзаю днесь изрещи: *Петр был государь великий; но во мне-то и ошибся!* Приникни ныне, о тень божественная, на мою «Телемахиду», на Ролленя дважды в двадцати четырех томах, и сознайся пред ними в своей опрометчивости.

Волынской очень смеялся этому анекдоту; но чтобы разделаться с своим мучителем и разом прекратить его повествование о себе, которое могло бы вновь затянуться до бесконечности, если б только вздумалось оратору связать прерванное сказание о всемилостивейшей оплеухе, велел арабу принести обещанную пару. Между тем решительно приступил к Тредьяковскому, чтоб он без дальней благодарности и витийства дал ему весть о молдаванской княжне.

Василий Кириллович рассказал за тайну, что ее сиятельство была очень скучна, узнав, что его превосходительство сделался нездоров, что она расспрашивала, все ли красавицы петербургские ездят ко двору и нет ли

какой в городе, ей неизвестной; когда ж Василий Кириллович, как новый Парис, вручил ей золотое яблоко, она казалась очень довольною. Далее спрашивала об играх и затеях святочных, собиралась ныне же, когда месяц станет уклоняться к полуночи, выйти с подругами своими на крыльцо и погадать о суженом; наконец, во время урока, принялась чертить свое имя и еще кое-что... Но, несмотря на старания учителя взять эту записочку, Мариорица никак не согласилась отдать ее, боясь, что она попадет в руки Артемия Петровича. (Мы видели, однако ж, что эта самая записка очутилась в «Телемахиде», между листами, вместо закладки и дошла к кому следовала: так-то хитра любовь женщины! Верьте, что она, когда нужно, проведет не только профессора красноречия, но и поседелого в дипломации мужа.)

Утешенный Волынской, с новым запасом для своих волшебных замков, выпроводил от себя Тредьяковского, а этот, уложив в свой табачный носовой платок богатую пару платья, ему подаренную, и свою «Телемахиду», отправился с этим сокровищем домой. Вслед за его отбытием пришли доложить кабинет-министру, что какие-то святочные маски просят позволения явиться к нему. Велено пригласить.

Глава VII

ПЕРЕРЯЖЕННЫЕ

«Послушай, говорит, коль ты умней не будешь,
То дерзость не всегда легко тебе пройдет.
На сей раз бог простит: но берегись вперед
И знай, с кем шутишь!»

Крылов

Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали;
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали.

Жуковский

Еще на лестнице послышались песни, хохот, писк, кваканье, говор на разные голоса. И какая беда с профессором элоквенции! Ему навстречу ватага переряженных. Его оглушили, засвистали, защекотали: от па-

рика его пошла пудра столбом. В этой суматохе он думал не о себе; нет, великий муж мыслил, подобно Камоэнсу, гибнущему в море, о спасении «Телемахиды» и праздничной пары. Жалея о своем детище, которое могло бы пострадать от приступа маскерадных героев, он повернул медвежьи стопы назад: его затерли и увлекли. Как огромный гремучий змей, втянулись они в зал, составили польский, сгибаясь в кольцы и разгибаясь в бесчисленных изворотах, но не выпуская из своего круга бедного, измученного кропателя стихов. Тут были инка, гранд и донна, испанцы только по женским мантильям, на них накинутым, и по перьям на шапочках с бриллиантовыми аграфами. Шлейф донны несли два карла. Сбитенщик с огромным подушечным брюхом давал руку турку, трубочист с знатным ариергардом на спине — великолепной Семирамиде в фижмах, чертенок — капуцину. Тут выступал журавль, у которого туловище было из вывороченной шубы калмыцкого меха, шея из рукава, надетая на ручку половой щетки, нос из расщепленной надвое лучины, а ноги — просто человеческие, в сапогах. Рядом ревел и медведь: эту роль играл человек в медвежьей шубе, вверх шерстью. Одним словом, тут был полный доморощенный маскерад, какой только младенческое искусство тогдашнего времени могло устроить. В затеях подобного рода наши предки не были изящны; зато они веселились не равнодушно, не жеманно. Один только рыцарь, запаянный с ног до головы в благородный и неблагородный металл, отличался приличием и богатством своей одежды; он один хранил угрюмое молчание. Заметно было по жилистым, полновесным ручкам донны и Семирамиды, что они способны управлять не иглой, а палашом.

Одна из масок остановилась в сенях; ей навстречу — барская барыня.

— Что нового? — спросила первая.

— Цыганка после смотра долго оставалась наедине с барином,— отвечала вторая на ухо переряженному,— допытайте ее хорошенько... За мной строго присматривают...

Разговаривавшие послышали шум шагов внизу лестницы и бросились каждый в свою сторону.

Прервавший их тайную беседу был волшебник в высокой островерхой шапке и в долгополой мантии с иероглифами и зодиаками, с длинною тростью в одной руке и урной в другой.

Гости очень веселились, танцевали живо, как молодые, плясали уморительно по-стариковски, приводя в движение подушки, которыми обвязались; закидывали хозяина вопросами на разные чудные голоса, пускали шутихи остроумия и по временам намекали ему о некоторых тайнах его, известных только его друзьям. Это мучило Артемия Петровича; он не выдержал и приказал *маршалку* выведать от кучеров, стоявших у подъезда, кто были переодетые. Кучера сначала отговаривались, но гривна на водку все открыла: они рассказали, что главные маски были гоф-интендант Перокин и тайный советник Щурхов, друзья Волынского, с своими близкими. Узнали еще, что этот маскерад возвращался уже из дворца, где увеселял больную государыню. В самом деле, Артемий Петрович, сличая рост и ухватки своих друзей, уверился, что это точно они, да и карлы были те самые, которых он видал у Перокина и Щурхова. Вельможи эти были не молодых лет, но в тогдашнее, нещекотливое на приличие время старость и знать под веселый час любили подобные затеи в кругу приятельском или по заказу государыни.

Турок потребовал питья у сбитенщика, и этот налил ему из своей баклаги густого токая.

— В чужой монастырь с своим уставом не ходят,— вскричал Артемий Петрович,— стакан вдребезги,— и дан приказ расшевелить все углы домашнего погреба, заветного хранилища богатых заморских вин.

Пир поднялся горой; стопы и чары, постукивая, начали ходить кругом; разлилось море вина, хоть купайся в нем. Инка, турок, Семирамида пили по-русски. Капуцин, осушая стопу, ссылался, что соблазнил его нечистый, а бес приговаривал, что, попав в общество капуцина, поневоле научишься пить. Гости продолжали говорить не своими голосами, изредка обстреливая Бирона и его приверженцев; хозяин, увлекаясь живостью своего характера, не выдерживал и осыпал герцога посылками с убийственной начинкой. Только долговязый рыцарь молчал, как немой, но пил за двоих. Надо оговориться, что Артемий Петрович, дав слово гостям не нарушать их маскерадной тайны, свято исполнил его; гостям же бумажные забрала позволяли, осушая стопы, сохранить свое инкогнито. Между тем Зуда с ужимочками, с улыбочками и приветствиями подходил то к одной, то к другой маске и каждого ощупывал по роду его ответов.

— Ах! — возопил инка,— из столицы солнца, где жгли меня и лучи его и жаровни испанцев, я прибежал прохладиться в Россию.

— Ошиблись, ваше индейское величество! — подхватил Волынской,— здесь научили жарить на морозе без огня и угольев.

Индеец посмотрел на беса, бес на индейца; а хозяина в это время дернул за полу кафтана волшебник.

— Кой черт его дергает! — вскричал Волынской.— Да, братец, господин волшебник, эта наука не доморощенная, привезена к нам из-за моря нерусским Вельзевулом.

— Нерусским! да из какой же земли? — спросил грозно турок.

— Пасую ответом! — закричал чертенок.

— Из земли выходцев, где главные достоинства — счастие и отвага,— прервал Волынской,— жаль только, что он не наш выходец, и навеки!

— Хват! перещеголял и меня! — восклицал бес, хлопая в ладоши.

— Скажи мне, пожалуйста, братец,— спросил шепотом сбитенщик Артемия Петровича, отведя его в угол залы,— кто это волшебник?

— Да ведь он с вами приехал?

— Нет, он увязался за нами на лестнице! не шпион ли герцога?

— А вот я скоро с ним разделаюсь, сдерну с него фальшивую рожу.

— Постой, два слова...

— Боже! он погубит себя,— шепотом говорил Зуде волшебник, отведя его в сторону,— он, верно, принимает его за друга... Сердце замирает от мысли, что он проговорится... Он с бешенством на меня посмотрел, грозился на меня, показывал, что сдернет с меня маску... Я погиб тогда. Отведи его, ради бога!

— А меня ты узнал скоро? — спросил сбитенщик хозяина.

— Разом.

— Кто ж я?

— Перокин.

— Плутище!

— В другой раз прячь получше свои толстые жабры, пышные губки и бородавку на ухе, а карлом своим не хвастайся.

— Есть ли новости, брат?

— О, важные! Малороссиянин.

— Ну что? тише...

— И мертв и жив.

— Что за притча! Каким же образом?

— До вас я только что получил...

— Сюда, Артемий Петрович! время не терпит,— вскричал странным голосом Зуда, увлекая за собою упиравшегося волшебника,— плутоват, как Махиавель!

— Махиавель? — повторил Волынской,— я разом к тебе буду,— прибавил он, обратясь к сбитенщику, и бросился в ту сторону, где Зуда возился с астрологом. Этот от Волынского, далее и далее, и в противный угол залы, где никого не было.

— Вы губите себя,— сказал он Артемию Петровичу, схватя его за руку и легонько пожав ее.

Зуда присовокупил шепотом:

— Слушайте его, а не то беда! — Потом сказал вслух: — Колдун вовсе не пьет.

— Избавьте меня! — умолял жалобным голосом астролог,— зато я предскажу вам будущность вашу. Выньте из урны ваш жребий.

— Посмотрим, посмотрим!

Хозяин опустил в волшебный сосуд руку; между тем чародей протяжно запел непонятные слова, как муэдзин взывает на минарете к молитве.

— Эй, люди, сюда! — закричал Волынской,— держите его! беда колдуну, если он напророчит мне худое: утоплю его в вине.

Человека три ухватились за волшебника; из них и Зуды составилась порядочная группа, почти закрывавшая главные лица этой сцены. Молчаливый рыцарь встал с своего места и, не слыша, что они говорили между собою, впился в их душу глазами, сверкающими из-под маски, которую в это время коробило.

Волынской вынул из урны свернутую бумажку и прочел: «Берегитесь! все ваши гости лазутчики Бирона, выучившие роль ваших друзей и приехавшие к вам под именами их. Они хотят втереться к вам в кабинет. Не оскорбляйте рыцаря: это брат герцога».

Рука записки была та же, которою писали длинное таинственное послание.

— Хитрая штука! — вскричал хозяин, стараясь не казаться озабоченным.— Предсказывать, что мне не будет более успеха в волокитстве!.. Качать его за то!.. Эй, качать колдуна! Осторожнее! — прибавил он поти-

хоньку одному из своих слуг, взявшихся за волшебника.

И двадцать молодцов, исполняя свято приказ своего господина, под лад песни бросали гостя вверх, как мячик, и принимали его бережно на руки, будто на пуховики. Между тем Артемий Петрович шепнул под шумок одному из своих слуг, чтобы стерегли вход в кабинет, отослали домой сани приехавших гостей и запрягли три удалых тройки с собственной его конюшни; потом, возвратясь к мнимому Перокину, продолжал начатый с ним разговор.

— Вот видишь, любезный друг,— сказал он,— я только что пред вами получил прошение на имя государыни за подписью какого-то Горденки и еще нескольких важных лиц. В нем описываются злодеяния Бирона. Но — слышишь? просят вина! Не взыщи. Завтра в восемь часов утра приезжай ко мне с нашими задушевными — я вам расскажу все подробно.

— Зачем откладывать?.. завтра... что-нибудь помешает...

— Нас могут услышать.

— Войдем в кабинет...

— Не могу, право слово!.. Эй! маршалок! бокал сюда! — закричал грозно Волынской, пристав к шумящим гостям, и запел:

Чарочка моя,
Серебряная,
Кому чару пить,
Кому выпивать...

Да какая же чара! — прибавил он, наливая бокал,— не только с хмельком, да и с зельицем...

Выпивать ее
Артемию Петровичу,—

запели два-три голоса с коварною усмешкой.

— А я так думаю — всем гостям моим,— возразил с такою же усмешкой хозяин.

И чара обошла всех гостей, кроме волшебника, успевшего скрыться.

— Эй! скорей еще вина!

Чертенок, воспользовавшись обращением Волынского к своему дворецкому, погрозил вслед ему пальцем и промолвил:

— Поболе таких вин, как твои, господин хозяин, и ты не увернешься от наших когтей.

На эту шуточную угрозу, Волынским услышанную, он отвечал:

— У нас, по милости хозяина, во всякое время найдется довольно вин, чтобы виноватым быть. Беда, беда сбитенщику! За ним, я вижу, опять недоимка. Зуда, не отходи от него, пока не очистит, а то в доимочный приказ, и на мороз босыми ногами.

— Что скажете вы на все это, господин рыцарь? — спросил чертенок молчаливого крестоносца.

Рыцарь молча ударил по эфесу меча своего.

— Ошиблись, господин! вы вместо секиры привесили благородный меч,— сказал Волынской горячась.

— Не миновать тебе и ее! — был ответ рыцаря, как будто вышедший из могилы.

Хозяин вспыхнул, но старался скрыть свое негодование.

— Что-то помалчивает наша Семирамида? — лукаво спросил инка.

— Она горюет,— продолжал Волынской,—что ошиблась в выборе своего рыцаря. Но добрая Семирамида узнает когда-нибудь свою ошибку — к черту угрюмого конюшего (при этих словах рыцарь нахохлился), и блаженство польется в ее стране, как льется теперь у нас вино. Друзья, за здравие Семирамиды!

— За здравие Семирамиды! — воскликнули гости, и стопы зазвучали.

— Виват! — возгласил турок.

— Ура! родное ура! — закричал хозяин.

— Виватом у нас в Петербурге встречает войско свою государыню.

— Войску велят немцы-командиры, а нам кто указывает! Ура! многие лета царице! веки бесконечные ее памяти!

— Слышишь? — сказал чертенок шепотом, толкнув монаха,— память ей вечная!

— Да, да, я слышал,— отвечал капуцин,— слышал, верно, и благородный рыцарь. Мы все свидетели; от этого он не отопрется.

Волынской подошел к своим слугам и приказал, чтобы качали попеременно всех его гостей.

— Бойчее! — прибавил он мимоходом,— разомните им кости!

Этот приказ развязал руки качальщиков. Надо было

видеть, как летали турок, чертенок, капуцин и прочие маски.

— Злодеи! разбойники! тише, родные, пощадите! — кричали они, посылаемые сильными руками к потолку.

При этом действии славили гостей под именами Перокина, Щурхова и других, за кого приказано было людям принять их. Едва унеся свое тело и душу из этой потехи, они еще принуждены были щедро наградить *за славление*: так водилось у наших предков. Перокин более всего держался за свои уши, но бородавка на одном из них не уцелела. Волынской притворился, будто этого не заметил. Грозный рыцарь, по просьбе его товарищей, Семирамида, из уважения к ее высокому сану и полу, и Тредьяковский, который уже храпел на стуле в углу комнаты, обняв крепко свою «Телемахиду», одни избавились от торжественного возношения под потолок.

— Умирать! — закричал Волынской, став на средину зала. И вся многочисленная дворня, бывшая в комнате, окружив своего владыку и преклонив голову, пала к нему в ноги, как морские волны, прибитые взмахом ветра к подножию колонны, стоящей посреди пристани. Несколько минут лежали слуги, будто мертвые, не смея пошевелиться; но вдруг, по одному мановению своего господина, встали, затянув ему громкую песню славы. Под лад ее подняли его на руки и осторожно покачали. Когда ж эта русско-феодальная потеха кончилась, Волынской нарядился в богатый кучерской кафтан и предложил своим гостям прокатиться.

Согласились тем охотнее, что замашки хозяина грозили уж опасностью. Каково ж было их изумление и страх, когда они, вместо своих экипажей, нашли у подъезда сани с людьми, им вовсе не знакомыми? Три бойкие тройки, прибранные под масть, храпели и рыли снег от нетерпения.

— Извините, друзья,— сказал Волынской,— ваши сани отосланы. Размещайтесь смелее; я вас покатаю и развезу по домам.

Незваные гости не знали, как вырваться из западни: надобно было согласиться и на это предложение хозяина, который в подобных случаях не любил шуток, и постараться во время катания ускользнуть от него подобру-поздорову. Когда ж почти все маски разместились, продолжая свое инкогнито, Артемий Петрович при-

казал кучерам на двух санях, при которых на облучках уселись еще по двое дюжих лакея, чтоб они умчали своих седоков на Волково поле и там их оставили.

— Слышите! на Волковом поле сбросить их! — произнес он грозно; потом, обратясь к гостям, прибавил: — Шутка за шутку! прощайте, господа! Теперь смейтесь на мой счет сколько вам угодно! катай!..

Несчастные жалобно возопили, но кучера гаркнули, свистнули, полозья засипели, бубенчики на лошадях залепетали, и в один миг сани, навьюченные жертвами шпионства, исчезли из виду.

— Теперь,— сказал Волынской, садясь кучером в третьи сани, где поместился рыцарь печального образа, довольно нагруженный вином, и обратясь к нему,— позвольте отвезть вашу светлость к Летнему дворцу. Вы уже довольно наказаны страхом и, прибавлю, стыдом, что попали в шайку подлых лазутчиков. Знайте, за час до вашего приезда меня известили о вашем посещении, и потому я приготовился вас встретить. Мои шпионы не хуже герцогских. Вы, думаю, поймете, что шутками насчет вашего брата хотел я только доставить вам и вашим товарищам пищу для доноса. Уверьте, однако ж, его светлость, что как я, так и друзья мои никогда не потерпим личного оскорбления, даже и от него. Мы спокойны: клевете и зависти не сделать белого черным. Преданность наша государыне всем известна; должного уважения нашего к герцогу мы никогда не нарушали. Но для всякой предосторожности, чтобы не перетолковали в худую сторону моих шуток, ныне ж донесу ему обо всем случившемся в моем доме и об оскорблениях, мне лично сделанных людьми, играющими роль его лазутчиков. Надеюсь, если вы не хотите, чтобы нынешняя история известна была государыне, и вы подтвердите мое донесение. Вот Летний дворец! извольте сойти, целы и невредимы; благодарите за то родству вашему с герцогом курляндским. Покойной ночи, Густав Бирон!

Не отвечая ничего, со стыдом вышел рыцарь из саней и скрылся у входа в жилище герцога. Остававшаяся при нем свита выпрыгнула за ним, как лягушки, распуганные на берегу, опрометью бросаются в свое болото. Не так хорошо кончили свое ночное поприще их приятели. По буквальному тексту данного приказа, они выброшены на Волковом поле, получившем свое знаменитое

название от волков, приходивших туда каждую ночь доканчивать тех, которые при своей жизни не были пощажены жестокостью собратий, а по смерти их пренебрежением.

Маски в лунную ночь на кладбище — и еще каком, боже мой! — где трупы не зарывались: инка, Семирамида, капуцин, чертенок, это разнородное собрание, борющееся с мертвецами, которые, казалось им, сжимали их в своих холодных объятиях, хватали когтями, вырастали до неба и преследовали их стопами медвежьими; стая волков, с вытьем отскочившая при появлении нежданных гостей и ставшая в чутком отдалении, чтобы не потерять добычи,— таков был *дивертисмент*, приготовленный догадливою местью героям, храбрым только на доносы. К довершению их горя, надо было им пройти до своих квартир несколько верст пешком и на морозе.

Торжествующий Волынской, обещаясь быть вперед осторожнее (что он не раз уже обещал), отослал слуг домой и в кучерской одежде поехал шагом мимо Зимнего дворца.

Луна, полная и свежая, как дева, только что достигшая периода своей физической образованности, выказывала на голубом небе округленные, роскошные формы свои: то едва закрывалась сквозной косынкой облачка, то шаловливый ветерок сдергивал ее. Ночь была так светла, что можно было читать. На улицах никого. Тишина и игра лунного света придавали этой ночи какую-то таинственность. По Луговой линии во всех домах огни были погашены; одетые к стороне дворца мраком, здания стали, как угрюмые, исполинские стражи его, и простерли вперед тень свою, будто огромные зазубренные щиты. Один дворец изукрашен был огнями, игравшими сквозь окна, как золотая фольга, и, затопленный светом луны, благоприятно обратившейся к нему лицом, блестел мириадою снежных бриллиантов. Воображая себя витязем наших сказок, катился Волынской по снежному полотну мимо этих волшебных палат, где жила его княжна. Словно духи, его преследовавшие, тени от коней его то равнялись со дворцом, то далеко убегали, ложась поперек Невы.

Раз проехал мнимый ямщик под самыми окнами Мариорицы и мимо маленького дворцового подъезда. Какая досада! никого не видно. В другой, объехав две-три улицы и возвращаясь опять к крыльцу, как бы очарован-

ному для него, он заметил издали мелькнувшие из сеней головы. Ближе — нельзя сомневаться: это головы женские. На лестнице, сошедшей в улицу, захрустел снег под ножками; хрустнуло и сердце у Волынского. Сильною рукою замедляет он шаг коней.

Девушки смеялись, бросали свои башмачки, спрашивали служанку, ходившую поднимать их, в какую сторону легли они носком, резвились между собою, пололи снег и, наконец, увидев мимо ехавшего ямщика, начали спор.

— Спроси ты,— говорила одна.

— Нет, ты! нет, ты! — слышалась перестрелка тоненьких, нежных голосов—голосов, заставляющих прыгать все струны вашего сердца, особенно когда раздаются в святочную ночь, в таинственной ее тиши, когда и живописец-месяц очерчивает для вас пригожие личики говорящих.

Наконец, одна осмелилась и спросила мнимого ямщика:

— Как тебя зовут, дружок?

Волынской содрогнулся и невольно остановил лошадей; в этом вопросе он узнал звуки Мариорицына голоса.

— Артемием, сударыня! — отвечал он, скинув шапку.

— Артемий? — повторила, задумавшись, молдаванская княжна, и кровь ее, поднявшись быстро от сердца в лицо, готова была брызнуть из щек.

— Артемий? — закричали, смеясь, девушки,— какое дурное имя!

— Неправда! оно мне нравится,— подхватила княжна.

— Кто бы это был ваш суженый? — продолжали ее подруги.— Все, кого мы знаем, не пара вам: или дурен, или женат.

«Я знаю моего суженого, моего неизбежного»,— думала Мариорица и молчала, пылая от любви и чувства фатализма.

Девушки перешептывались, а лихой ямщик все еще стоял на одном месте; наконец, и он осмелился обратиться к ним с вопросом:

— Смею спросить: вас как зовут?

— Катериной! Дарьей! Надеждой! Марьей! — посыпались ответы.

— Неправда, неправда,— сказал гневно один голосок,— Мариорицей!

И этот голос был покрыт хохотом подруг ее.

Ямщик вздохнул, надел шапку набекрень и тронул шагом лошадей, затянув приятным голосом:

Вдоль по улице метелица метет;
За метелицей и милый друг идет.
«Ты постой, постой, красавица моя!
Еще дай ты насмотреться на себя,
На твою, радость, прекрасну красоту;
Красота твоя с ума меня свела:
Сокрушила добра молодца меня».

Возвратившись домой, Артемий Петрович застал воспитанника Ролленева спокойно спящим на том же стуле, на котором хмель приютил его. Влюбленному пришла мысль воспользоваться для своих замыслов положением стихотворца.

«Пора к делу! — сказал он сам про себя.— Она так неопытна; давно ли из гарема? кровь ее горит еще жаром полудня: надо ковать железо, пока горячо! Светское приличие, которому скоро ее научат, рассудок, долг, одно слово, что я женат... и мои мечты все в прах! Напишу ей записку и перешлю с господином Телемахом: этот молчаливый посланный гораздо вернее. Она найдет ее... будет отвечать, если меня любит... а там тайное свидание, и Мариорица, милая, прелестная Мариорица — моя!»

И Волынской пишет, исполненный адских замыслов, вскруживших ему голову до того, что он не видит ужасной будущности, которую готовит вдруг и своей супруге и девушке, неопытной, как птичка, в первый раз вылетевшая из колыбельного гнезда своего на зов теплого, летнего дыхания.

Вот что он пишет:

«Не выдержу долее!.. Нет, не достанет сил человеческих, чтобы видеть тебя, милая, прекрасная, божественная Мариорица, видеть тебя, любить и молчать. Куда бежать мне с моим сердцем, растерзанным мукою любви? Почему не могу вырвать его из груди своей, чтобы бросить псам на съедение?.. Мысли мои помутились, горячка пробегает по жилам, уста мои запеклись: одно слово, только одно слово, росинку надежды — и я блажен, как ангелы на небесах! Видишь, я у твоих ног,

обнимаю их, целую их след, как невольник, который чтит в тебе и свою владычицу и божество, которому ты свет, жизнь, воздух, все, что для него только дорого на земле и в небе. О милая, бесценная Мариорица! Ужели жестокостью своей захочешь ввергнуть меня в бездну тартара? Ужели хочешь видеть труп мой под окнами твоими?.. Реши мою участь. Положи ответ в ту же книжку, которую к тебе посылаю, и возврати мне ее на имя Тредьяковского завтра поутру, как можно ранее».

Волынской не затруднился сочинить это письмецо: любовь и опытность помогли ему. Не так легко было сочинителю пустить записку в ход. Узел в руках опьяневшего Тредьяковского развязан; но лишь только Артемий Петрович дотронулся до «Телемахиды», как творец ее, по какому-то сочувствию, замычал во сне. Дано ему забыться опять сном, и новый Язон опять принялся за похищение золотого руна. Мычание повторилось, но в то самое время, как Волынской, со всею осторожностью, вытягивал из узла громоздкое творение, араб вкладывал на место его так же осторожно полновесный фолиант. Послышав тягость в своих руках, Тредьяковский захрапел.

Подрезана бумага под переплетом «Телемахиды», и письмецо вложено в него так, что, коснувшись нежным пальчиком, сейчас можно было его ощупать. Затем велено арабу ехать во дворец, отдать книгу княжне Мариорице Лелемико от имени ее учителя, Василия Кирилловича, который, дескать, ночует у господина Волынского и приказал-де ей выучить к завтрашнему дню, для произнесения пред государыней, первые десять стихов из этой книги, и приказал-де еще переплет поберечь, книги никому не давать и возвратить ее рано поутру человеку, который за ней придет. Арабу наказано было отдать посылку как можно осторожнее, или в собственные руки княжны, или горничной, однако ж так, чтобы он слышал, что книга отдана княжне. С сердцем, полным страха и надежды, как водится в таких случаях, Волынской отправил своего черномазого Меркурия.

Глава VIII
ЗАПАДНЯ

Кого кто лучше проведет,
И кто хитрей кого обманет?

Крылов

С сырыми от снега башмаками возвратились гофдевицы домой из своего путешествия в волшебный мир гаданья. По каменным истертым ступеням дворцовой лестницы прядали они, как серны. Все собрались в комнате Мариорицы.

— Наши русские барышни свычны со снегом,— сказала княжне ее горничная, уговаривая переменить обувь,— им ничего! а вы у нас прилетная птичка из теплых краев.

— И я хочу быть русской! — отвечала Мариорица; однако ж послушалась, чувствуя, что ноги ее были очень мокры.

Усадили княжну в огромные президентские кресла, которых древность и истертый бархат черного порыжелого цвета еще резче выказывали это юное, прелестное творение, разрумяненное морозом, в блестящей одежде, полураспахнувшейся как бы для того, чтобы обличить стройность и негу ее форм. Это был розовый лист, павший на рясу чернеца, лебедь, покоящийся в темной осоке. Окруженная подругами, которые смотрели на нее, как бы желали себе: одна — ее мягких волос, свивавшихся черными лентами около шеи и до пояса, другая — ее румянца, третия — ее стана, плеч и бог знает чего еще; замечая в их глазах невольную дань ее превосходству и видя это превосходство в зеркале, осыпанная нежными заботами служанки, стоявшей на коленах у ног ее, Мариорица казалась какою-то восточною царицей, окруженною своими подданными. Горничная проворно скинула с нее обувь, брала то одну, то другую ногу в руки, грела их своим дыханием, потом на груди своей; согревши, положила одну ножку на ладонь к себе, любовалась ею, показала ее в каком-то восторге подругам княжны, как бы говоря: «Я такой еще не видывала! вы видали ли?» — и, поцеловав, спешила обуть. Мариорице, раскинувшейся на бархате кресел, которые, казалось, бережно отверзали ей свои древние ручки, как старец осторожно принимает в иссохшие объ-

ятия милое дитя свое,— Мариорице приятны были искренние ласки горничной. Однако ж она вздохнула. Кто из мужчин, видавших ее, не желал бы быть предметом и живым истолкователем этого вздоха?

И вот фатализм опять взвился над нею, как хищный орел, чтобы вырвать и эту сокровенную жертву. Кто-то постучался у дверей. Служанка вышла и скоро возвратилась с огромною книжицей и поручением от господина Тредьяковского, переданным вполовину.

— Ох! уж этот мне Василий Кириллович! — сказала княжна, топнув слегка ногой и с досады надув губки.— Легко ли?.. выучить наизусть эти стихи, в которых вязнет язык, будто едешь на ленивом осле по грязным улицам Хотина!.. Выучить наизусть! Мучитель! безбожник!

— Велено еще доложить вам, сударыня,— примолвила торопясь служанка, будто стараясь рассказать выученный урок,— что ваш учитель, дескать, остался опочивать у егарей-мастера Артемия Петровича Волынского, просит вас переплет книжицы поберечь, ее самое никому не давать, а возвратить человеку, который от него прислан будет завтра поутру, как можно ранее, потому-де, что книжица эта ему очень нужна.

При этом докладе мысль, что в посылке скрывается что-нибудь таинственное, пробежала, как огненная змейка, в голове сметливой и — нечего греха таить — влюбленной девушки. Угадчик-сердце шибко застучало. Мариорица призадумалась было, как математик над решением трудной задачи, но поспешила спрятать в душу свои догадки, раскрыла книгу с важностью президента и принялась за урок, читая его вслух. От первых стихов:

В крайней тоске завсегда уже пребывала Калипса...
и прочее,—

гоф-девицы были в восторге.

— Как это хорошо! так и тянет за душу,— говорили они; но вдруг захохотали, смотря лукаво друг на друга, когда дошли до описания кораблекрушения:

Се вдруг узрела она корабля разбитого доски,
Лавки гребецки почти на дщицы переломаны, весла
Также туда и сюда по песку разметаны, купно
Щеглу [1], кормило одно и верви при бреге пловущи...

---

[1] Машта: NB. Толкование г. Тредьяковского. В стихах соблюдено его право- или кривописание. *(Примеч. автора.)*

— Не мешайте мне учиться,— сказала Мариорица, приняв гневный вид, и подруги ее, смеясь, высыпали из комнаты.

С робостью осмотрелась кругом Мариорица. В комнате, кроме ее, никого. Она начала трудиться над книгой, перелистывать ее, шарить в ней...

Могла ли она думать, что в перегородке, отделявшей ее спальню от комнаты Груни, ее горничной, была умышленно проверчена щель? Могла ли подозревать, что этой горничной настрого приказано обер-гофкомиссаром Липманом неусыпно приглядывать за ее поступками? Не будет ли наказов, посылок, записок — и именно из дому Волынского?.. Боже упаси Груню утаить что-нибудь! Домашний лазутчик кабинет-министра уж дал знать герцогу, чрез кого следовало, о склонности Артемия Петровича, проскочившей наружу в разговорах его с Тредьяковским и Зудою. О! этот случай золотой, чтобы очернить соперника и врага в глазах государыни, строгой насчет нравственности, или запутать его в собственных сетях так, чтобы он не мог уж вредить фавориту.

Горничная искренно любила свою госпожу, и нельзя было не любить ее. Обворожительная своею красотой и детскою добротою сердца, Мариорица казалась существом, похищенным из двух раев — магометова и христианского. Груне гораздо было бы приятнее повести любовное дело, в котором она могла бы показать все свое мастерство и усердие, нежели шпионить против нее, но выступить из повеления Липмана, обер-гофкомиссара, любимца Биронова и крестника государынина, можно было только положа голову в петлю.

Родом жид, он остался жидом, хотя по наружности обновил себя водою и духом. Вывезенный герцогом, наг и нищ, из Курляндии и им обогащенный в России, он готов был, по одному только намеку его, оклеветать, пытать, удавить и утопить кого бы ни попало. И потому Груня покорилась необходимости. Творя крестные знамения и читая молитвы, она исполняла приказ грозного перекрещенца.

Случалось ли вам играть в отгадку под музыку или стук какой-нибудь вещицы? Так Мариорица искала чего-то в книге Тредьяковского под маятником своего сердца. То билось оно тихо, то шибче и вдруг затрепетало, как голубь в руках охотника; кровь пошла скоро, скоро, будто колеса в часах, когда порвалась цепочка:

Мариорица ощупала роковую записку. Вынуть, прочесть ее, упиваться страстными выражениями, отметить малейшие оттенки любви, слить эти оттенки в одну радугу надежды, погоревать, даже поплакать, что бедный ее Артемий Петрович так страдает от любви; наконец, поцеловать раз, еще раз, нежно, страстно роковое послание и потом спрятать его на груди, у сердца,— вот что делала Мариорица и что делает каждая влюбленная девушка, получив записку от предмета своей любви (пожалуй, если угодно, от жениха)!

Несмотря на эту оговорку, предчувствую, что грозное ополчение девушек поднимется на меня войной, копьями своих булавок исковыряет эту печатную страницу и везде встретит меня криком: «Неправда! неправда! Стыд автору! Смерть политическая его сочинению!»

Виноват, виноват: я пошутил; и если вы находите, что Мариорица сделала очень дурно, приняв послание, то вспомните, что она воспитывалась в гареме.

«И он стоит у ног моих, как стояла Груня, обнимает, целует их! О, какой же он нежный, страстный!..» — говорила про себя Мариорица и, спрятав записочку под подушку, объявила горничной, что она хочет лечь спать.

Замечают испытатели природы, что такого рода записки обыкновенно клонят на подушку.

И милая восемнадцатилетняя княжна, сбросив с себя всю тягость одежд, еще раз посмотрела в зеркало, как бы хотела сказать: «Да, я-таки недурна!..» — вспрыгнула, как проворная кошечка, на пуховик, еще раз поцеловала записку, обещаясь завтра поутру отвечать на нее,— а то, пожалуй, немудрено и убиться бедненькому! — положила ее под изголовье и, наконец, заснула, сладко-мучительно заснула.

Груня видела все. Стало ей жаль барышни, и она решилась было не исполнить приказ Липмана; но мысль о заводах, куда сошлют ее и где отдадут за какого-нибудь горбатого, кривого кузнеца, придала ей жестокой твердости. Она сотворила крестное знамение, как бы умывая себе руки в невольном преступлении, прочла молитву, подошла на цыпочках к постели барышни, не смея перевесть дыхание от страха, что делает худое дело, и от страха, что Мариорица того и гляди может проснуться.

Как беззаботно раскидалось прелестное дитя! Щеки ее горели, райская улыбка перепархивала по устам. Вот

рука горничной под подушкой... Мариорица вздохнула... и Груне показалось, что рука у ней отнялась... «Открой она теперь глаза,— думала невольная сообщница шпионства,— меня, как громом, пришибет». Но рука уж под изголовьем... мысль о заводах, как сильный проводник, дала ей движение... записка схвачена... рука на свободе.

Груня залилась горючими слезами; плакать, однако ж, было некогда: она обтерла слезы, вышла на цыпочках из отделения своей госпожи и явилась в ближнем коридоре. Тут чрез камер-лакея подозвала к себе одного из дежурных пажей: отдав ему роковую записку, сказала, как она досталась, и чтобы он вручил ее герцогу, когда тот будет проходить от государыни, и доложил бы ему, что бумажку нужно назад. На такие случаи, в тогдашнее время, пажи были наметаны. Горничная стала на часах у своего отделения, а проворный паж нырнул в извилинах дворцовых коридоров, слабо освещенных.

Герцог недолго заставил себя дожидаться. В дежурной комнате два пажа, увидев в замочную скважину, что он приближается, в одно мгновение ока растворили перед ним обе половины двери, важно вытянулись и в пояс ему поклонились. Герцог ласково кивнул им, вынул кошелек и, оделя их по горсти мелкого серебра, примолвил:

— Заправна, плутишка! люблю молодца! вот вам на сладка!

Пажи поцеловали у него руку; один же из них, делая это, всунул в нее потихоньку известную записку.

— Твоя, помолодше, проводит моя! — сказал Бирон, махнув ему рукой.

В одной из ближайших комнат герцог остановился и спросил своего провожатого, погладив его по голове:

— От кого?

— Из отделения молдаванской княжны,— отвечал быстро паж,— записка принесена из дома Волынского, в книге русского учителя; горничная ждет назад.

Бирон говорил плохо по-русски, но понимал лучше, нежели показывал. Он прочел записку, и радость до того им овладела, что руки у него затряслись. «Развращать во дворце... любимицу государыни?.. Этого довольно, чтобы сгубить соперника!.. Но Бирон ли раскроет и пресечет эту связь в самом начале?.. Нет, он не так прост. Ему нужно продлить ее, усилить даже собственною помощью, запутать молодца и... тогда... Что будет

тогда, увидим». Теперь же вынул он свою записную книжку и велел пажу на одном из листков ее списать роковое послание. Когда ж это было исполнено, он сличил подлинник со списком и сказал своему маленькому секретарю тем же исковерканным языком, которого дали мы образчик, но который не станем более употреблять, избегая затруднения в разговорах:

— Какой прекрасный почерк! Золотая ручка! да где ты этому мастерству учился?

— У камер-лакея Исполатова,— отвечал торжествующий паж с самодовольным видом.

— Виват, Исполатов! Только, вот видишь, дружок, надо быть аккуратным во всех делах (при этом слове паж, видимо, опечалился: он думал, что исполнил свое дело, как искуснейший министр). Впрочем, это безделица; я говорю для переду. Заметь своей рукой в моей книжке месяц, число и год получения письмеца; а как я вижу, у тебя нет часов, то я дарю тебе свои. (Разумеется, пажик поцеловал опять у Бирона руку за подарок и исполнил приказ его с быстротою стенографа.) Вперед я поручаю тебе всякий день справляться о новостях в отделении молдаванской княжны. Это плутни, мой миленький! негодные вещи, которых не любит государыня! Разврат не должен быть терпим. Мы должны показывать пример. Не учись этому, когда вырастешь.

(Не учись!.. Лукавец!.. А сам развращал дитя ремеслом шпионства и страстными выражениями, которые заставлял списывать.)

Когда этот урок кончился, Бирон отправил пажа к горничной с строгим наказом держать язык за зубами, а уши на макушке. Награды не посылалось: наградой можно б избаловать служанку — на нее должен был действовать один страх и гроза.

Горничная тряслась у дверей своих, будто прохваченная насквозь сырым, сквозным ветром. Взяв от пажа роковое послание, она с этой тяжелой ношей вошла в спальню своей барышни и тихо, украдкою положила записку под подушку.

«Бедная! как сладко спишь ты! — подумала служанка,— может статься, видишь своего полюбовника во сне и не ведаешь, что против тебя замышляют. И я, окаянная, попала к тебе на этот раз! Что ж? кабы не я, сделала бы это другая».

И с этими мыслями пошла Груня спать на свое жесткое ложе, молилась, плакала, но не могла заснуть

до зари. Поутру рано, пока барышня ее спала, отослала она книгу к Тредьяковскому, решившись сказать, что за нею присылали. Ведь наказано было как можно ранее возвратить ее. А то, неравно, бедная княжна вздумает отвечать на письмецо; ответ перехватят, и опять новое горе, новые заботы!

Глава IX

СЦЕНА НА НЕВЕ

И труп поглощен был глубокой рекой.

Жуковский

Была глухая полночь. Месяц, насупившись, бросал дремлющий свет на землю. Ни одной живой души по всем улицам Петербурга.

Только на берегу Невы, к Смоляному двору, прорывался конский топот. На дровнях неслись два мужика; один правил бойкою лошадью, другой сидел позади, свеся ноги. Бороды их густо заиневело. Между ними лежал рогожечный куль, порядочно вздутый. Вид этой поклажи в такое время не предвещал ничего доброго.

Начали спускаться на Неву. Правивший лошадью оглянулся, укоротив бег ее, и спросил своего товарища, не видать ли кого.

— Тфу, пропасть!— отвечал другой,— во всю дорогу вертелось перед глазами черное пятно: то росло, то пропадало.

— А теперь?

— Пропало вовсе.

— Тебе померещилось: а может, и нечисть разыгралась за нами. Полночные часы!.. едем с мертвецом!..

— Не впервинку возить; кажись, по нас в ходу и пословица: *«В куль, да в воду!»* Нет, братец, ныне времена жуткие. Курицы по всем частям поют петухом, петухи несутся; сказывают, и оборотень свиньею бегает по городу: вчера у дворца хотел ее часовой штыком, ан штык у него пополам.

— Уж и кликуши по церквам вызывают нечисть. Да чего доброго ждать? Нашу русскую землю затоптали немцы, и веру-то Христову хотят под пяту. Привезли сюда сотни две монахов и монахинь; собирается наболь-

ший их расстригать, дескать не по его крещены. Вытье такое, хоть беги вон из Питера!

— Немец немцу рознь: и из них бывают добрые люди. Вот, недалеко ходить, племянник комиссара, Густа Иванович... даром что креста не носит. То-то простота, то-то душа ангельская! Не забыть мне вовеки его милости.

— С того, со безвременья, как поласкали тебя кошками, а надглядывать за секуцией было приказано Густу Ивановичу? Помню. Только что ударил тебя раз заплечный, а у него, сердечушки, слезы в два ручья. Видел я сам, сунул он живодеру серебряный...

— И по мне словно мушки стали летать. За то душу свою для него выворочу.

— А мы вот и крещеные, да что делаем! сбываем людей, будто комаров, да и погребаем тела христианские без попа и молитвы.

— Ох, ох, неволя! хоть раз запрег бы в нее самого хаворита...

— И взмылил бы его, как давеча хохла.

— Что, братенька, был ли на обливанце нашем крест?

— Еще и ладанка.

— Так он под ноготь диаволу не попадет!

Один из мужиков, в которых мы узнаем конюхов Бирона, перекрестился и сказал:

— Помяни, господи, раба твоего во царствии своем!

Другой сделал то же. После чего оба вздохнули и замолкли.

Они уж съехали на Неву. Во многих местах по реке сделаны были проруби, которые от колыхания воды казались живыми пастями, движущимися, как бы готовясь поглотить жертвы, к ним привозимые.

— Экой погост! — произнес один из конюхов, стараясь попасть духом на веселый лад.— Не надобно копать могилок! поделали добрые люди про всякой обиход на весь приход! Ну, матушка Нева, кормишь ты нас добрыми сигами, да мы не уреживаем пускать в тебя долгоперых ершей.

Тут правивший лошадью остановил ее у ближнего проруба.

— Некстати тешиться, Агафоныч,— сказал другой, слезая сзади дровней.— Вот этак раз... Да что за чудо?.. посмотри-ка по набережной... Сердце так и упало.

— Словно сани летят!

— Не погоня ли?

— Вот уж спускаются на реку. Эка небывальщина.

— Не послал ли *сам* приглядеть за нами?

— Поскорей бы концы в воду!

— У меня и руки отнялись.

— Трус! подержи коня, а я спущу мертвеца с дровень да возьмусь за дубинку: нечего зевать!

Между тем как эти слова приводились в исполнение, сани въехали на Неву и стали шагах в пятидесяти от конюхов. Из этих саней выползло что-то маленькое, похожее на человека и обезьяну; но вдруг малютка вырос на несколько аршин. Гигант начал отмеривать реку огромными, саженными шагами. При этом появлении наши конюхи, ни живы ни мертвы, бросились на дровни, взвизгнули и были таковы.

Великан, потеряв их из виду, опять сделался крошкою. К нему присоединился кто-то, вышедший вслед за ним из саней. Свет месяца осветил лицо араба Волынского. Малютка был Зуда. Ходули помогли ему исполински вырасти в один миг и испугать кого нужно было.

Они во всю ночь караулили похоронный выезд из конюшен бироновских.

Куль распороли, и пред ними засияла ледяная безобразная глыба. Только всемогущая мысль могла проникнуть сквозь эту грубую скорлупу и разобрать под ней человека, некогда сердцевину живого мира. Этот кусок льду, облегший былое я, частицу бога, поглотивший то, чему на земле даны были имена чести, благородства, любви к ближним; подле него зияющая могила, во льду ж для него иссеченная; над этим чудным гробом, который служил вместе и саваном, маленькое белое существо, полное духовности и жизни, называемое европейцем и сверх того русским и Зудою; тут же на замерзлой реке черный невольник, сын жарких и свободных степей Африки, может быть царь в душе своей; волшебный свет луны, говорящей о другой подсолнечной, такой же бедной и все-таки драгоценной для тамошних жителей, как нам наша подсолнечная; тишина полуночи, и вдруг далеко, очень далеко, благовест, как будто голос неба, сходящий по лучу месяца,— если это не высокий момент для поэта и философа, так я не понимаю, что такое поэзия и философия.

. . . .

Осмотрев ледяную статую, Зуда и араб похоронили ее в снежном сугробе на берегу Невы.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава I

ЯЗЫК

Но знаешь? эта черная телега
Имеет право всюду разъезжать;
Мы пропускать должны.

Утром вышли наши цыганы с *постоялых дворов,* где отведена им была квартира вместе с другими товарищами, привезенными на игрище.

Дворец, государыня, золотые кареты, прекрасная, разряженная княжна — все это еще кружилось радужным вихрем пред глазами цыганки. Сердце ее росло от восторга; она шла наравне с палатами; она мечтала, что с Мариорицей весь Петербург, весь народ русский принадлежит ей и что ее слово, если она захочет, будет указом. Но как мало надобно, чтобы эти восторги, это счастие и величие уронить в прах! Для этого стоит ей только вспомнить слова камер-лакея: *«Не тронь ее, братец! видишь, как она похожа на молдаванскую княжну; точно мать ее или старшая сестра!»*

«Вдруг из княжон в цыганки! Каково так упасть?» — повторяет про себя Мариула и просит вновь своего товарища, слугу и друга помочь ее горю. Только ему одному поверила она частью свою тайну: душа его для тайны Мариулы, как крыша гробовая — раз заколоченная, не открывается ни для кого.

Товарищ уж со вчерашнего дня думал, гадал, прилаживал мысленно, как бы исполнить слово и утешить свою благодетельницу; наконец, придумал способ.

Надо знать, что Василий был некогда русским матросом. По цыганской своей породе, любя волю более всего, бежал из службы, таскался несколько лет по всем захолустьям России, по Бессарабии и Молдавии, коновалил, покупал, крал и продавал лошадей, обманывал кого и где мог и попал было под гвоздь хотинского кадия [1]. Случись при этой беде Мариула, знавашая его прежде и бывшая в милости у хотинского паши, и Мариула спасла его. Обязанный ей своей волей и благо-

[1] Судьи *(араб.).*

состоянием, он с тех пор не покидал ее и с нею-то попал в Петербург. Возвратиться ему туда не было опасно: в тучном старике не могли узнать прежнего молодца.

Статистика низших рядов общества, от полатей до подклета, в городе и в округе, была ему известна, как его карманы. Со времени его бегства она не могла много измениться, и потому в услуге, которую Василий хотел оказать своей куконе, метил он на пособие одной задушевной приятельницы. Это была крестьянка в Рыбачьей слободе, которой отец передал искусство врачевания. Выведав, что она еще здравствует, он повел к ней Мариулу.

Вот повернули цыганы на *большую прешпективу*. Такое громкое название дано было улице, которая тянулась с перехватами пустырей, от Луговой линии к Аничковой слободе. Тогда Петров город переводился с острова этого имени большою частью на Адмиралтейскую сторону, и потому *прешпектива* застраивалась *нарочитыми* домами. А каковы были эти нарочитые дома, можно судить по лучшему из них, *комедиантскому театральному дому*, деревянному и с крышею из дерну, воздвигнутому, как сказал древний описатель Петербурга, для *отправления трагедий, комедий и опер*. Образчик этого великолепного храма Талии, Мельпомены, и прочих, и прочих существовал еще несколько лет тому назад в подмосковном селе Кускове. Другие домы, более скромной наружности, выбегали, однако ж, по вызову правительства на *большую прешпективу* и своими новенькими, черепичными или гонтовыми крышами свидетельствовали, что и они достойны показаться в большом свете и стать в указанную линию. Деревянный Гостиный двор в два яруса, с бесчисленными мелкими арками, как стойлами, отстраивался на том месте, где стоит нынешний. Он примыкал еще тогда к березовой роще, уступившей ему часть своего достояния, но сохранившей другую, бóльшую часть к стороне Аничковой слободы, как бы убегая от наступчивых, бойких горожан к жителям более спокойным. Но и тут людкость столицы не дала долго отдыхать утесненным гамадриадам, завела рынок посреди рощи и в скором времени святотатственно посягнула на последние, кое-где мелькавшие деревья, осенявшие хижину старого инвалида морских баталионов. Где теперь и Аничкова слобода, и гордый комедиантский дом, и домики, чопорно выхо-

дившие на большую прешпективу, чтобы похвастаться своими черепичными кровлями, как набеленные и разрумяненные купчихи выходят в праздничный день к своим воротам, на людей посмотреть, а более себя показать? Где все, о чем теперь говорили! Ряды огромных камней, классически вытянутых по шнуру, классически уравненных, стали на пепелище первобытного Петербурга, как холодные, великолепные памятники, воздвигнутые наследственною обязанностью над прахом любимых народных поэтов.

Люблю воображать себе этот первобытный Петербург, но только летом, когда закат солнечный набрасывает на него фантасмагорический отлив. Живописно красуется он с своими палатами, важно поглядывающими свысока, и толпою мазанок, постепенно пробивающихся в знать; с своими полуголландскими, полурусскими домиками, над которыми строители истощили независимые, безотчетные затеи, как бы хотели ими сказать: *«Всякий молодец на свой образец»*. Одни кровли домов — уж богатая жатва для взора, любящего везде отыскивать поэзию. С какою негою раскидывается солнышко по мураве их, на которой время подобрало оттенки зеленого, желтого, ржавого и дикого цветов! Последние лучи как хорошо графят розовые черепичные крыши (кое-где в два-три этажа, словно две-три шляпы треугольные, одна на другую нахлобученные, кое-где стрельчатые, минаретные или наподобие голубятен)! Как поигрывает солнечный луч в яблоке адмиралтейского шпица, будто в золотом шарике, который вертится поверх скачущего водомета! Как искрится в крестах божиих храмов, большею частью деревянных, и выбивает огненный сноп о луженое железо высоких палат! А крыльца разнохарактерные то прячутся на двор, то чванливо подбоченили здания или выступают на улицу; а кораблики с веющими флагами на воротах; а мельницы с вычурными колпаками и ходулями на берегу Васильевского острова, кивающие Зимнему дворцу и смотрящиеся вместе с ним и Меншиковыми палатами в одно зеркало Невы; а подле этих палат свита мазанок, ставшая в ранжир под именем Французской слободы; а Нева без мостов, которую то и дело снует флотилия раскрашенных лодок или из которой вырастают мачты, как частый тростник на озере, и, наконец, рощи и луга посреди этого города: все это разве не живопись, не поэзия?..

Но зимой, и особенно зимой 1739/40 года, не желал бы я быть в первобытном Петербурге. Это Голландия и Сибирь вместе, одна призванная, другая оседлая, с изумлением сошедшиеся у Финского залива; они косятся друг на дружку и силятся выжить одна другую. Разумеется, что в морозы наша русачка берет верх. Даже и на именитой *прешпективе* она является самовластною. Множество пустырей; домы будто госпитальные жители, выглядывающие в белых колпаках и в белых халатах и ставшие один от другого в стрелковой дистанции, точно после пожара; улицы только именем и заборами, их означающими; каналы с деревянными срубами и перилами, снежные бугры, безлюдство, бироновские ужасы: незавидная картина!

Только к концу *большой прешпективы,* около Гостиного двора, русский торговый дух оживляет ее. Бойкие сидельцы, при появлении каждого прохожего, скинув шапку и вытянув руку, будто загоняют цыплят, отряхнув свою масленую головку, остриженную в кружок, клохчут, лают, выпевают, вычитывают длинный список товаров, вертят калейдоскоп своих приветствий, встречают и провожают этим гамом, как докучливые шавки, пока потеряют прохожего из виду. «Что вам угодно? Барыня, сударыня, пожалуйте сюда! Что покупаете? Господин честной, милости просим! Что потребно? Железо, мед, бахта, платки, бархат, парча, деготь, бумага!.. Образа променивать!.. Меха сибирские! Икра астраханская! Сафьян казанский! Ко мне, сударыня, у меня товар лучший! — Не слушайте, он врет... у меня...— Ей-богу, уступлю за бесценок... с убытком, только для почину... с легкой руки вашей...» И готовы разорвать прохожего. А вздумай он войти в лавку, так продавец в убыток запросит с него в пять раз дороже, чего товар стоит. Жеманные барыни в разноцветных бархатных шубах, в платочке, обвязавшем по-русски голову, причесанную *по-немецки,* с большими муфтами, расхаживают по *рядам,* как павы, и бранятся с купцами, как матросы. Разрумяненные купчихи в парчовых кокошниках и полушубках чинно кивают, как глиняные кошечки, не шевеля своего туловища и едва процеживая сквозь губы свои требования. Кое-где важный господин в медвежьей шубе и, наперекор северной природе, в треугольной шляпе, венчающей парик, очищает себе *натуральною* тростью дорогу между стаей докучливых сидельцев, предоставляя последи нахалов-слуг раз-

метать влево и вправо эту мещанскую челядь. *Воловьи и подъезжие* извозчики то и дело шныряют около Гостиного двора с отзывом татарских времен: пади! пади! Там кричат: «блины горячи!», «здесь сбитень!», «тут папушники!», бубенчики звонко говорят на лошадях; мерно гремят полосы железа, воркуют тысячи голубей, которых русское православие питает и лелеет, как священную птицу; рукавицы похлопывают; мороз сипит под санями, скрипит под ногой. Везде движение, говор, гам, бряцанье.

Эти предметы, эта суета торговая новы для наших цыган; на все они заглядываются, всего заслушиваются.

Вдруг откуда-то раздается сторожевой крик. Кажется, это вестовой голос, что наступает конец мира. Все следом его молкнет, всякое движение замирает, пульс не бьется, будто жизнь задохнулась в один миг под стопою гневного бога. Весы, аршины, ноги, руки, рты остановились в том самом положении, в каком застал их этот возглас. Один слух, напряженный до возможного, заменил все чувства; он один обнаруживает в этих людях присутствие жизни: все прислушивается...

Опять раздается возглас, волнуется, всходит будто со ступени на ступень, ближе и ближе; уж можно слышать в нем слово: «Язык!»

— Языка ведут! Языка!..— повторяют с ужасом сотни голосов.

Слово «Язык» стонет в обоих этажах Гостиного двора, по улицам, слабеет, усиливается и сообщается, как зараза. Почти каждый человек — его отголосок. Бросают товар, деньги, запирают лавки, запираются в них, толкают друг друга, бегут опрометью, задыхаясь, кто куда попал, в свой, чужой дом, сквозь подворотни, ворота на запор, в погреб, на чердак, бросаются в свои экипажи, садятся, не торгуясь, на извозчиков; лошади летят, как будто в сражении, предчувствуя вместе с людьми опасность. И в несколько мгновений *большая прешпектива,* Гостиный двор, вся часть города пуста, словно вымершая.

Только на площадке, против Гостиного двора, видны два человека. Они как бы обезумленные, не понимая ничего, не зная, что делается около них и что им делать, ожидая чего-то ужасного, стоят на одном месте. Эти два человека наши цыганы.

Оборачиваются...

На них, прямо-таки на них идет, сопровождаемый пешим конвоем и полицейским чиновником на лошади, какое-то чудовищное существо. Так по крайней мере он кажется издали.

Цыгане думают бежать, но куда? Уж поздно; их может тотчас настигнуть верховой. Да еще их ли нужно? Они за собой ничего не знают. Не хотят ли спросить их о чем?.. В таких переговорах они стояли на одном месте, ожидая на себя конвоя.

Чудовищное существо ближе, ближе к ним; уже в нескольких шагах. Можно различить, что это человек, покрытый с головы до пят мешком из грубого холста, в котором оставлены только прорехи для глаз и для рта. О! этот человек существо ужаснейшее. Недаром упреждает его бегство и опустошение. Он равнозначителен чуме, трусу, наводнению... Когда из маленькой холщовой прорехи слышится магическое *слово и дело,* оно ведет к допросу, пытке и казни, оно мертвит прежде смерти: не менее ужасно голоса крокодила, раскрывающего пасть, чтобы поглотить свою жертву. Это одно из привилегированных зол, от которых освободила нас Екатерина Великая. Его звали: «Язык».

Что ж такое был Язык? — Уголовный преступник, которого водили по городу в наряде, нами описанном, чтобы указать на участников в его преступлении. Разумеется, этим ужасным средством пользовались, для исполнения своих видов, корысть или властолюбие, месть или желание продлить и запутать суд.

Язык подошел к испуганной цыганке и оговорил ее роковым «словом и делом». Ее окружает конвой; полицейский чиновник грозно приказывает ей следовать за ним. Трясясь от страха, потеряв даже силу мыслить, так внезапно нахлынула на нее беда, она хочет что-то сказать, но губы ее издают одни непонятные, дрожащие звуки. Покорясь беспрекословно, она следует за ужасным оговорителем.

— Возьмите и меня,— кричит ее товарищ, которого с нею разлучили,— коли она в чем оступилась, так я с нею половинщик. Спросите ее сами, я не отхожу от нее день и ночь; без меня она не зарежет цыпленка.

— На тебя не показывает Язык,— сказал полицейский чиновник,— нам тебя не нужно.

— Вы должны и меня с нею взять; я на себя показываю.

Цыгану возразили убеждениями прикладов.

— Бейте меня, мучьте меня,— продолжал кричать Василий,— растерзайте мое тело по кусочку, выньте мою душу по частям, я не отстану от своей куконы.

И, несмотря на угрозы и скорое исполнение их, он последовал за своей подругой и госпожой.

Глава II

ДОПРОС

А что, пытали? — Да! — Чем? кипятком, клещами?
— Словами!..
Но что пред ними зуб клещей, в огне смола
И все, что выдумал ад в сердце человека!..

Страх заранее сметал людей с улицы, по которой шел Язык, ведя свою жертву. Лишь изредка дерзала ему навстречу вельможная карета.

Когда бедная цыганка пришла в себя, первая мысль ее была о Мариорице.

«Милое дитя мое,— твердила она про себя,— не дадут мне злые люди насмотреться на твое счастие... Еще б только увидать тебя пристроенною за богатого знатного Волынского, и тогда б я умерла спокойно, радостно, как в небе. Что ж? я и теперь сделала все, как мать, может быть и то, чего б не сделала другая... Кабы еще к этому хоть одно приветное слово от тебя, дочки моей!.. хоть бы одну слезинку на лицо матери прежде, чем закрою очи!.. Нет, нет, страшно и подумать, что ты увидишь в цыганке мать свою, страшнее, чем смерть, на которую, может статься, меня теперь ведут! Я свила твое благополучие высоко, высоко; не снесу его в грязь, не дам стоптать людям... Пускай казнят меня: на плахе прошепчу твое дорогое имечко, буду молить бога только о том, чтобы он при тебе заступил меня!..»

Цыганка посмотрела на небо, к стороне дворца, на свою стражу и шла спокойнее.

Мысли за мыслью, догадки за догадкой вязались в голове ее; вдруг одно страшное сомнение мелькнуло пред ней и всю ее обхватило... сердце ее то кипело, как

разожженная сера, то стыло, будто под ледяной рукой мертвеца. Не узнали ли ее тайну?.. Может быть, сходство! ужасное сходство!.. Не ведут ли ее к допросу об этой роковой тайне... О! никакие пытки не заставят ее проговориться. Что ей муки? лишь бы о Мариорице помину не было. Неизвестность колебала ее душу из стороны в сторону; смерть, смерть в груди бедной матери. Она торопилась, она, кажется, хотела обогнать стражу, чтобы поскорей к развязке, и по временам молила бога сохранить от беды только одну драгоценную голову.

Мариулу привели в один из мазанковых домиков, позади Летнего сада, принадлежащих к службам герцогским. При входе сдернули с нее шубу. Василия остановили у наружного крыльца: здесь он решился дожидаться своей куконы, хоть бы замерзнуть. Через огромную нечистую переднюю, где стояли дрова, скамейка в инвалидном состоянии и непокрытое ведро с водой, ввели Мариулу в другую большую комнату другого содержания, но не менее мрачную. Продолговатый стол занимал средину этой комнаты по наклону пола, столь эластического, что, ступив на один конец доски, можно было заставить прыгать все, на ней стоявшее. Окна, запушенные на вершок морозом, пропускали в это домовище синеватый цвет. Кое-где по потолку свисла паутина, будто крылья летучих мышей. Вдоль черных стен лежали кипы бумаг, которых годы существования мог бы исчислить разве архивный Кювье по слоям пыли, их покрывавшим. Одно, что с первого взгляда утешало в этой комнате, так это зерцало, стоявшее на вощанке, посреди стола; но и этот памятник великой идеи великого царя-законодателя оскорбляли и смелый паук, завесивший его по местам своею тканью, и бесчеловечие, поместившее разные орудия пытки в боковой комнате, в которую дверь оставлена была, как бы с умыслом, полузакрытою. Это была полицейская канцелярия при доме герцога.

Смотря на эти предметы, цыганка ожидала ужасного допроса. Вид особ, представившихся ее глазам, не более был утешителен. У стола, на судейском месте, сидел худощавый старик отвратительной наружности: рыжие космы падали беспорядочно на плеча, голова его, вытянутая, иссохшая, имела форму лошадиной, обтянутой человеческой кожей, с глазами гиены, с ушами и ртом орангутана, расположенными так близко одни

от другого, что когда сильно двигались челюсти, шевелились дружно и огромные уши и ежились рыжие волосы. Глаза его, то останавливаясь неподвижно, принимали мертвый цвет свинца, то сверкали ужасно, как пытливый зонд, или схватывали без пощады слабую душу и держали ее над бездной. Он был одет весь в красно-коричневом, даже до шелковых чулок; богатые, кружевные манжеты, закрывая кисть его руки, возбуждали подозрения, что под ними скрываются ногти нечистого. Подле него, сбоку стола, сидел молодой человек лет двадцати пяти, белокурый, тщедушный. В лице его, казалось, не было кровинки; мутные, безжизненные глаза выражали сонливую или болезненную природу. Впрочем, в поступках и словах его можно было заметить какую-то измученную таинственность: он весь похож был на недоговоренный смысл, означенный несколькими точками. Он держал нехотя перо в руках и смотрел более на бумагу перед собой, нежели на живые предметы, его окружавшие. Первый был достойный клеврет Бирона, обер-гофкомиссар Липман, второй — домашний секретарь их обоих и племянник последнего, Эйхлер, которого он воспитывал как сына и любил — для себя. Едва умея подписывать свое имя, Липман употреблял это живое орудие по всем бумажным делам своим. Бездетный, не имея кому передать, кроме него, свои богатства и свою знать, он хотел не умереть на земле хотя в нем. И потому доставил ему завидный пост, приближавший его к герцогу; место кабинет-секретаря было у племянничка на мази.

Чудное это желание не умирать после себя на земле!.. Часто целое потомство, целый народ, человечество пожинает на том поле, которое засеяло самолюбивое или возвышенное чувство одного человека.

По одну сторону зерцала поставили Мариулу, по другую — Языка; ее, красивую, опрятную, в шелковом наряде, по коему рассыпались золотые звезды (мать княжны Лелемико унизилась бы в собственных глазах, если бы одевалась небогато), ее, бледную, дрожащую от страха; его — в черном холщовом мешке, сквозь которого проглядывали два серые глаза и губы, готовые раскрыться, чтобы произнести смертельный приговор.

Начался допрос. Прелюдий уж хорошо объяснял, каков будет самый концерт.

— Смотри, цыганка! — сказал грозным голосом ры-

жеватый судья,— уговор лучше денег: говори правду, или косточки твои заговорят нам за тебя.

Он указал в боковую комнату. Глаза его при этом движении подрали по сердцу Мариулы, как бы прошли по нем пилой.

— Не ведаю за собой ничего,— сказала она, собрав силы,— но о чем спросишь, господин, на все готова отвечать. («Лишь бы не о Мариорице,— думала она,— о! об этой не заставит меня сказать полслова и то, что вижу в боковой комнате».)

— Еще прибавка к нашему условию: если сознаешься скоро, в чем тебя обвиняют, то мы держать тебя долго не станем. Теперь к делу!

— Слушаю, господин!

— Вот видишь этого урода в мешке: он погубил несколько душ и доказывает, что ты дорогою из Москвы сюда была в коротких связях с его атаманом, который под именем малороссиянина Горденки пробирался в Питер, чтобы ограбить казну.

«А! — подумала цыганка, догадываясь, к чему подбирались допросчики,— слава богу! дело не о моем детище; после этого все пустяки, вздор!..»

Тяжелый камень свалился с груди ее; блистающие радостью глаза и улыбка на устах ей изменили.

— Только? — невольно спросила она своего судью.

— Разве этого мало? Дружба с атаманом! это ведет вместе с ним на плаху. Язык, твоя очередь! Говори ж, что ты доказывал на нее. Как ее зовут? какие были у ней плутовские замыслы с атаманом?

Человек в мешке начал свой донос, искусно сочиненный, но худо затверженный. Кто бы знал голос Ферапонта Подачкина, не обинуясь сказал бы, что это был он.

И действительно, это был сынок барской барыни. Его заставили играть роль Языка для того, чтобы оговорить цыганку, бывшую в коротких связях с тем, которого хотя и заморозили, но не могут докончить с его грозными замыслами,— цыганку, умевшую понравиться и Волынскому, с которым она, после смотра, оставалась долго наедине. Горденко не передал ли ей известного доноса? Не перешел ли этот письменный доказчик в третьи руки, к врагу герцога!.. Личность его светлости с этой стороны не обезопасена; а кто не знает, что личность временщика идет впереди всего? Не беда сделать цыганку преступницей, навалить ей на плеча два-три

злодеяния!.. Скрутив ее таким образом, можно ее допытать и, смотря по обстоятельствам, наказать или помиловать: все в воле герцога.

Повести это дело к желанной цели поручено, как мы видели, хитрецу Липману.

— Правда,— отвечала с твердостью цыганка,— меня зовут Мариулой, правда и то, что малороссиянин — бог знает, кто он такой — полюбил меня за мое будто лукавство, часто говаривал со мною и...

— И передал тебе?..— спросил, дрожа от нетерпения, Липман,— ну, голубушка?

«Понимаю,— сказала про себя Мариула,— понимаю и все открою. Что мне до чужих дел! У меня только одно дело на свете...»

— Велите выйти этому мешку,— примолвила она вслух, обратясь к судье,— я знаю, что вам надо.

Спокойствие и твердость, с которою она говорила, предвещали благоприятную и скорую развязку допросам. Гроза, собравшаяся на лице обер-гофкомиссара, начала расходиться. Он дал знак Языку рукою, этот понял и вышел. Тогда цыганка сказала с твердостью:

— Вам надобна бумага Горденки, так ли?

— Да, да, моя голубушка! бума... га, которую... но ты... догадлива, ты все знаешь...

— Нет, господин, я ничего не знаю.

— Как ничего?..— вскричал грозно допросчик.— Проклятая цыганка! не ты ли сама?..

— Я не знаю, что в бумаге; но она...

— Ну?..

Липман при этом вопросе приподнялся невольно со стула, глаза его вцепились, как когти дьявола, в душу Мариулы, из которой, казалось, хотели исторгнуть ее тайну.

— Где? — прибавил он нетерпеливо.

— У меня, и со мною теперь,— отвечала цыганка.

Если б она сказала другое, старичишка растерзал бы ее по клочкам; обрадованный ответом, он готов был расцеловать ее.

Не спрашивая позволения, Мариула подошла к окну, оборотилась к Липману спиной, вынула из-за пазухи запечатанный пакет и потом передала его своему судье с вопросом:

— Она ли?

Заворотив свои манжеты, Липман схватил трепещущей рукой пакет, сломил на нем печать и, пере-

дав его секретарю, задыхаясь, спросил также лаконически:

— Она?..

Секретарь машинально взял бумагу, сонными глазами пробежал ее, кивнул утвердительно и, зевая длинною зевотой, отвечал:

— Она! — Потом стал пристально читать ее.

Пока роковое слово не дошло до ушей старика, он, казалось, готов был съесть племянника за медленность изъяснения; но ответ произнесен, и торжествующая душа его вся излилась в восклицании:

— А!..

Не иначе произнес бы это восклицание алхимик, найдя философский камень; вероятно, не иначе произнес его Колумб, увидя первый берег открытого им Нового Света.

Тут лукавая Мариула, посвященная Горденкою в некоторые политические тайны, касающиеся до Бирона, умела, не путая в них кабинет-министра, осторожно рассказать, как досталась ей бумага, как Горденко — атаман, что ли, она не ведала — умолял, в случае смерти его, подать эту бумагу матушке-царице.

— Я обещала,— говорила она,— между тем у меня было на уме: коли бог приберет его, так запечатанный лист в печь, а то, статься может, напляшешься с ним, что и чертям до слез.

— Начинаю верить, что ты не причастна злодеяниям разбойника; а то жаль было мне славной бабенки. Зато и голова у тебя цела, да еще жди милостей от самого герцога. Барин большой, выше его нет в России — что я говорю, в России? — в подсолнечной! барин добрый, щедрый, стоит только знать его.

— Как же, батюшка,— отвечала Мариула,— про него везде, даже и в турецкой земле, такая хорошая слава идет...

Молодой человек едва-едва усмехнулся; но и эту усмешку прикрыл зевотой, положил бумагу на стол, протянул ноги во всю длину их и начал дремать.

— Теперь еще два вопроса,— сказал Липман,— и если ты на них будешь так же скоро и верно отвечать, как доселе, так поздравляю: ты с богатою обновой.

— Спрашивайте, господин!

— Не видала ли ты на малороссиянине другой бумаги?

— Не видала.

— Не проговаривался ли он об ней?

— Никогда.

— Не рассказывал ли он тебе своих замыслов?

— Сказывал только, что ищет выместить на ком-то свою обиду, а на ком и как — не пояснил мне.

— Теперь последний вопрос: о чем говорила ты наедине с Артемием Петровичем Волынским вчера, у него в доме?

Дух занялся у цыганки; бледнея и запинаясь, она отвечала:

— Ничего, господин... право слово, ничего...

— Гм! ничего! Но ты бледнеешь и дрожишь?.. Ничего?.. Ты должна мне сказать, что с ним говорила, или...

— Признаться, господин великий... божусь вам богом, это нейдет к вашему делу... пустячки...

— Если это пустячки, так зачем скрывать их?

— Я поклялась...

— Эй! заплечный мастер! — закричал Липман.

Вошел палач.

— О, когда дело дошло до этого, пытайте меня: не скажу!

При этом ответе, в котором выразилась вся сила души Мариулы, она подняла голову и потом спросила, куда ей идти на пытку.

Молодой человек был исторгнут из своей дремоты восклицанием ее; наклонившись к дяде, он сказал ему по-немецки:

— Не ожесточайте ее! Когда она не утаила от вас бумаги, так рассказала бы и другие тайны свои, которые касаются до малороссиянина или заговора Волынского, если б их знала. Вероятно, какое-нибудь волокитство... просили ее помощи... ведь вам уж сказывали... Любовное дело? не так ли? — прибавил он по-русски, обратясь к цыганке и ободряя ее голосом и взором.

— Да! Больше не ждите от меня словечка,— отвечала Мариула.

— Давно бы так, голубушка,— подхватил Липман, переменив свой грозный голос на ласковый и дав знак рукою палачу удалиться,— понимаю, понимаю... невеста хоть куда!.. ба, ба, ба, да она в тебя словно вылита!.. Не живала ли ты уж в Молдавии, у какого-нибудь господарчика?

— Полноте шутить,— отвечала с сердцем Мариула.

Она согласилась бы в это время провалиться сквозь землю.

— Что ж? доброе дело! — продолжал иронически старичишка,— жених хоть куда! богатый, знатный... свахе будут хорошие подарки...

Жених! невеста! слова эти стучали, как молот, в сердце бедной матери.

— В этом сватовстве мы вам мешать не будем, лишь бы остальное... смотри!..— прибавил Липман значительно, погрозясь и показывая на губы.

— Умрет в груди моей,— отвечала цыганка с твердостью, оправившись от своего испуга.

— Хорошо, я доволен! Да, да, еще одно дельце?

— Приказывайте.

— Малороссиянин, атаман, не атаман, назови его как хочешь, пропал...

— Так что ж, сударь?

— Малороссиянин, который был наряжен на игрище воеводой и подменен потом Горденкою, теперь налицо... Вот видишь, если узнают, что он пропадал, что разбойник подставил себя на место его и хотел насмеяться над властями, худо будет воеводе, начнутся допросы... пойдет путаница, в которую — долго ли до греха? — и тебя втащут... Так лучше, смекаешь, разом кончить это дело... тем, что во всю дорогу знала ты одного хохла... теперь разумеешь...

— И что за Горденко такой, и не ведаю...

— Те, те, те! эка разумница!

— А подруга малороссиянина?

— Об ней не хлопочи. Она, пристав и другие, кто дорогою только знавал проклятого хохла, что нагородил нам столько дела,— все под присягою сказали...

— И я тоже не прочь!

— Смотри!.. Знаешь, с кем будешь иметь дело!.. Живую зароем в землю...

— Тяните из меня по жилке клещами, если я проговорюсь. Что мне за неволя болтать на свою голову? Может, еще и пригодитесь на черный день.

— О, как же! как же! Экое сокровище!.. Ну, не останешься, милочка, без награды от *самого.*

И, подражая *самому*, Липман протянул в знак милости руку цыганке, улыбаясь огромными своими губами, так, что в аде сонм зрителей, конечно, рукоплескал этой художнической архидиавольской улыбке, если

только тамошние зрители могут любоваться игрою здешних собратов — актеров.

Этим кончился допрос. Мариула, вместо ожиданной напасти, понесла с собою лишний серебряный рублевик, да еще уверение в покровительстве первого человека в империи. Можно догадаться, как обрадовался Василий, увидав ее живою и веселою.

Глава III

ЛЕКАРКА

— Вася, друг мой! скорей обещанное, или я накину на себя петлю,— сказала цыганка. Сердце ее разрывалось от досады, что в ней опять нашли сходство с княжной Лелемикой.

Не отвечая ничего, только поглядывая частенько на свою кукону, как бы удостоверяясь, что она жива, свободна и с ним, цыган повел ее в Рыбачью слободу. Разумеется, они при этом случае избегали *большой прешпективы* и площади Гостиного двора, где все пришло в прежнее суетливое состояние и где толковали во всех углах только о том, как Язык оговорил цыганку, которая будто была женою разбойничьего атамана и погубила несколько душ. Пустите какой хотите глупый слух в толпу — глупая толпа, не рассуждая, всему верит и все повторяет.

Пришли в Рыбачью слободу. На конце улицы постучался Василий в избушку, закуренную дымом до того, что она казалась построенною из угля. Она земно била челом к стороне улицы; соломенная прическа ее, густо напудренная снегом, была растрепана непогодами. Вокруг — ни двора ни кола.

Из окна кто-то вынул внутрь рамочку, затянутую пузырем; пахнул пар, и вслед за ним из отверстия оконного высунулось обвитое этим паром, как облачком, желтовосковое, в густых сборах, лицо старушки. Она закашлялась, и тогда, казалось, вылетали изо рта ее вспышки дыма. Ласковым голосом спросила она, что нужно цыганам.

— Нам до тебя приспело, родная,— сказал Василий,— впусти, не скаешься.

— Хоть и не вовремя пожаловали, добрые люди,—

отвечала старуха,— не на улице же в мороз стоять вам: войдите с богом.

По обледенелой лесенке, также черно и уклончиво стоящей, как и все здание, взошли наши странники на площадку ее. Тут Василий дернул щеколду у огромной двери, и она, отворившись, увлекла бы его, конечно, за собой, если бы он не перевесил ее своей тяжестью. Цыганы очутились в маленьких сенях, отделявших жилье от чулана, служившего, вероятно, аптекою, потому что из него несло благовонием майских трав. Сделав спрос у щеколды другой двери, вступили они в избу, хорошо *окутанную* и освещенную. Тепло, свет так и обдали наших путников, запушенных морозом. У *искоска,* убранного иссохшими цветами и вербою, прилеплены были три горящие восковые свечки и ярко озаряли икону с посеребренным венчиком, увешанным разноцветными лентами, кольцами и крестиками, усердными приношениями болящих. На ней время и копоть дыма изгладили и потемнили изображение матери божией; но вера живописала чудными красками целый мир благодати. Головой к иконе, на залавке лежала крестьянская девушка, бледная, страждущая. Глаза ее издавали фосфорический блеск, грудь тяжело ходила; волосы, заплетенные в косу, падали на пол; руки и ноги были связаны веревками. Возле нее школьник, исполинского роста, бормотал гнусавым голосом какое-то заклинание бесов. Старушка в синем сарафане, приземистая, горбатенькая, но такая опрятная, чистенькая, как ошелущенный орех, читая шепотом молитву, дала знак рукою гостям, чтобы они сели на залавок. Девушка лет четырнадцати, свежая, румяная, будто умылась только снегом, стояла у шестка и сыпала на черепок какой-то смолы, от которой по избе неслись струи благоуханного дыма. Когда ж школьник произнес громовым, протяжным голосом: «Изыде...» — больная застонала, заскрежетала зубами и страшно закликала на разные голоса. То слышался в ней лай собаки, то скрип телеги, то хрюканье свиньи. По временам изрыгала она богохульные слова. Ее начало ломать; глаза ее хотели выпрыгнуть изо лба. Веревки на ней лопнули; она сгибалась в кольцо, волною, билась как рыба об лед, цеплялась ногами за стену... казалось, всякая часть тела ее имела притягательную силу... Живот ее вздуло горой... гора эта упала, грудь расширилась необыкновенно, шея напружилась так, что жилы казались верев-

ками. Школьник и цыган схватили ее за руки и за ноги, но сила их обоих была ребячья в сравнении с женскою — их отшатнуло. Коса больной, ударив по щеке школьника, провела по нем красный рубец. Ужас окаменил Мариулу; волосы встали на ней дыбом. Одна лекарка спокойно молилась. Вскоре кликуша начала утихать; изо рта у ней забила пена, и вслед за тем повалил легкий пар. Когда ж он исчез, старушка подошла к больной, благоговейно перекрестилась, перекрестила ее, сотворила над нею молитву, стала шептать непонятные слова, поводить рукою по телу и очам страдалицы... долго, долго, тихо, таинственно, усыпительно поводила... Глаза лекарки заблистали; на желтоватых щеках выступили по бледно-розовому пятну... Больная пришла в спокойное состояние, взглянула светлыми благодарными глазами на старушку, на образ, пылающий от свечей, вздохнула, перекрестилась, смежила ресницы и заснула с улыбкою на устах. Лицо ее покрыли белым платком. У ног присела девочка, держа их в руках своих. Утомленная старушка сделала несколько шагов до залавка, прилегла на нее и сама в один миг заснула крепким сном. Школьник, потушив свечки, дал знак цыганам рукою, чтобы они не шумели, и уплелся потихоньку из избы. В ней сделалось тихо, так тихо, как будто гений сна накрыл ее крылом своим. Теплота оранжерейная испаряла негу; дыхание сонных настроивало понемногу к дремоте. Не в силах одолеть ее, Мариула и товарищ ее прилегли на залавки — и в несколько мгновений все в этой избушке спало глубоким сном под каким-то волшебным наитием.

Когда они проснулись, был уже вечер. На столе, покрытом скатертью с красною оторочкой, горела сальная свеча. Девочка, проворная, как белка, ставила на него огромные ломти черного хлеба и огромную деревянную солоницу с узорочною резьбой. Хозяйки не видать было. Котенок играл бумажкой, которую на нитке спускала с полатей трехлетняя девочка. Из-под белых волос ее, расправленных гребешком, словно волны молодого барашка, и свесившихся вместе с головой, можно было только видеть два голубые плутоватые глазка.

Пришла и хозяйка.

— Не погневись, родимая,— сказал ей Василий, кланяясь в пояс вместе с своей подругой,— мы уж у тебя и соснуть успели. А все твое тепло, так и парит с морозу...

— Пар костей не ломит, батюшка. А про божий рай и поминать не к слову грех: тепло земное не для душки,— отвечала проворно старушка, засыпая словами,— Видно, поустали путем-дорогой; и то молвить, снег как месиво, так и путает ножонки. Теперь скажите-ка мне, отколь бог вас несет и за каким дельцем.

— Ты, кажись, Аграфена Парамоновна, не признала меня?

— Не взыщи, родной, не признаю,— сказала старушка, вглядываясь потухшими глазами в цыгана.

— Правда, много воды утекло с того времени, как мы с тобою виделись, а еще более, как с тобой свели знакомство. Я из молодого, бравого парня стал брюхан, старичишка, а ты из красивой девки — горбатенькая старушка. Красоту твою рукой сняло, а мою жиром занесло.

Цыган вынул роговой гребень и причесал себе черные с проседью волосы на голове, остриженной в кружок, и подставил умильно пред глаза старушки лицо свое, густо опушенное бородою.

— Батюшка, как бы вспомнить! (Другая, на месте нашей лекарки, сказала бы, может быть: помоги господи! но она призывала имя господне только в важных случаях.)

— А помнишь, как ты шла от немца-лекаря, к которому посылал тебя отец, и тебя в поле обидеть хотели два солдата... а я проводил честно до дому, лишь поцеловал тебя, мою разлапушку, в щечку, словно в аленький цветок.

Лицо старушки зарделось слегка и вместе заблистало радостью.

— Васенька, родной, василечек ты мой, это ты? — воскликнула она и положила дружески иссохшую руку на плечо жирного цыгана.— Как мне забыть тебя!.. То ли ты для меня сделал? вынес моего сожителя, хворого, безногого, из полымя, как случился у нас пожар...

— Да украл у вас же лошадь.

— Эх, эх! ты все такой же балагур, как бывало,— сказала, развеселясь, лекарка.— Много лет мы с тобой хлеб-соль водили. Кто ж эта молодица?

— Моя кукона, по-русски — госпожа моя.

— Так ты пошел в кабалу?

— То есть в неволю?.. Нет, Парамоновна; разве ты меня не знаешь... Кто велел бы мне оставить службу у доброго царя, кабы не сидел у меня царь в голове —

проклятая цыганская волюшка. Мариула, вот видишь, сделала мне добро, ни мало ни много — от плахи избавила; и по этому-то хоботу я ей служу, называю ее своею госпожой, а она меня своим братом, сватом и всякою околесицей. К тому ж она цыганка, наша сестра! Назови ж она меня не в шутку своим слугою, так я... ей кланяюсь, даром что люблю ее пуще сестры родной. Эй! Мариула, поцелуй же старую мою знакомку.

И госпожа исполнила с удовольствием приказ своего товарища и слуги.

— Как же тебя в Питер принесло? Уж не на бесовское ли игрище, что твоя товарка так нарядна! Мы уж со внучками досыта налюбовались звездочками на ее одежде, точно с господнего неба сняла.

— Мариуле нужно было в Питер; мне везде хорошо, где со мною воля и насущный хлеб — бояться нечего за старые грехи мои: ты меня не признала, так никто не признает,— на игрище мы попали, потому что нас за это холят, да одевают, да кормят хорошо, а к тебе пришли за снадобьицем; вот и вся недолга.

— Чем богаты, тем и рады старому другу.

— Помнишь ли, приходила раз к отцу твоему бабеночка, сухотная, чахотная, что ли, все покрехтывала да покашливала, словно у ней в горле что стояло? Вот дал он ей снадобья какого-то жгучего, да и велел ей пить по капельке в воде на зарях. Смотри, говорил он ей, пузырька не разбей,— а то наделаешь таких проказ, что свету божьего невзвидишь.

— А она, глупенькая, тут же выронила бумажку, которою заткнут был пузырек, и обожгла себе руку так, что и умерла с красными пятнами, словно давленой клюквой кто ее обрызгал.

— Э, ге! видно, с этою шуткою шутить не надо,— сказал значительно цыган, посмотрев на свою подругу, у которой в это время сердце стучало, как молот, а глаза умоляли Василия дополнить начатое.— Однако,— продолжал он,— мы не так глупы, как эта бабенка... побережемся...

— Для кого ж вам это снадобьице? Ты, кажись, не сухотен (старушка плюнула и перекрестилась); твоя названая госпожа хоть и грустна, а, бог с ней, здоровехонька.

— Вот видишь, родная,— подхватила Мариула,— одна богатая барыня в Питере просила меня лекарства от сухотки и обещала меня озолотить, коли ей помощь

сделаю. Васе я это рассказала; он вспомнил, что родитель твой поднял кого-то на ноги точь-в-точь от такой хворости, и привел меня сюда. Помоги, Парамоновна; барыши все пополам.

— Изволь, изволь, есть у меня, что вам потребно; только о барышах ни словечка; мы люди свои, а я еще в долгу у твоего и моего Васеньки.

Тут лекарка подошла к коробу, подозвала старшую девочку, называя ее своею внучкой, велела ей осторожно вынуть пузырек, замеченный соломинкой в бумажной пробке; потом отдала его Мариуле с крепким наказом давать больной лекарства по одной капле, и то в воде.

— А передать,— продолжала она,— недолго принять на душу грех смертный: и ты и я пропадем навеки. Теперь поставь снадобье на полку, а завтра возьмешь его с бережью, помолясь богу. Чай, вы у меня отведаете хлеба-соли да переночуете? Мороз так и воротит лицо — долго ли до греха? попадешь и под снежную пелену.

Мариула и Василий благодарили и согласились переночевать. Первая с трепетом сердечным поставила пузырек, куда ей указали.

Сели за скромную сельскую трапезу. Меньшая девочка, босая, слезла с полатей и заняла возле своей бабушки почетное место, выглядывая исподлобья плутоватыми глазками на гостей. Старшая внучка прислуживала за столом. После ужина занялись беседою, как водится, о тягостях настоящего времени и о блаженстве прошедшего. Этот предмет разговора — общее место у необразованного класса народа во все веки; тогда оно было горькою истиной. Жаловались на временщика, на нужды народные и жалели о государыне, которой некому было молвить правду за ее деток; скорбели также, что в нескольких деревнях, по соседству с Рыбачьей слободой, ходила какая-то немочь и валила малого и большого, но что, благодаря бога, она миновала до сих пор слободу. Рассказывали также об игрище, которое готовили в Питере, о диковинных людях, похожих на зверей, привезенных туда, о слонах, верблюдах, ослах и прочих разнородных животных, на которых будут возиться эти люди по городу, и даже о ледяном доме, о котором молва успела уже прокрасться в одни сутки из дворца в хижины. Так-то царь думает, а народ ведает. Между тем беседу прерывали несколько раз бо-

лящие. Одна просила полечить ее от зубов, другая — от жабы. И ту и другую маленькая добренькая старушка лечила молитвами, приговорами и осязанием, которое ныне назвали бы магнетизмом. К этим способам прибавляла она для одной деревянный гвоздик, для другой воду с солью. Визиты доставили медику в сарафане десяток яиц и крынку молока. Несмотря на скудость дара, услужливая лекарка, делавшая все во имя бога, довольна была наградой более, нежели иной врач, получавший за консультацию золотую табакерку. От горбатенькой старушки так и сияло святынею добра.

Молодую пациентку ее пришли звать на посиделки в соседнюю избу. Когда она ушла, цыган и цыганка просили лекарку рассказать, отчего приключилась с несчастною девушкою такая немощь. Старушка охотно согласилась исполнить их желания.

Глава IV

РАССКАЗ СТАРУШКИ

Слово не мимо идет.

Русская пословица

— Сотворим-ка знамение крестное; всякое дело со крестом вернее,— сказала старушка и, когда исполнила свой завет, а за ней последовали ее слушатель и слушательница, приступила к делу.

— Этому было, ни мало ни много, тому назад десятка полтора лет, о святки, в часы ночные, как бы не обмолвиться, разве за часок до первых петухов. Православные в слободе улеглись все спать. Лишь в нашей избе горела лучина; мы с дочкою, покойницей, пощипывали и чесали лен да поджидали сожителя ее из Питера. Разгуляйся вдруг погода такая, что носа нельзя высунуть на двор; метель сердито скребла окошко, ветер укал, будто просился к нам, инда жутко становилось. Вперемежку, только что он, поугомонившись, отдохнул крохотку, слышим: возле самого угла избы бранятся, да как? — прости господи! — словно в кабаке. Плюнула я на этот грех — до молитвы ли? отворила окошко, высунула голову и вижу: батюшки, светы мои! метель сеет часто, часто, что твои нитки на моталке у проворной мотальщицы, вихорь крутит винтом снег

вдоль загороды, воротишки в село занесены, и мужик возится в сугробе с клячонкой — у сердечной только что рыло да спина чернеются. Мужичку бы Христом да богом покликать кого на помощь, а он, остервенившись, такую несет клятву на погоду, на слобожан, что не прочистили, вишь, про него сугробов, на себя, на жену, на свое детище.

— Да неужели есть такие родители? — сказала цыганка с ужасом,— кровь свою проклинать!..

— Мало каких людей на свете нет! Не мешай же мне спросами, сизая голубка, а то, на старости лет, мудрено ли сбиться? Вот, слышу, голос-то знакомый, мужичка из соседней деревушки. «Ахти, Сидор! — молвила я ему,— в такую ли пору браниться? Перекрестись-ка лучше да призови господа на помощь, а мы с дочкою придем к тебе да разгребем сугробец».— «Помоги, матушка, сударушка, разлапушка, и такая и сякая! — вопил мужик...— хозяйка родила дочку, сама хворая, того и гляди протянется; взмолилась, поезжай-де к батьке, в Рыбачью, да привези ей и детищу молитву. Провал их возьми, когда вздумала родить!..» — «Экой грех, экой грех! слово не мимо идет! — молвили мы промеж себя с дочкой,— видно, хмельной! погубит он свою и их душу». Ведомо нам было, рыльце-то он свое окунал частенько в зелено вино. Как придет дурь в голову, решетом деньги мерит, проспится, не на что решета купить, бьет хозяйку не на живот, а на смерть: давай денег в кабак, а нет, так холсты неси в заклад. Житье бедной было такое, хоть живой в землю лечь. Взяли мы с дочкой по лопате и ну разметывать сугроб. Работа далась легкая и скорая — снег был рыхлой, а мужичку покажись она тяжелою — мудреного нет, оттого, что лошаденка его завязла ногою в завор. Умен был, хотел, чтобы клячонка сломала грудью жерди. Спасибов наклал он нам с короб и помчал по селу.

Сказывала я вам до сих пор, други мои, что своими оченьками видела; теперь стану рассказывать слышанное. Вот подъехал Сидорка к поповскому дому. На стук его вышел священник и, выведав, за каким дельцем тот приехал, впустил его к себе. Спросил у мужичка шапку, прочел в ней молитву новорожденному младенцу и родильнице и, перекрестя, надел на голову мужика со строгим наказом, крепко-де бы держал ее на голове, а приедучи домой, вытряс бы из нее молитву на тех рабов божиих, на чье имя взята она. Денег у Сидорки за

душой и полушки не было, а полез будто за кисой. «Ахти, батька! — молвил он, будто в испуге,— вез тебе два алтына, да, знать, дорогой обронил».— «Бог простит! — сказал отец духовный,— когда-нибудь сочтемся».

Мы только что прилегли: слышим, катит наш Сидорка мимо избы, словно буря, затянув песню с разными прибаутками.

Деревушка его от нашей слободы рукой подать, много-много с полверсты. Отъехал он вряд ли за околицу, чует, на голове шапка свинец свинцом, так и давит голову: то поправит ее слегка, то крошечку приподымет. Он погонять лошадь, а шапка режет ему лоб, словно железный обруч. Вдруг, отколе ни возьмись, навстречу ему сани, вороной жеребец в запряжке, хрипит и мечется клячонку изгрызть. Сидит в санях мужичище рыжий, шапка саженная с двумя заломами, борода по колена огневая, так и чешет ее по сторонам ветер, как охапку льну. Видно, грех на грех наехал. «Свороти!» — грозно гаркнул он. Сидорке стоило бы смирнехонько, с молитвою, отвесть свою лошадку в сторону; где ему, озорнику? кричит: «Я сам-ста не хуже тебя! Хаворит Меншиков, что ли, едет?.. Эка фря! Своротишь сам!..» Да к этому ругнул проезжего недобрыми словами. Не стерпел этих позорных слов рыжий мужик, скок с саней, клячонку за уздцы, втоптал ее по уши в снег, Сидорку по рылу, инда у этого искры из глаз посыпались, а по шапке его не тронул. Осерчал наш Сидорка, хвать сам врага кулаком — мимо, еще — опять мимо; а недобрый проезжий, с нами сила крестная! в сани и погнал шажком на вороном жеребце. Мужичишка наш и пуще прежнего разгорелся; схватился за шапку с молитвой и швырком ее в нечистого — глядь, будто огонек взвился к небу, а врага и след простыл; только поднялся по полю такой бесовский хохот, что твои лягушки в болоте! Делать было Сидорке нечего; отыскал насилу шапку свою, вытащил клячонку из снегу — с бедной пар так и валил — и поехал домой с недобрыми мыслями: затаю, дескать, хозяйке, что молитву потерял. Шасть к себе на двор, вошел в избу; только что хотел крестное знамение сотворить, да не смог: из-за печки сверкнул кто-то очами и подразнил языком, пусто бы ему было! В избе вой и плач, хоть вон беги. «Поспешай, батюшка,— молвили ему соседки,— хозяюшка твоя на отходе». Снял тут Сидорка шапку и, словно добрый человек,

потряс ее над умирающей — слышит, за печкой кто-то захохотал, родильницу перевернуло к стене; взвизгнула бедная, замахала рукой и испустила душеньку. Он к младенцу с тем же благословением: у девчонки косило рот и живот дуло, пока отец держал над ней шапку.

«Будь проклята ты!» — вскричал он так, что на всех ужас навело, и посыпались соседки вон из избы. Шлепнул он с сердцов шапку на пол и пошел на полати спать; только худо ему спалось. Видит он — с нами крестная сила! — и рассказывать, так мороз подирает,— бес с рожками нянчит младенца, а мертвая в саване сидит и плачет и упрашивает его отдать ребенка... С тех пор уж Сидорке все грезился нечистый. Спит ли? душат его саженной шапкой с двумя заломами. Пьет ли зелено вино? голосят ему в ухо: «Пропил ты и так молитву!» Осушил ли стклянку? на дне дразнят его языком; какая-то рыжая борода по губам вытирает, и кто-то шепчет ему: «Молитвой закуси!» Обезумел Сидорка: то бранится сам с собой, то упрашивает невидимо кого; в ину пору отмахивается попусту, в другую пору белугой вопит: «Батюшки! режут! душат!» С тем и пошел ровнехонько через год в могилу; лишь перед смертным часом покаялся отцу духовному, что пьяный бросил шапку с молитвой, которую он дал ему.

— А девочка? — спросила цыганка с ужасом.

— Девочка что-то больно кричала, как стали ее крестить, но потом росла себе пригожая и смышленая, только смаленька все задумывалась да образов боялась и ладану не любила. А как вошла в пору да в разум, порассказал ей неведомо кто, как отец потерял молитву ее. С того дня ей попритчилось, и стала она кликать на разные голоса. Вот ее-то, бедную, видели вы. Кажись, теперь нечистому недолго в ней сидеть. Помощь божья велика нам, грешным. А вы помните, други мои, слово дурное и хорошее не мимо идет.

Чем начала старушка рассказ, тем и кончила, то есть крестом. Долго еще после того мерещился в глазах слушателей пьяный, безумный Сидорка, и нечистый с рыжею бородою на вороном жеребце, и как нянчил-то он младенца в полночь, и как упрашивала мать отдать его. Пуще всех задумывалась Мариула и собиралась узнать, носит ли дитя ее на груди крест, благословение отцовское.

Глава V

РУСАЛКИ

> Дитя ее для нее не целое ли человечество?
>
> *Бальзак*

К ночи все прилегло в избе, но заснули крепко только бабушка да маленькая внучка, обе равно спокойные духом, обе с детскою непорочностью, готовые перелететь от земли в лоно бога. Мариула не могла сомкнуть глаз; в голове ее гнездились замыслы. Старшая внука, повозившись немного на полатях, слезла с них осторожно, надела белый *сушун* и тихо, как тень, прокралась из избы. Цыгана подмывали тоже думы. Он видел, как пригожая девушка выплелась из общей их спальни. Любопытство сильно толкнуло его под бок, и Василий, почти вслед за ней, пробрался в сени и на крыльцо — надворное, хотел я сказать, забыв, что хижина стояла без двора и загороды, одна-одинехонька, как бобыль без роду и племени.

Ночь была светлая, по-вчерашнему. Серебряный месяц, казалось, весь растопился и разлился по белой скатерти равнины; далеко, очень далеко означался на ней малейший куст, который при каждом дуновении ветерка принимал вид движущегося человека или зверя. Деревни с своими снежными кровлями казались рядами огромных белых шатров. Где-где подслеповато мигал в них огонек, утешая издали робкого путника. В одном Петербурге чаще проблескивали огни, будто плошки сквозь декорации, оставшиеся после великолепного освещения. Цыган сделал скачок глазами вдоль улицы, чтобы посмотреть, куда пойдет бабушкина внука; но след ее уже простыл. Прислушиваясь, он потонул было в глубокой холодной тишине; вдруг обдали его, точно кипятком, мурлыканье и возня кошек над его головой.

— Чтоб вам подохнуть! — вскричал цыган, плюнув с досады,— напугали меня пуще Языка.

Не успел он еще успокоиться, как слуху его сказался далекий шум шагов. Прислушивается — это не походка одинокого путника. Скрип, скрип, скоро, скоро и много, очень много — должна быть целая толпа. А никого нигде не видно!.. Вот тянется гул из Петербурга: часы бьют полночь. Что-то, кроме мороза, по-

драло по сердцу Василия. Хотя и не твердый христианин, однако ж сотворил он крестное знамение; собравшись с духом, сошел с лестницы и — за угол избы. Первый предмет, бросившийся ему в глаза,— смоляная бочка, ярко пылавшая в поле. Еще несколько шагов вперед, и видит: вдали, за овинами, убегают русалки, с распущенными волосами, в одежде по моде русалок, какую они в подводном царстве употребляют. В один миг они и скрылись. Не обманули ли его глаза?.. Снег шуршит еще под их ногами. Что ж тут? Уши обманывают?.. Это недобрым отзывается. Вот какие чудеса творятся в Рыбачьей слободе! Ге, ге, ге! Недаром говорят, рыбаки водят дружбу с русалками! Видно, нынче шабаш их? Окаянные и смоляную бочку зажгли для праздника, все так же, по-нашему, по-человечьи!

В таком страшном раздумье, потирая себе частенько глаза и вертя пальцем в ухе, Василий возвратился на площадку лестницы; но лишь только стал на нее — слышит опять беглый скрип, все ближе и ближе, яснее и громче. За несколько минут он видел русалок взад; теперь они бегут, обратясь к нему лицом. Месяц обрисовывает их приятные и неприятные формы, разрумяненные морозом. Ведьмы водяные обошли слободу кругом. Василий присел на корточки и сотворил молитву, снизанную наскоро из нескольких молитв, худо выученных. Девки чем ближе к нему, тем более уходит дух его в пятки. Хоть бы дать стречка в избу, если б не боялся привстать и показаться. Чего доброго? защекочут. Толпа ж большая! Однако же мороз не шутит и с ними, гонит их порядком, едва не вскачь. Вот поравнялись с избушкой, в двух шагах от нее... Дух занялся у цыгана... Впереди идут рядом две толстые-претолстые, будто беременные — должны быть матки! За ними всё молодые, и между ними, ахти! нельзя ошибиться — бабушкина пригожая внука. В русалки завербовалась! каково?.. а дома, словно святая, воды не замутит, да и крест кладет не хуже раскольника. Матки несут что-то в руках: у одной черный петух, у другой черный кот или кошка. Слышно клохтанье и мяуканье; только не разберешь, кот ли клохчет и петух мяучит, или наоборот. За ними одна молоденькая русалка — и провал ее возьми! такая пригоженькая, что на старости поцеловал бы ее — несет огромный клубок, который, словно живой, вертится в ее руках. Потом бежит соха, запряженная несколькими дюжими девками, и сильно вспахивает снег.

Чем ватага далее, тем более храбрится цыган. Он слезает опять с лестницы, становится за углом избы и видит: остановилась нечисть у смоляной бочки. Русалки связали два противные конца какой-то нитки вместе, зарыли тут бедного петуха и кота, обежали несколько раз горящую бочку с какими-то бесовскими приговорками, зашли за нее в одежде русалок, а вышли из нее в одежде слободских девушек и женщин, закидали огонь снегом и бросились все врассыпную по слободе. Внука лекарки прямо к себе на лестницу и в избу. Шасть за нею и Василий. Вот он ее поставит пред бабушкой и образом в допрос!..

Между тем в избе было не без дела. Мариула, как мы сказали, не могла сомкнуть глаз. Голова ее пылала одною мыслью, что она погубит дочь сходством: как нарочно та в нее вылита. Другим матерям это сходство служило бы утешением, для нее же оно — мука. Судьба зовет ее во дворец; Волынской назначил ей быть там на днях... А удовольствие смотреть на Мариорицу, говорить с ней?.. Можно ли отказаться? Но там увидят цыганку вельможи, статься может, государыня, увидят рядом с княжной Лелемикой, и довольно одного намека, одного подозрения, чтобы уронить Мариорицу в общем мнении — милую ее Мариорицу, которую она любит более своей жизни, более своей души. Мысль эта душит ее и на будущее время нигде не даст ей покоя! Надо избавиться от этой муки.

Пузырек с ядовитым веществом на полке. (Мариула хорошо заметила, где он стоит.) Старушка сказала, что если жидкость попадет на тело, то выйдут на нем красные пятна, которые одна смерть может согнать. Чего ж, ближе к делу?.. Василий вышел, а то бы он помешал, может статься!.. Цыганка не рассуждает о последствиях, о собственной гибели: одна мысль, как пожар, обхватила ее. Раздумывай, береги себя другая, а не она!..

Дрожа, как преступница, и между тем вся пылая, Мариула встает с залавка... осматривается, прислушивается... все спит. Слава богу, что все спит!.. Два-три шага, легкие, как шаги духа,— и она у полки... Рука ее блуждает... наконец, схватывает пузырек... бумажная пробочка вон, и... боже? что с нею?.. глаз ее поврежден... кипящий свинец режет щеку... бьется мозг в голове, будто череп сверлят... пред остальным глазом прыгают солнцы... в груди тысячи ножей... И только один стон, один скрежет зубов в дань всем этим мукам; и по-

среди этих мук слабая, далекая мысль о Мариорице! Эта мысль торжествует надо всем.

Что ей делать? Разбудить лекарку? Умереть на месте? Зачем нет с нею теперь Василия?.. «Господи, господи, помоги!» — может она только сказать и, шатаясь, идет искать своего товарища. Ей кажется с каждым шагом, что она наступает на ножи, на вилы. Дверь сама собой отворяется; кто-то дает ей место: это внука лекарки, идущая с ночной прогулки, из беседы русалок. Цепляясь за стены, Мариула выходит на площадку лестницы, и Василий ее окликает.

Мариула не в силах отвечать, только стонет; хватается за его рукав, крепко, судорожно сжимает его и, готовая упасть от нестерпимой боли, виснет на нем. При свете месяца цыган всматривается в лицо своей куконы и каменеет от ужаса. Он не сомневается более: несчастная мать изуродовала себя *крепкою водкой.*

— Мариула, Мариула! что ты сделала? — говорит Василий сквозь слезы, схватывает ее бережно в охапку и вносит в избу.

Он будит всех, он жалобно просит у всех помощи. Лекарка и старшая внука опрометью бросаются, одна с залавки, другая с полатей; спрашивают, где пожар; высекают огонь, бегают и толкают друг дружку; маленькая внука, испуганная тревогою, плачет. Суматоха, стоны, спросы, ответы; вся избушка вверх дном. Лекарка, узнав, наконец, отчего кутерьма, и взглянув на одноглазое, изрытое лицо Мариулы, теряет голову; не знает, за что приняться, говорит, делает невпопад, но, вспомнив бога и сотворив молитву, приходит в себя. Она употребляет все средства, какие только предлагают ей знания ее и усердие, и только к рассвету все опять затихает в избушке. Никогда еще, со времени ее существования, не тревожились так сильно ее обитатели.

Поутру стучались в хижину; несли, по ежедневному обычаю, приношения лекарке: кто вязанку дров, кто горшок с похлебкою только что из печи, кто пришел с вызовом истопить избу. Долго не было ответа. Наконец, вышла старшая внука и извинилась, что к бабушке нельзя: она-де ночью возилась с одною больной и только к утру прилегла отдохнуть. Приношения осторожно приняты, услуги отложили до полдня.

И в самом деле, только что к полдню проснулись в избушке. Сделали новые перевязки больной и между тем спросили, как ее угораздило, после строгого нака-

зу, испытать лютого зелья. Цыганка рассказала, что она впросонках слышала, как на полке возился котенок; она встала, хотела по нем ударить и зацепила рукавом за пузырек... остального будто за жестокою болью не помнила.

— Не кручинься, бабушка,— примолвила цыганка,— мои грехи, видно, меня и попутали; захотела вдруг разбогатеть!.. В городе же скажем, что обварилась кипятком, вытаскивая горшок из печи...

Сильно упрекала себя старушка, зачем дала цыганке такое опасное снадобье; но Мариула оправдывала ее так убедительно, так увертливо сваливала на себя беду, что Парамоновна успокоилась. Она бескорыстно желала сделать добро другим; не ее же вина, если ее не послушались. Что тяжелей всего было для нее — надо было прибегнуть ко лжи, которую она считала тяжким грехом. Разгласив же истину, можно было на старости лет познакомиться с тюрьмою или с чем-нибудь худшим.

Несколько дней пробыли цыганы у лекарки, и когда раны на лице больной стали совсем заживать, подали ей кусочек зеркальца, чтобы она посмотрелась в него. Половина лица ее от бровей до подбородка была изуродована красными пятнами и швами; она окривела, и в ней только по голосу признать можно было прежнюю Мариулу, которой любовались так много все, кто только видел ее. Она посмотрелась в кусочек зеркала, сделала невольно гримасу и — потом улыбнулась. В этой улыбке заключалось счастие ее милой Мариорицы.

Между тем во время курса лечения цыган, узнав, что его госпожа вне опасности и достигла, чего желала, начал шутить по-прежнему. Раз, когда вышла из избы старшая внука лекарки, он рассказал о шабаше русалок. Смеялась очень старушка рассказу, но разочаровала цыгана, объяснив, что не водяные ведьмы напугали его, а рыбацкие слобожанки.

— Вот видишь, родимый,— говорила она,— исстари ведут здесь этот обычай, коли заслышат по соседству повальные немочи. Девки запахивают нить кругом слободы; где сойдется эта нитка, там зарывают черного петуха и черную кошку живых. Впереди идут две беременные бабы, одна, дескать, тяжела мальчиком, а другая — девочкою. Немочь будто не смеет пройти через нить. А коли спросишь, для какой потребы петух, и кошка, и смоляная бочка, не могу тебе в ясность рас-

толковать. Старики ж наши про то знавали доточно; видно, умнее нас бывали [1].

Василий часто заставлял краснеть, как пунцовый мак, пригожую внучку лекарки, напоминая ей русалочную, светлую ночь.

Глава VI

С ПЕРЕДНЕГО И С ЗАДНЕГО КРЫЛЬЦА

Недруга догнать, над ним занять ветр способный
И победу одержать, вступя в бой удобный,
Труд немалый.

Кантемир

Всегда за ним выборна таскалася свита,
Что на день рано с утра крестова набита
Теми, которых теперь народ почитает
И от которых наш брат милость ожидает.
Сколько раз, не смея те приступать к нам сами,
Дворецкому кланялись с полными руками!
И когда батюшка к ним промолвит хоть слово,
Заторопев, онемев, слезы у иного
Текли из глаз с радости, иной не спокоен,
Всем наскучил, хвастая, что был он достоен
С временщиком говорить...

Он же

Просим из бедной хижины Рыбачьей слободы несколькими днями назад в палаты герцогские. Однако ж прежде позвольте оговорку. Вы знаете, что без нее не обходился ни один рассказчик, начиная от дедушки нашего Вальтера Скотта.

У кого, кроме крестьянина, нет переднего и заднего крыльца! Эти два входа и выхода всего живущего, следственно мыслящего и чувствующего, в ином доме могли бы доставить новому Фонвизину материала на целую остроумную книгу. Не думаю, чтобы лестницы, особенно задняя, где-нибудь представили столько занимательных сцен, как у нас на Руси. Но об этом когда-нибудь после. Ограничусь изображением того, что в данное нами время стеклось у герцога курляндского с обоих крылец.

---

[1] Поверье, описанное в этой главе, существует еще и поныне в некоторых великороссийских губерниях. *(Примеч. автора.)*

С пробуждением дня жизнь зашевелилась в палатах его; но только какая жизнь? караульная, украдчивая, боязненная. Сначала лениво ползла она с истопниками, конюхами и полотерами по задним дворам, по коридорам и передним; но лишь раздалось слово: «Проснулся!» — все в доме вытянулось в струну; шаги, движения, слова, взоры, дыхание выровнялись и пошли в меру; бесчисленные проводники от великого двигателя — *Бирон* — навели в несколько минут весь Петербург на этот лад. Казалось, душе скомандовал кто-то: «Слушай!» — и душа каждого стала во фрунт, чтобы выкидывать свои однообразные темпы.

Огромные переходы вели к дому; в них и на лестнице расставлены были по местам, в виду один от другого, часовые из гвардии герцогской. Каждый из них, облитый с головы до ног золотом, казался горящим пуком, все они — золотою цепью, к которой, увы! за порогом невидимо примыкала железная, опутавшая всю Россию. Огромную переднюю затемняли, как туча саранчи, павшая на маленькое пространство, множество скороходов, гайдуков, турок, гусар, егерей, курьеров и прочей барской челяди, богато одетой; между привычным нахальством ее затерты были ординарцы от полков гвардии. Смотря на косые взгляды слуг и грубые ответы их, смотря, как они зевали и ломались на залавке при входе не слишком значительного человека, вы сейчас отгадали бы, что господин — временщик.

В приемной зале, подле двери самой передней, сидел уж Кульковский. Он пришел в последний раз отдежурить на своем стуле и насладиться на нем закатом своей службы *при* первом человеке в империи с тем, чтобы он напутствовал его покровительским взглядом на новое служение. Заметно, что он несколько смутен, и как быть ему веселым, беззаботным по-прежнему? он прощается с приемной комнатой герцога, как своею родиной. Здесь, у золотого карниза, где изображен сатир, выкидывающий козьими ногами затейливый скачок, улыбнулись ему тогда-то; тут, у мраморного стола, положили на плечо могущую и многомилостивую руку, которую он тогда ж поцеловал; далее светлейший, ущипнув его в пухлую, румяную щеку, подвел к огромному зеркалу, только что привезенному из Венеции, чтобы он полюбовался на свою рожу и лысую голову, к которой сзади приклеены были ослиные уши. А стул, драгоценное седалище проходящего величия его? О! его

понесет он в сердце своем сквозь все бури и превратности мира. В последний раз принес он горяченькие новости искателям фортуны, именно, что любимая кобыла герцога ожеребилась; потом — надо же поставить себя рядом с чем-нибудь герцогским,— что у него готов уже пажеский кафтан, который изволил пожаловать ему его светлость, и, наконец, что Эйхлер сделан кабинет-секретарем, о чем еще никто не ведал, кроме его, Кульковского, и самого герцога. Улыбка и пожатие руки знатных, просивших его не забыть их при дворе, пожатие мимоходом руки герцогского камердинера, все это, увы! в последний раз осветило поприще его минувшей службы. Что ожидает его вперед? Роль шута! Это бы хорошо: он будет первый шут в империи по знатности рода. Но опасны плутоватые пажи; облепят его насмешками, как мякушками, не дадут ему и отсидеться на стуле! Новости не через него будут идти. Так-то изменчива фортуна!

Понемногу входили в приемную залу должностные лица — со вздернутым носом, плюющие на небо за порогом Биронова жилища, а здесь сплюснутые, как пузырь без воздуха, сутуловатые, с поникшим, робким взором выжидающие рока из двери во внутренние покои. Слов между приходящими не слышно; заметно только шелест губ, движения рук, улыбка, сверенные по масштабу самого униженного страха. Все, однако ж, люди с весом! Они мерят бархат и парчу плечами и локтями; когда они стали в ранжир вдоль стены и окон, больно глазам смотреть на них, так блестят золото и яркость цветов на их одеждах. Не видно ни бедной вдовы с просьбою о пенсии по смерти мужа или о принятии сироты в учебное заведение, ни старика крестьянина с жалобою, что все молодое семейство распродано поодиночке или отдано в рекруты в зачет будущих наборов [1]; не видно ни торговца с предложениями новых промышленных видов, ни художника, вытребованного нежданно-негаданно к получению награды за великий труд, который он творил для потомства, а продавал, наконец, за кусок хлеба. Ни одного просителя между приходящими — всё искатели. Золотое время! Ждут они час, два и более.

---

[1] Не анахронизм ли эта отдача в рекруты? *(Примеч. автора.)*

Довольно холодно, если не жутко, как вы видите, на передней половине. Что-то деется на задней?

Бросив мельком взгляд в уборную герцогини, куда и откуда суетливо и увертливо шныряют факторы[1] разного рода, народа и звания, ювелиры, купцы, портнихи, секретари-слуги и служанки-секретари, войдем в берлогу самого медведя, именно в кабинет герцога.

Герцог любил великолепие. Можно вообразить, как он облепил его затеями комнату, откуда дождил Россию жгучими лучами своего властолюбия. Покрытый батистовым пудрамантом и нежа одну стройную ногу, обутую в шелковый чулок и в туфле, на пышном бархате скамейки, а другую спустив на персидский ковер, сидел он в креслах с золотою герцогскою короною на спинке; осторожно, прямо взглядывался он по временам в зеркало, в котором видел всего себя. Туалетом своим он занимался до кокетства, подобно искуснейшему каллиграфу, желающему пленить знатока малейшею живописною черточкой в своем письме. Несмотря, что голове его доставалось от парикмахера, убиравшего его, он был терпелив, как бумажный болван, на котором обделывают прически. Только один волосоубиратель его мог обходиться с ним так деспотически, не страшась мщения. За парикмахером пришел камердинер и одел его с ног до головы. Кто увидел бы его, когда он, по окончании туалета, с торжествующей улыбкой любовался своей фигурой, мог подумать, что главная цель его жизни была пленять наружностью. Но лишь только камердинер вон из кабинета — на место его зверообразный Гроснот с пакетами. Распечатан один, другой — и щеголь, привлекательный мужчина, исчез. По тигру повели рукой против шерсти. Глаза его налились желчью, лицо искосилось; он кусал себе губы, кусал ногти — временщик воспрянул.

— Дурак!.. мешается не в свое дело...— сказал он вполголоса, рванув и разорвав алансовые манжеты на рукаве, которых клочки испестрили персидский ковер.

Благозвучный эпитет, вырвавшийся у него, принадлежал его брату Густаву за то, что принимал глупое участие в маскерадном наезде против Волынского. Письмо об этой экспедиции лежало перед ним искомканное. Герцог был взбешен, а когда он находился в этом состоянии, ему нужна была жертва. Алансовые манже-

---

[1] Посредники *(лат.)*.

ты пострадали, но кружева — вещество, а не существо, которое могло бы чувствовать свои страдания. Гроснот стоял пред ним; он бросился на Гроснота.

— И ты,— вскричал он, запинаясь от злобы,— ду... ррак, скотина!

Адъютант, одушевленный чугун, привыкший к таким взрывам, молчал. Ни одной тени страха или оскорбленного самолюбия на лице.

— Вы преступники, сударь, и я с вами говорю, как с преступником! — вскричал грозно Бирон.

Адъютант хранил молчание. Повелитель его все более и более утихал.

— Прикажи ослу караулить огород, он все гряды перетопчет... Давай этим господам поручения!.. Ни догадки, ни сноровки! Ломят наповал, напрямик!.. Вчера велено тебе было пытать малороссиянина, а ты?..

— Заморозил его нечаянно одним лишним ушатом,— отвечал хладнокровно Гроснот,— одним бездельником на свете меньше!

— Знаю, что он был злодей, собака; но все-таки следовало позаконнее... по крайней мере не у меня на дворе... Да, да, где вздумали допытывать?.. Там, куда могла приехать моя всемилостивейшая государыня, которая все примечает, все видит... как это и случилось.

— Некогда было откладывать, ваша светлость; Липман приказал мне кончить скорей...

— Мне черт вас побери с Липманом! С ним и разделывайтесь, когда дело дойдет до ответа. Я ничего не знаю, не хочу ничего знать. У меня чтоб мертвый был жив! Слышишь?..

— Слышу, ваша светлость!

— И если малороссиянина потребуют налицо к Волынскому, чтоб он был налицо, хоть обернись сам в него!.. Слышишь? а не то комендантом в рудокопную фортецию!

— Вина наша с господином обер-гофкомиссаром, на нас и падет ответ. Но обстоятельства уж ее исправили.

— Позвольте узнать чем и как?

— Могу только доложить, что от Горденки ни волкам, ни могильщикам поживиться будет нечем и что малороссиянин, наряженный к празднику и смененный самозванцем, здесь налицо. Но как это сделалось — объяснит вашей светлости сам господин Липман. Я только знаю, что мне велено знать.

— Хорошо, что так,— сказал герцог, утихая,— я тебя люблю, к тебе привык; ты мне предан и исполнителен... и потому желал бы от души, чтобы ты выпутался здоров и цел из этой негодной истории. Но вот и гофкомиссар... Ступай к своему месту.

Адъютант Гроснот и обер-гофкомиссар Липман могли во всякий час дня и ночи входить без доклада к герцогу. Но степень доверия к этим двум лицам была различная. Каждый имел свой департамент. Первый был только строгий, безотговорочный исполнитель тайных приговоров, исправная хлопушка, которою колотил людей, как мух, не зная, однако ж, за что их душил: одним словом, немой, готовый по первому взгляду своего повелителя накинуть петлю; другой — ловкий, умный лазутчик, советник, фактор и допросчик по всем делам, где дух человека и гражданина выказывал себя в словах, или даже намеках благородным противником властолюбивой личности временщика. Стоило Бирону тронуть эту струну, чтобы со всех концов России дали отзывы. Если б кто, как брадобрей Мидаса, зарыл свою тайну в земле и герцогу нужно было бы ее знать, Липман вырастил бы на этой земле тростник, и ветер, шевеля его, рассказал бы тайну. Сам временщик, сколько ни изучал уловки и хитрости неблагонамеренного политика, сколько ни старался подражать лукавству тогдашнего вице-канцлера Остермана, образца в искусстве надевать на себя личину, смотря по обстоятельствам, однако ж никогда не мог достигнуть совершенства в этой науке, не имея ни довольно ума, ни довольно власти над собою, чтобы достигнуть своей цели. В случаях же, где необузданность характера его могла ему изменить, или где лукавства его недоставало, работал Липман, как крот в норе, а темных проводов из его норы было довольно подо все места, начиная от дворца до нищенской лачуги.

Таким образом, каждый из двух соперников, герцог курляндский и Волынской, имел по советнику равно лукавому. Разница между ними была в том, что Зуда с возвышенною и благородною душой действовал из одной бескорыстной преданности и любви к своему доверителю и другу, во имя прекрасного и высокого, а Липман, готовый на все низости и злодейства, служил своему покровителю и единомышленнику из честей и злата.

Липман вошел в кабинет, весело съежившись, подобно коту, желающему приласкаться к своему хозяину.

Но, взглянув на клочки манжет, рассеянных, как обломки корабля после бури, сбавил несколько своего удовольствия. Первое слово его было о малороссиянине...

— Все об нем! Да дадут ли мне с ним покой!..— сердито прервал герцог, желая некстати поиграть лукавством с своим советником.— Да неужели вы воображаете, что я так много хлопочу об этой дряни!.. Если б и вздумал кто... так одно слово...

— Ваша светлость,— отвечал Липман униженно и с усмешкой, расшевелившею его уши,— не желаете, конечно, заставлять меня приобретать вновь неоцененное доверие ваше, которое я почитал уже своею неотъемлемою наградой за столь многолетние опыты моего к вам усердия и преданности. И я думаю...

— Что забавляюсь. Да, да, любезный Липман, я пошутил, потому что на лице твоем заметил предвестие чего-то доброго. Знаю, как дело наше важно, по связям его с польскими делами; но уверен также, что в особе нашего обер-гофкомиссара и друга мы имеем оберегателя, который не допустит до нас неприятностей.

— Вы отгадали. Дельце, несколько запутанное, которое Гроснот неосторожно хотел разрубить одним взмахом своего меча, кончено благополучно.

— Да, да...— сказал герцог, запинаясь от удовольствия.— Гроснот погорячился; зато и объявил я ему, что в случае беды он один отвечать будет. Добрый, преданный малый, но ломит всегда, как медведь! Итак?..

— Я имел счастие вполне оправдать доверенность вашей светлости. Надо признаться, что помогла нам много расторопность людей, вам преданных.

— И тобою ж избранных, мой скромный друг!

Липман закинул назад свои рыжие космы, и лицо его открылось во всей полноте удовольствия. Он поклонился и продолжал чрезвычайно тихо, так, что за дверью никто не мог слышать его разговора:

— Воевода, подписавшийся, для вида, между прочими в доносе Горденки и давший мне знать обо всем, следил бездельника по горячим следам. В Твери проведал он о подмене малороссиянина, наряженного к празднику, и, догадавшись, что Горденко будет нужен на другое игрище, не дал беглецу далеко утечь и прислал его ко мне в самую пору. Горденки нет; настоящий малороссиянин налицо, и кто скажет противное, напутает на себя беду. В это дело замешалась было цыганка, умная и лукавая, как сам бес. Однако ж благодаря сред-

ствам, данным мне вашею светлостью, я справился с нею так успешно, как не ожидал.

Здесь Липман рассказал свои подозрения, допрос и успех своих действий. Подлинный донос был торжественно подан герцогу, и этот, прочитав его несколько раз, пожал столько же раз руку своему клеврету.

— Управься мне с доносчиками, как хочешь, лишь бы *концы в воду,*— сказал герцог и вынул из бюро несколько листов, которые и отдал Липману вместе с подлинным доносом Горденки.— Вот тебе бланки на их судьбу! Выбрав нужное для себя, сожги бумагу.— Потом прибавил он благосклонно: — Ты сделал мне ныне подарок, и я у тебя в долгу. Твой племянник пожалован в кабинет-секретари: объяви ему это и прибавь, что на первое обзаведение в этом звании дарю ему пару коней с моей конюшни и приличный экипаж.

— Милости ваши велики; чувствовать их могу, но благодарить за них не имею слов, великий мой протектор! Позвольте моему племяннику самому... светлейший, едва я не сказал — ваше высочество...

— О! с высочеством не так поспешно...

— На этот случай я буду пророком: много-много чрез полгода вся Россия поднесет вам этот титул...

Бирон ласково погрозился пальцем:

— Льстец!.. Ну, где ж твой племянник?..

Тигр забавлялся с лисицей.

— Господин Эйхлер! — закричал обер-гофкомиссар, отворив дверь в ближнюю комнату на заднюю половину дома,— его светлость желает вас видеть...

На этот зов явился сонный долговязый Эйхлер, поклонился, как студент при первом дебюте своем в свет, наступил неосторожно на ногу своего дяди и стал в неподвижном положении, выставя свой бекасиный нос вперед.

— Благодарите его светлость за новые милости, которые ниспосылает он на вас от высоких щедрот своих,— сказал ему Липман, показывая глазами, чтобы он подошел к руке благодетеля,— вы пожалованы в кабинет-секретари.

Дядя не иначе обращался к своему племяннику, как местоимением *вы.*

— О, конечно... милости... ваша светлость, благодеяния вечно незабвенные...— сказал племянник, запинаясь и кланяясь; но, будто не понимая приказа дяди, не подошел к руке герцога.

— Довольно, довольно,— прервал, усмехаясь, Бирон.— Не бойкий оратор, ха, ха, ха! в Демосфены не попадет! да нам их и не надо. Зато строчит бумаги не хуже лучшего из наших кабинет-министров. Остерман — кажется, его отзывы можно во что-нибудь ставить! — именно Остерман предвещает в нем великого дипломата. (Эйхлер отвесил поклон.) Люблю, что подчиненный мыслит, когда велят, а не тогда, когда вздумается ему... Продолжай, продолжай, молодой человек, и помни, что скромность, скромность и скромность — первые добродетели и покровители кабинет-секретаря, и что первый враг — язык.

Тут Бирон кивнул Эйхлеру, и когда этот, догадавшись, что ему надо вон, вышел, отвесив такой неловкий поклон, что зацепил портупеей своей шпаги ручку кресел и потащил было их за собой, герцог, усмехнувшись, обратил речь к его дяде:

— Не отесан еще, хотя более года секретарствует при мне, но выполируется со временем в кабинете, при дворе... Теперь,— продолжал он,— с малороссиянином кончено, и я спокоен с этой стороны; но ты знаешь, что у нас есть дело гораздо важнее...

— Борьба с буйным, непокорным Волынским, угодно вам сказать?

— Да, этого человека ничем не удовлетворишь, ничем не задобришь и не испугаешь! Он везде, где только может, мне поперечит, он грезится мне и во сне, как шлагбаум, который, того и гляди, ударит меня по голове; он портит мне беспрестанно кровь... и пока голова на плечах его, я не тверд, у меня связаны руки, я самдруг властвую... ты понимаешь меня?

— Его смертное падение необходимо для вашего спокойствия. Он предводитель шайки, которая хочет все сокрушить, что только нерусское.

— Мятежники! я их в бараний рог!.. Мужики, от которых воняет луком!.. Не всем ли нам обязаны? и какова благодарность! О, как волка ни корми, он все в лес глядит!.. Животные, созданные, чтобы пресмыкаться, хотят тоже в люди! Я их!.. Я им докажу, что водовозная кляча герцога курляндского дороже русского... Гм! Они не знают, с кем тягаются... не на Кульковского напали!

Говоря это, Бирон судорожно трясся, едва не скрежетал зубами. Немного успокоившись, он продолжал:

— Впрочем, мы, по твоему совету, нашли слабую сторону этого Ахиллеса...

Липман не читывал не только Гомера, и календаря, но догадался тотчас, о чем дело шло.

— Вы изволите намекать на интригу его с молдаванскою княжной: прекрасный способ! Я предрекал вашей светлости, что его опутать можно в этих тенетах, и как скоро вы изволите рассказать мне вашу удачу, я дополню ее с своей стороны...

— Изволишь видеть, служанка ее работает усердно... вчера паж доставил мне записку к княжне от благоприятеля. Начало удачно. Надо, однако ж, повести это дело еще хитрее и сильнее; участить переписку... доставить свиданьице наедине... а там черт возьми, если не поймаем птичку на зерне!.. Понимаешь, надо будет...

— Навести вас или самую государыню.

— Ты, дорогой мой, схватываешь мои мысли, как любовник взгляд своей любезной. Государыня не надышит на девчонку; лелеет ее, как дитя свое, бережет от дурного глаза, видит в ней свое утешение, любимую игрушку; а тут... сам демон в образе Волынского обезобразит, искомкает это сокровище.

Адский восторг вылился на лице временщика.

— О! тогда голова мятежника в ваших руках,— подхватил достойный клеврет с торжествующим видом.— Чтоб довершить потеху, мы постараемся еще взбесить его в самом дворце... А пока голова у него свежа, признаться, опасен бунтовщик. Мы поведем это дело прекрасно; ручаюсь за успех жизнью своей. Цыганка невольно помогает нам, взявшись, как видно, маклеровать влюбленным... Ваша светлость доставит ей... этой чудной, небывалой гадальщице, халдейке — все, что вам угодно будет сказать об ней,— вы доставите ей вход во дворец, свободный ход во всякое время к глупенькой княжне.

— Да, да, государыня любит гаданье с тех пор, как альманачник Бухнер напророчил ей престол. Гороскопами она замучила профессора астрономии... Астролог в юбке — это новое! Мы употребим эту небывальщину в дело!

— Учителя и нынешнего посредника мы рассердим так, что он будет первый доказчик.

— Добро, все добро, все семя для богатой жатвы! Ты золотая голова; тебя бы надо в кабинет-министры.

— Я стою выше, я ваш кабинет-министр. Забыл еще одно обстоятельство. Надо всеми средствами поддержать слухи, что Волынской вдовец... это необходимо! А то планы наши могут уничтожиться в самом начале. С моей стороны, я всех, кого мог, настроил этими слухами и буду продолжать...

— Обещаю то ж с своей стороны.

— Надо бы на время задержать жену его в Москве... но об этом хлопочет уж сам верный супруг.

— Ха, ха, ха! Придумать нельзя ничего лучше. Поди сюда, мой вернейший и умнейший советник, дай себя поцеловать.

И герцог курляндский поцеловал в лоб хитреца, униженно поклонившегося перед ним, как бы для принятия благословения от пастыря духовного.

Ущедренный этой наградой, Липман продолжал:

— Потом вы имеете книгу, которую выкрала барская барыня из кабинета... имя забываю...

— *Историю Иоанны неаполитанской*, на полях которой написано рукою мерзавца: *Она! она!*

— Приноравливать к кому вздумал! Сам на себя петлю надевает! В придачу еще вчера вечером...

— Я перебью тебя, любезный,— сказал Бирон голосом сожаления и качая головой,— признаться, меня вчерашняя маскерадная история огорчила за тебя. Ох, ох, бедный! идти с Волкова поля пешком, в жестокий мороз...

— Обо мне не извольте беспокоиться. Мое тело и душа готовы за вас в пеклу. Для вас, если б нужно было, я вырвал бы своими руками всех мертвецов на кладбище и зарыл бы живых столько же. Мы было устроили так хорошо, да испортила какая-то маска, пробравшаяся вслед за нами... шепнула что-то хозяину и все вывернула с изнанки налицо. К тому ж и ваш братец порыцарствовал некстати...

— Брата под арест! Хоть для виду надо же удовлетворить Волынского, который считает себя обиженным. Любопытно, однако ж, знать, кто эта секретная особа, которой известны ваши тайны... (призадумавшись) это нехорошо, это что-то неловко!

— О! я отыщу этого секретника во что ни станет и... бог свидетель, вымещу на бездельнике мое ночное путешествие и ваше беспокойство, которое стоит, чтобы ему тянуть жилы клещами. Но это пустячки при наших успехах! Кстати, Волынской и вчера проговорился на-

счет государыни. Он пил с насмешкою за ее здравие, припевая ей память вечную.

— И то будет иметь важную цену в глазах больной государыни.

— Посылал вас... (Липман, усмехаясь, потирал себе руки).

— К черту?.. это не новое! Посмотрим, кто первый попадется в его когти. Все прекрасно, бесподобно, мой усердный друг!

— Теперь позвольте о двух милостях.

— Заранее даю слово выполнить твои желания.

— Вы имеете важного соперника, я не без них. Лукавый Зуда работает против нас сколько может. Преданная нам барская барыня у него на замечании и с часу на час ожидает себе гибели. Надо спасти ее, хотя назло ее господину.

— А средства? она крепостная...

— Я уж придумал их. Кульковскому ищут невесту из простых...

— Чего ж лучше для него этой шлюхи!.. Сама государыня будет просить отдать ее за своего пятидесятилетнего пажа.

— И Волынской не посмеет отказать. Только надо как можно скорей, ваша светлость!

— Первое мое дело во дворце будет об этом.

— Сын ее,— если позволите доложить... ге, ге, хотя и глупенек, но усердно служит нам; сейчас только еще сыграл исправно роль Языка...

— Ну что ж?

— За привод людей к празднику ему обещано офицерство.

— Можешь именем моим поздравить его офицером.

— Доклад мой кончен, и я спешу к работе. В приемной зале толпа давно ожидает появления своего солнца, чтобы ему поклониться.

— Пускай ждут! Эту челядь надо проучивать, а то как раз забудутся... Поболее блеска и шуму для дураков и потяжеле ярмо для умных, и все пойдет хорошо. Пошли мне Кульковского: я хочу с ним позабавиться да распорядиться насчет его свадьбы.

Липман вышел; на место его вошел Кульковский.

— Любезный пажик,— сказал ему герцог,— мы расстаемся!

— Я лишаюсь лицезрения вашей светлости, которым несколько лет питался, как манною небесною,—

отвечал пятидесятилетний паж, подходя к руке герцога.

— О, о! зачем это?.. (Он слегка отдернул было руку, но тот успел уловить ее своими устами.) Поверь, я не оставляю тебя и на новом твоем месте. А чтобы на первых порах доказать мои милости, вот что я для тебя делаю,— только, пожалуйста, не мучь меня своею благодарностию! Слышишь?..

Кульковский согнулся, сколько позволяла ему толщина его, чтобы внимать в раболепном восторге о новых милостях своего протектора.

— Государыне твоей известно, что ты опоганил себя целованием папских туфлей. За то не миновать бы тебе ловить куниц, хе, хе, хе; но мне стало жаль тебя. Где ему? подумал я: он своим толстым брюхом избороздит всю Сибирь, пока поймает хоть одну мышь, издохнет, запыхавшись! Дело повернули мы так, что ты при дворе в новой должности. Но (Бирон погрозился пальцем) молодой пажишка шалун, плут большой! (Кульковский отвесил глубокий поклон.) хе, хе, хе!.. и государыня боится за своих гоф-девиц. Она хочет непременно женить тебя... ты это слышал?

— Из собственных уст ее величества.

— Я сыскал тебе невесту... ну, нельзя сказать, чтобы молодая, знатная и красивая... но зато мой выбор!

— Прикажите мне жениться хоть на козе, так я почту вашу волю священною.

— На козе, ха, ха, ха! это должно быть презабавно! Надо это поиспытать над кем-нибудь!.. Ха, ха, ха! твоя выдумка меня потешила.

— Блажен, стократ блажен я, что мог доставить вашей светлости хоть миг удовольствия.

— Исполнение этой гениальной мысли побережем, однако ж, для другого. Тебе ж избрал я в сожительницы барскую барыню Волынского, фамилию, черт побери! не припомню.

— Барскую...— мог только сказать смущенный Кульковский.

— Да, да, ее и в приданое мои милости и прощение твоей государыни за старые твои грехи. Что?.. Чай, при этом слове зашевелились из гробов родоначальники твои, литовские или татарские князья?.. Чай, развернули пред твои вельможные очи свои заплесневелые пергаменты?.. Не ломайся же, дурачина, пока предлагают та-

кой клад с завидной придачей, а то велят взять и без нее.

Вошел дежурный паж и доложил о приезде вице-канцлера Остермана. Приказали просить.

— Ну?..

От этого вопроса пахнуло на сердце бедного Кульковского холодом Сибири.

— Милости ваши велики,— отвечал он,— женюсь...

— Скорей подбери все с ковра! — вскричал герцог, и потомок литовских или татарских князей, пыхтя и едва не ползая на четвереньках, бросился подбирать клочки алансоновых манжет, брошенных счастливым выходцем. Этот пинком ноги помог еще ему исполнить скорее заданную тему.

Глава VII

СОПЕРНИКИ

> Ужасный вид! они сразились!..
> Они в ручной вступили бой:
> Грудь с грудью и рука с рукой...
> То сей, то оный набок гнется.
>
> *Дмитриев*

Остерман, сын пастора вестфальского местечка Бокума, потом студент Иенского университета, где запасался обширными знаниями, шутя и ставя профессору восточных языков (Керу) своею любезностию рога и своими остроумными куплетами ослиные уши, там же за честь свою поцарапал кого-то неловко и оттуда бежал в тогдашнее пристанище людей даровитых — под сень образователя России. Угаданный его гением, этот Остерман в благодарность укрепил России дипломатикой своей прибалтийские области ее, которые ускользали было из-под горячего меча победителя (не говорю о других важных подвигах министра на пользу и величие нашего отечества). Этот самый Остерман, в свою очередь обогащенный деревнями и деньгами, вице-канцлер, граф, умевший удержать за собою, как бы по наследству, доверие и милости двух императоров, двух императриц, одного правителя, одной правительницы и, что еще труднее, трех временщиков, русских и нерусских, составлял в царствование Анны Иоанновны меж-

ду соперничествующими партиями перевесное лицо. Зная силу Бирона, любимца ее и вместе главы немецкой партии, опиравшейся на престол, посох новгородского архипастыря и ужас целого народа, хитрый министр тайно действовал в пользу этой стороны, но явно не грубил русской партии, которой предводителем был Волынской, имевший за собою личные заслуги, отважный и благородный дух, дружбу нескольких патриотов, готовых умереть с ним в правом деле, русское имя и внимание императрицы, до тех пор, однако ж, надежное, пока не нужно было решать между двумя соперниками. Он видел возрождающуюся борьбу народности с деспотизмом временщика, но знал, что представителями ее — несколько пылких, самоотверженных голов, а не народ, одушевленный познанием своего человеческого достоинства. Тогдашний народ, включая и дворянство, погрязший в невежестве и раболепном страхе, кряхтел, страдал, но так же охотно бегал смотреть на казнь своих защитников, как бы на казнь утеснителей своих. Остерман знал, что истинного самопознания национальности не существовало в России и те, кто вздумали ее представлять одними своими особами, замышляли неверное. К тому ж он уверился, что привязанность государыни к герцогу должна восторжествовать надо всеми обстоятельствами. И потому держался бироновской партии и укрепился под сенью ее на второстепенном месте в империи. Таким образом, казалось, математически обезопасил свое лицо от превратностей фортуны. В расчетах этих он не догадался только, что хотя просвещенной национальности не существовало в России, но семя ее заброшено в каждом человеке, где лишь только есть народ; и потому действовать именем ее легко было в лице той, которая, как дочь Великого Петра, отца отечества, могла возбудить эту народность лучше сборища патриотов, действующих от себя. Он думал, что достаточно отдалил Елисавету Петровну от этой роли, и — ошибся. За эту ошибку поплатился он всем, что приобрел заслугами царям и России, умом своим и хитростью. Такие молниеносные промахи самых утонченных политиков освещают для нас пути провидения. Видно, под зарницею их спеет жатва божья!

Дивное явление в нашей истории этот Остерман! Какой чудный путь протек он от колыбели своей, в захолустье германского запада, до Березова!.. Приняв из

рук судьбы страннический посох на пороге пресвитерской хижины, он соединил его потом со скипетром величайшего из государей, начертывал им военные планы, мировые народам и царям и уставы на вековую жизнь империи, указывал череду на престол и, наконец, положил этот посох так скромно, так печально, на Востоке, в тундрах Сибири!.. Бокум, Иена, Ништадт, Березов!.. Надо же было так.

Но виноват: я увлекся чудною судьбою одного из величайших двигателей просвещения в России, который еще не оценен достойным образом и ожидает своего историка. Обращаюсь к роману.

Наступало, однако ж, критическое для Остермана время: он поддерживал доселе герцога, как любимца государыни, которую сам возвел на престол; теперь, когда узнаны были его высшие виды, надлежало помогать ему всходить на ступени этого престола или вовсе от временщика отложиться. В последнем случае вице-канцлер давал торжествовать русской партии и возводил Волынского на первенствующее место в кабинете и в империи. Он пришел к герцогу, затвердив двусмысленную роль, которую решился играть до того времени, пока сами обстоятельства расскажут ему его обязанности.

Вслед за ним явился паж от государыни, звавшей к себе его светлость. Дали ответ, что сейчас будут.

Худо чесанная голова, засаленная одежда министра представляли совершенный контраст с щеголеватою наружностью хозяина. Входя в кабинет, он опирался на свою трость, как расслабленный.

— Каково здоровье? — спросил его Бирон с живым участием, усаживая в кресла.— Эй! Кульковский! Скамейку под ноги дорогого гостя! Я знаю, вы страдаете подагрою. Подушку за спину!

Невольный паж, подставив скамейку под ноги министра и уложив подушку за спину его, вышел с лицом, багровым от натуги. Министр, благодаря, и охая, и морщась, и вскидывая глаза к небу, чтобы в них нельзя было прочесть его помыслов, отвечал:

— Ваша светлость знаете мои немощи... несносная подагра! ох!.. к тому ж начинаю худо видеть, худо слышать.

— Конечно, не все до слуха вашего доходит, но мы вам в этом случае поможем,— сказал Бирон двусмысленно, придвигая свои кресла к креслам Остермана,—

а что касается до зрения, то у вас есть умственное, которому не надо ни очков, ни подзорной трубки.

Вице-канцлер благодарил его наклонением головы и, улыбнувшись, расправил себе волосы пятернею пальцев, как гребнем. Бирон продолжал:

— Самсон покорился слабой, но лукавой женщине. Ум стоит телесной силы. Здоровье, сила душевная нужны нам, почтеннейший граф, особенно теперь, когда враги наши действуют против нас всеми возможными способами, и явно и тайно. Я говорю — враги наши, потому что своего дела не отделяю от вашего.

— Конечно, герцог, я держусь вами... ох! эта нога... (он наморщился и потер свою ногу, долго не будучи в состоянии произнести слова) держусь, как старая виноградная лоза, иссыхающая от многих жатв, крепится еще около дуба во всей красе и силе.

Здесь курляндец пожал ему дружески руку.

— Но разве есть новости после того, как я имел честь беседовать с вашею светлостью?

— Должен признаться вашему сиятельству, что мятежнический дух Волынского, и, к стыду нашему, еще кабинет-министра, нахально усиливается каждый день. Перокин, Сумин-Купшин, Щурхов и многие другие, составляющие русскую партию, предводимую демоном безначалия, ближатся с каждым днем к престолу и шепчут уже государыне нашу гибель. Смерть, казнь всем немцам — пароль их. Никогда не работали они с таким лукавством и такими соединенными силами. Ненависть их ко всему, что нерусское, вам известна, но вы не знаете, как они ненавидят меня. Поверите ли, что я скоро не буду в состоянии собирать государственные подати? Они хотят этого достигнуть, чтобы расстроить машину правления и взвалить несчастные последствия на меня. Научают чернь, дворянство слухами о жестокостях моих, вооружают против меня целые селения, говоря, что я хочу ввести басурманскую веру в России, что я антихрист, и целые селения бегут за границы. Это дойдет до государыни. Подумайте о будущности несчастной империи. Что скажет императрица, вверившая нам кормило государства? что скажет о нас история?

Остерман возвел глаза к небу и пожал плечами. Он думал в это время: «Что скажет об тебе история, мне дела нет; а то беда, что русские мужики в недобрый час изжарят нас, басурманов, как лекаря-немца при Иоанне Грозном».

— Не смей я даже наказывать преступников — кричат: тиран, деспот! Исполнение закона с моей стороны — насилие; исполнение трактатов, поддержка политических связей с соседями — измена. Вы знаете, как справедливо требование Польши о вознаграждении ее за переход русских войск через ее владения...

— Справедливо, как требование долга по заемному письму. И что ж, неужели?.. ох! нога, нога!..

— Посудите, любезнейший вице-канцлер, я, который, говорят, ворочает империей, не смею предложить это дело на рассуждение кабинета. Мне нужны сначала голоса людей благонамеренных, преданных пользе государыни. И это дело готовят наши враги в обвинение мое. Право, стыдно говорить вам даже наедине, о чем они кричат на площадях и будут кричать в кабинете, помяните мое слово!.. будто я, герцог Курляндии, богатый свыше моих потребностей доходами с моего государства и более всего милостями той, которой одно мое слово может доставить мне миллионы... будто я из корыстных видов защищаю правое дело.

Вошел паж и доложил его светлости, что государыня опять велела просить его во дворец.

— Скажи, сейчас буду,— отвечал с сердцем герцог.

— Не задерживаю ли вашу светлость? — спросил Остерман, привстав несколько на свою трость.

— Успею еще! Наш разговор важнее... Видите ли теперь, мой почтеннейший граф, что губит меня!.. Внимание, милости ко мне императрицы!.. Ее величество знает мою преданность к себе, к выгодам России... она поверяет мне малейшие тайны свои, свои опасения насчет ее болезни, будущности России. И коронованные главы такие же смертные... что тогда?.. Я говорю с вами, как с другом...

— Мы увидим, мы уладим. Разве бразды правления выпадут тогда скорее из рук... нежели теперь? Кто ж тверже и благоразумнее может?.. (Здесь Остерман сщурил свои лисьи глазки.)

— О! разве с помощью моего умного друга, как вы!.. Впрочем, я и теперь уступил бы...

— Уступка будет слабостью с вашей стороны. Честь ваша, честь империи требуют, чтоб вы были тверды.

— Я пожертвовал бы собою, я бросился бы, как второй Коклес, в пропасть, лишь бы спасти государство; но знаю, что удаление мое будет гибелью его. Тогда ждите себе сейчас в канцлеры — кого ж? гуляку, удаль-

ца, возничего, который проводит ночи в пировании с приятелями, переряжается кучером и разъезжает по... (Бирон плюнул с досадой) дерзкого на слова, на руку, который того и гляди готов во дворце затеять кулачный бой, лишь бы имел себе подобного... Поделает из государственного кабинета австерию...[1] и горе тому, кто носит только немецкое имя!

За дверьми послышался крупный разговор.

— Слышите?.. Его голос! Видите, граф, у меня в доме, во дворце, меня осаждают... Без докладу! Как это пахнет русским мужиком!.. И вот ваш будущий канцлер!.. Того и гляди придет нас бить!.. Вашу руку, граф!.. Заодно — действовать сильно, дружно — не так ли?.. Вы... ваши друзья... или я еду в Курляндию.

Эти последние слова были произнесены почти шепотом, но твердо. Герцог указал на дверь, кивнув головой, как бы хотел сказать: возитесь вы тогда с ним!.. Вице-канцлер, внимая разительным убеждениям Бирона, сделал из руки щит над ухом, чтобы лучше слышать, поднимал изредка плеча, как бы сожалея, что не все слова слышать может, однако ж к концу речи герцога торопливо, но крепко пожал ему руку, положил перст на губы и спешил опустить свою руку на трость, обратя разговор на посторонний предмет.

В самом деле, говоривший за дверью кабинета был Волынской, но как он туда пришел и с кем крупно беседовал, надо знать наперед.

Кабинет-министр, рассерженный неудачею своего послания к Мариорице и хлопотами по устроению праздника и ледяного дома, всходил на лестницу Летнего дворца. Ему навстречу Эйхлер. Вероятно, обрадованный возвышением своим, он шел, считая звезды на потолке сеней, и в своем созерцании толкнул Артемия Петровича.

— Невежа! — вскричал этот,— не думает и извиняться! видно, каков поп, таков и приход.

Лицо Эйхлера побагровело от досады; однако ж он не отвечал.

Выходка Волынского предвещала грозу. Девятый вал набежал в душе его. Он вошел в залу, но, увидав за собой Миниха, остановился, чтобы дать ему дорогу. Этого военного царедворца уважал он, как героя, пожав-

---

[1] Трактир *(ит.)*.

шего еще недавно для России завидные лавры, как умного, истинно полезного государству человека и как сильного, честолюбивого соперника Бирона, уже раз восставшего против него и вперед неизбежного. Только Миних и Волынской могли попасть в любимцы к государыне; Остермана она только всегда уважала.

Миниха удивил поступок Волынского. Он пожал ему дружески руку и примолвил:

— Вы, однако ж, не любите никого впереди себя, мой любезнейший Артемий Петрович!

— Никого, кто не достоин быть впереди,— отвечал с твердостью Волынской.— Но всегда с уважением уступлю шаг тому, кто прославляет мое отечество и вперед обещает поддержать его выгоды и величие. Приятно мне очистить вам дорогу...

Слова эти были пророческие.

— Я немец,— прервал его Миних шутливым тоном, схватившись с ним рука за руку,— а вы, носятся слухи, не любите иностранцев?

— Опять скажу вам, граф, что или меня худо понимают, или на меня клевещут. Не люблю выходцев, ничтожных своими душевными качествами и между тем откупивших себе тайною монополией, неизвестными народу услугами или страдальческим многотерпением право грабить, казнить и миловать нас, русских! Перескажите это,— примолвил Артемий Петрович, обратясь к Кульковскому, подслушавшему разговор,— если вам угодно, я повторю. Но,— продолжал он, идя далее чрез залу,— пришлец в мое отечество, будь он хоть индеец и люби Россию, пригревшую его, питающую его своею грудью, служи ей благородно, по разуму и совести — не презирай хоть ее,— и я всегда признаю в нем своего собрата. Вы знаете, отдавал ли я искреннюю дань уважения Остерману, министру Петра Великого,— не нынешнему, боже сохрани! — Брюсу и другим, им подобным?.. Презираю иностранца, который ползает перед каким-нибудь козырным валетом, который с помощью кровавых тузов хочет выйти в короли; но менее ли достойна презрения эта русская челядь (он указал на толпу, стоявшую униженно около стен, опираясь на свои трости)? Посмотрите на эти подлые, согнутые в дугу фигуры, на эти страдальческие лица... Скомандуйте им лечь наземь крыжом по-польски — поверьте, они это мигом исполнят! Мало? — велите им сбить яблоко, не только с головы сына... с младенца у

груди жены, и поманите их калачом, на котором золотыми буквами напишут: *«Милость Бирона»* — и они целый пук стрел избудут, лишь бы попасть в заданную цель.

Миних, усмехаясь, пожал руку Волынскому и шепнул ему, чтобы он был осторожнее; но благородное негодование кабинет-министра на низость людей, как лава кипучая, сделавшая раз вспышку, не останавливалась до тех пор, пока не сожигала, что ей попадало навстречу. В таких случаях он забывал свои планы, советы друзей, явных и тайного, забывал Махиавеля, которого изучал. Душа его, как разгневанный орел, рвала на части животных, им только взвиденных, и впивалась даже могучими когтями в тигра, который был ему не по силам.

Дежурный паж остановил учтиво генерала и кабинет-министра, прося позволения доложить о их приходе.

— Скорей же! — сказал Артемий Петрович,— Миних и Волынской не долго ждут у самой императрицы.

Паж пошел, но, посмотрев в замочную щель кабинета, увидел, что герцог занимается жарким разговором с Остерманом, воротился и просил Миниха и Волынского повременить, потому что не смеет доложить его светлости, занятому с господином вице-канцлером.

— О, когда так,— воскликнул Волынской,— войдемте.

И Волынской отворил дверь в кабинет временщика, все-таки уступая шаг своему спутнику. За ними поспешил войти паж с опоздалым докладом.

Улыбкою встретил герцог пришедших, просил их садиться, бросил на пажа ужасный взгляд, которым, казалось, хотел его съесть, потом опять с улыбкою сказал, обратясь к Волынскому:

— А мы только сию минуту говорили с графом о вчерашней вашей истории. Негодяи! под моим именем!.. Это гадко, это постыдно! Кажется, если б мы имели что на сердце друг против друга, то разведались бы сами, как благородные рыцари, орудиями непотаенными. Мерзко!.. Я этого не терплю... Я намерен доложить государыне. Поверьте, вы будете удовлетворены: брату — первому строжайший арест!

— Я этого не желаю,— отвечал холодно Волынской.

— Вы не хотите, справедливость требует... пример нужен... я не пощажу кровных...

— Они довольно наказаны моим катаньем.

— Ха, ха, ха! это презабавно. Господин вице-канцлер уж слышал (Остерман, усмехнувшись, сделал утвердительно знак головой), но вам, граф, должно это рассказать.

— Любопытен знать,— отвечал Миних, вытянув свой длинный стан вперед и закрыв длинною ногою одну сторону кресел.

— Его милость так прокатила вчера некоторых негодяев на Волково поле, что они слегли в постелю, и поделом!

— Позвольте вам противоречить,— перебил Волынской,— одного из них я подвез только к Летнему дворцу, именно сюда в дом...

Приняв эпитет негодяя для своего брата, Бирон иронически продолжал:

— Да ведь сам Артемий Петрович в маскерадном, кучерском кафтане!.. Надо, говорят, посмотреть, как этот русский наряд пристал такому молодцу, как наш кабинет-министр! (Последнее слово заставило Остермана опять усмехнуться.)

— Да, ваша светлость, я славно прокатился и в Персию и в Немиров,— подхватил с досадою Волынской,— и никто, конечно, не осмелится сказать, чтобы я исполнил свое дело кучерски, а не как министр Российской империи. Впрочем, русские бояре-невыходцы — просто веселятся и так же делают государственные дела: сам Петр Великий подавал нам тому пример. Может статься, и его простота удивила бы выскочку в государи, если б они могли когда быть!

— Я говорю только, что вы сделали, а не то, что вы хотите заставить меня мыслить. Кто же смеет лишать вас заслуг ваших?.. Вы знаете, не я ли всегда первый ценил их достойным образом и... последняя милость...

— Милость моей государыни! — прервал с твердостию Волынской.— Я ни от кого, кроме ее, их не принимаю. Вы изволили, конечно, призвать меня не для оценки моей личности, и здесь нет аукциона для нее...

— Боже мой! какая азиатская гордость!.. Помилуйте, мы говорим у себя в домашнем кабинете, а не в государственном. Если вам дружеская беседа не нравится, я скажу вам, как герцог курляндский...

Бирон гордо и грозно посмотрел на Артемия Петровича и думал, что он при этом слове приподнимется со стула; но кабинет-министр так же гордо встретил его взор и сидя отвечал:

— Я не имею никакой должности в Курляндии.

Бирон вспыхнул, сдвинул под собою кресла так, что они завизжали, и, встав, сказал с сердцем:

— Так я, сударь, вам говорю именем императорского величества.

При этом имени Волынской тотчас встал и с уважением, несколько наклонившись, сказал:

— Слушаю повеление моей государыни.

— Она подтверждает вам, сударь... чтобы вы... (не приготовив основательного удара, Бирон растерялся и искал слов) поскорее... занялись устройством ледяного дворца...

— Где будет праздноваться свадьба шута?..— отвечал с коварной усмешкой Волынской.— Я уж имею на это приказ ее величества; мне его вчера сообщили от нее; ныне я получил письменное подтверждение и исполняю его. Просил бы, однако ж, вашу светлость доложить моей государыне, не угодно ли было бы употребить меня на дела, более полезные для государства.

— Наше дело исполнять, а не рассуждать, господин Волынской. (Голос, которым слова эти были сказаны, гораздо поумягчился.)

— С каким удовольствием употребил бы я себя, например, на помощь страждущему человечеству!.. Доведено ли до сведения ее величества о голоде, о нуждах народных? Известны ли ужасные меры, какие принимают в это гибельное время, чтобы взыскивать недоимки? Поверите ли, граф? — продолжал Артемий Петрович, обратившись к Миниху,— у нищих выпытывают последнюю копейку, сбереженную на кусок хлеба, ставят на мороз босыми ногами, обливают на морозе ж водою...

— Ужасно! — воскликнул граф Миних.— Нельзя ли облегчить бедствия народные, затеяв общеполезную работу? Сколько оставил нам Петр Великий важных планов, которых исполнение станет на жизнь и силы разве только наших правнуков! Например, чего бы лучше упорядочить пути сообщения в России? Для такого дела я положил бы в сторону меч и взялся бы за заступ и циркуль. А где, позвольте спросить, Артемий Петрович, наиболее оказываются нужды народные?

— Всего более страдает Малороссия,— отвечал Волынской, бросив пламенный, зоркий взгляд на Бирона. (Этот сел, и кабинет-министр сел за ним.) Именно туда надо бы правителя, расположенного к добру.

Он намекал на самого Миниха, домогавшегося гетманства Малороссии.

— Об этом,— подхватил Остерман,— сильно заботится государственный человек, у которого мы имеем честь теперь находиться. Он, конечно, ничего не упустит для блага России. (Здесь Волынской с презрением посмотрел на вице-канцлера, но этот очень хладнокровно продолжал.) И, сколько мне известно, заботы его увенчиваются благоприятным успехом: государыня назначает правителем Малороссии мужа, который умом и другими душевными качествами упрочит внутренно благоденствие этой страны и вместе мечом будет уметь охранять его спокойствие от нашествия опасного соседа.

Этою лукавою речью был несколько склонен честолюбивый Миних к стороне Бирона, который, пользуясь поддержкою вице-канцлера, обратился с бо́льшею твердостью к мнимому гетману Малороссии:

— Поверьте, несчастия, которые вам с таким жаром описывают, только на словах существуют, и сам господин Волынской обманут своими корреспондентами.

— Я не дитя или женщина, чтобы мог быть обманут слухами,— сказал Волынской.— Я имею свидетельства и, если нужно, представлю их: но только самой императрице. Увидим, что она скажет, когда узнает, что отец семейства, измученный пыткою за недоимки, зарезал с отчаяния все свое семейство, что другой отнес трех детей своих в поле и заморозил их там...

— Выдумка людей беспокойных! мятежных!

— Неправда, герцог! — вскричал кабинет-министр, вскочив со стула.— Волынской это подтверждает, Волынской готов засвидетельствовать это своею кровью...

Явился опять посланный из дворца, и опять за тем же.

— Сию минуту буду! — сказал герцог, посмотрев значительно на своих посетителей.— В третий раз государыня требует меня, а я задержан пустыми спорами...

— Ваша светлость пригласили меня,— сказал Ми-

них,— чтобы поговорить о деле вознаграждения поляков за проход русских войск.

— Да, да,— отвечал Бирон,— господин вице-канцлер согласен на вознаграждение.

— Честь империи этого требует,— сказал Остерман.— Впрочем, судя по тревожному вступлению к нашему совещанию, я советовал бы отложить его до официального заседания в Кабинете.

— Честь империи!..— воскликнул Волынской.— Гм! честь... как это слово употребляют во зло!.. И я скажу свое: *впрочем*. Здесь, в государственном кабинете, во дворце, пред лицом императрицы, везде объявлю, везде буду повторять, что один *вассал* Польши может сделать доклад об этом вознаграждении; да один *вассал* Польши!..

При слове *«вассал»* Миних и Остерман встали с мест своих,— последний, охая и жалуясь на подагру,— оба смотря друг на друга в каком-то странном ожидании. Никогда еще Волынской не доходил до такой отчаянной выходки; ему наскучило уж долее скрываться.

— За это слово вы будете дорого отвечать, дерзкий человек! — вскричал вне себя Бирон,— клянусь вам честью своею.

— Отдаю вам прилагательное ваше назад! — вскричал Волынской.

— Государыня вас требует,— сказал Остерман герцогу.

— Во дворец, да! к государыне! — произнес Бирон, хватая себя за горящую голову; потом, обратясь к Волынскому, примолвил: — Надеюсь, что мы видимся в последний раз в доме герцога курляндского.

— Очень рад,— отвечал Волынской и, не поклонясь, вышел.

Собеседники, смущенные этой ссорой, которой важные последствия были неисчислимы, последовали за ним. В ушах их долго еще гремели слова: *«Я или он должен погибнуть»* — слова, произнесенные беснующимся Бироном, когда они с ним прощались.

— Я или он должен погибнуть! — повторил временщик, ударив по столу кулаком, когда они вышли.

— Этого гордеца надо бы хорошенько проучить,— говорили между собою стоявшие в зале, когда Волынской проходил мимо их с гневной, презрительной улыбкой.

— Его светлость! его светлость! — закричал паж.

Возглас этот, повторенный сотнею голосов по анфиладе комнат, раздался, наконец, у подъезда. Опереженный и сопровождаемый блестящей свитой, Бирон прошел чрез приемную залу и удостоил дожидавшихся в ней одним ласковым киваньем головы. Зато скольких панегириков удостоился он сам за это наклонение! «Какой милостивый! Какой великий человек! Какая важность в поступи! Проницательность во взорах! Он рожден повелевать!.. Модель для живописца!.. Жена моя от него без ума!»

Какой-то выскочка осмелился сказать, что Петр Великий и для художника и для женщин имел более привлекательности.

— Помилуйте,— отвечали ему,— у того был только бюст хорош, а у этого... все совершенство!..

Бирона ожидала у подъезда золотая карета, вся в стеклах, так что сидевший в ней мог быть виден с головы до пят, как великолепное насекомое, которое охраняет энтомологист в прозрачной коробке. И вот покатил он, ослепляя толпу и редкой красотой своего цуга, и золотой сбруей на конях вместе с перьями, веявшими на головах их, и блеском отряда гусар и егерей, скакавшего впереди и за каретой. Между тем как чернь дивилась счастию временщика, червяк точил его сердце: гордость его сильно страдала от дерзкого, неугомонного характера Волынского. «Но он погибнет во что бы ни стало»,— говорил Бирон, и блуждающие от бешенства глаза остановились на бумажке, приколотой едва заметно к позументу, которым обложена была рама в карете. Дрожащими руками, как бы от предчувствия, сорвана бумажка с своего места. Он готов был задохнуться от ярости, когда прочел написанное:

«Берегись, злодей!.. Тело Горденки похищено вчера в полночь и зарыто в таком месте, откуда можно его вырыть для свидетельства против тебя. Знай более, исполнители воли твоего клеврета бежали и скрываются там, где смеются твоему властолюбию».

Эта записка имела свое действие. Она смутила, испугала герцога грозною неожиданностию, как внезапный крик петуха пугает льва, положившего уже лапу на свою жертву, чтобы растерзать ее. Он решился не обнаруживать государыне обиды, нанесенной ему соперником, до благоприятного исполнения прежде начертанных планов. Надо было отделаться и от

Горденки, который его так ужасно преследовал. Собираясь зарезать ближнего, разбойник хотел прежде умыться.

Сибирь, рудники, пасть медведя, капе́ль горячего свинца на темя — нет муки, нет казни, которую взбешенный Бирон не назначил бы Гросноту за его оплошность. Кучера, лакеи, все, что подходило к карете, все, что могло приближаться к ней, обреклось его гневу. Он допытает, кто тайный домашний лазутчик его преступлений и обличитель их; он для этого поднимет землю, допросит утробу живых людей, расшевелит кости мертвых.

Глава VIII

ВО ДВОРЦЕ

Но час настал — я ничего не помню,
Не нахожу затверженных речей;
Любовь мутит мое воображенье...

Пушкин

— Во дворец! — закричал взбешенный Волынской и углубился в карету.

При слове «дворец» Мариорица, вооруженная с ног до головы всеми возможными обольщениями, предстала пред него.

«Там,— говорил он сам с собою,— увижу, может быть, ее, эту пленительную Мариорицу, которую не могу вытеснить из сердца, от которой сойду с ума, если она не будет моею».

Молчание ее на письмо, препятствия раздражили в нем страсть до того, что он признается в ней уже самому себе. Эту страсть называл он доселе прихотью непостоянного, влюбчивого характера. И что ж теперь? одна мысль о Мариорице — и Волынской уже не кабинет-министр, не ревностный гражданин, жертвующий собой отечеству; он просто пламенный, безумный любовник. Что за слова: честь, благородство, отечество, он их более не понимает. Он кается уже, что вспышкою своего неосторожного характера слишком рано возбудил против себя временщика и что это обстоятельство отдалит его от дворца. Безрассудный! он подрезал, может статься, в полном цвете лучшие свои надежды. В минуты

мечтания о Мариорице (и, кажется, только в эти минуты) патриот Волынской готов уступить врагу, лишь бы он сделал его властелином ее, одной только ее. Тешься тогда лукавый сколько душе угодно, режь, души кого хочешь!.. И правду говорил Зуда: одному ль ему пересилить судьбу России в образе Бирона?..

Он погрузился в одну мысль о Мариорице. Вся душа его, весь он — как будто разогретая влажная стихия, в которой Мариорица купает свои прелести. Как эта стихия, он обхватил ее горячей мечтой, сбегает струею по ее округленным плечам, плещет жаркою пеною по лебединой шее, подкатывается волною под грудь, замирающую сладким восторгом; он липнет летучею брызгою к горячим устам ее, и черные кудри целует, и впивается в них, и весь, напитанный ее существом, ластится около нее тонким, благовонным паром.

— Карета давно подъехала ко дворцу! — раздался голос, и Волынской, встрепенувшись, видит: дверка отворена, подножки спущены, и гайдук в изумлении смотрит на своего барина, неподвижно углубленного в карете.

«Уж не удар ли с ним!» — думает слуга.

— Да, да, я задремал,— говорит Артемий Петрович.

Браня себя за свою слабость и обещаясь быть вперед благоразумнее, он спешит во дворец.

Входя в него, не заботится, как примет его государыня; он думает только о восторге с Мариорицей. Сердце его трепещет, как у молодого человека, вступающего в первый раз в свет. И вот он в комнате, где принимает его императрица Анна Иоанновна. Она забавлялась в ней игрою на бильярде, которую так же любила, как верховую езду и стрельбу из ружья.

Волынского осаждает вереница шутов разного звания и лет (их было, если не ошибаюсь, шесть почетных, включая в то число Кульковского, успевшего также явиться к своей должности). Между ними отличаются итальянец Педрилло, бывший придворный скрипач, но переменивший эту должность на шутовскую, найдя ее более выгодною, и Лакоста, португальский жид, служивший еще шутом при Петре I и прозванный им принцем самоедов. Старик Балакирев — кто не знал его при великом образователе России? — дошучивает ныне сквозь слезы свою жизнь между счастливыми соперниками. Он играет теперь второстепенную роль; он часто грустен, жалуется, что у иностранцев в загоне, остро-

умен только тогда, когда случается побранить их. И как не жаловаться ему? Старых заслуг его не помнят. Иностранные шуты, Лакоста и Педрилло, отличены какими-то значками в петлице, под именем ордена *Бенедетто,* собственно для них учрежденного. А он, любимый шут Петра Великого, не имеет этого значка и донашивает старый кафтан, полученный в двадцатых годах. Вообще все эти шуты не прежних времен; фарсы их натянуты, тупы, и как быть им иначе под палкою или, что еще хуже, грозным взором Бирона? Остроумие — дитя беззаботного веселия.

— О, волинка! пру, пру, ду, ду...— вскричали и затянули один за другим Педрилло и Лакоста, увидав Волынского, которого они не любили потому, что он их терпеть не мог и ничем не даривал; да и соперничество его с герцогом курляндским было положено тут же на весы.

— Видно, музыка этой волынки не по вас, картофельщики,— подхватил Балакирев,— стеклянные головки не выдержат русского языка.

Императрица играла в бильярд с Мариорицей, которую сама учила этому искусству, чтобы иметь во всякое время свою *домашнюю* партию. Княжне Лелемико приходилось играть; но при имени Волынского она вспыхнула, побледнела и задрожала. Шары двоились в глазах ее, бильярд ходил кругом. Можно догадаться, каков был удар.

— Кикс, моя милая! — сказала государыня, засмеявшись,— никогда еще не видывала я тебя в таком знаменитом ударе. А? наш любезный кабинет-министр! — примолвила она, обратясь с приветливым видом к Волынскому,— каково здоровье?

— Еще худо, ваше величество,— отвечал он, бледный от смущения княжны Лелемико, не скрывшегося от его взоров.

— Это заметно.

— Но я поспешил сделать вам угодное, государыня, принялся ныне же за устройство...

— Ледяного дворца для свадьбы моего новобрачного пажика. (Кульковский сделал глубокий поклон так, что широкая лысина его казалась блестящею тарелкою среди его туловища: в нее звучно шлепнул Педрилло ладонью.) Я любовалась уже из окна, как у вас дело спеет. Мне это очень приятно. Вы с таким усердием

исполняете мое желание, что даже нездоровье вас не удержало.

— Удовольствие ваше, государыня, дорого нам.

— Не взыщите, господа, что отвлекаю вас от дел государственных для своих прихотей... Да, таки прихотей... не скрываю этого; но старая, хворая, брюзгливая женщина всегда с причудами. Зато недолго буду вам надоедать ими.

Анна Иоанновна произнесла это грустным голосом, как бы предчувствовала свою близкую смерть. Волынской хотел что-то сказать, но государыня предупредила его, смотря на него проницательным взором:

— Мне уж и память вечную поют... (Волынской побледнел и собирался сделать почтительное возражение; но и тут государыня дала ему знак рукою, чтобы он молчал, и примолвила:) Знайте, однако ж, мой любезнейший Артемий Петрович, что я умею различать от истины шутку, под веселый час, а может быть, и в сердцах сказанную. Дела ваши говорят мне о вашей преданности лучше, нежели сплетни. (Она протянула милостиво руку Волынскому, и этот, став на одно колено, поцеловал руку с жаром благодарности. В это время вошел герцог курляндский. Государыня, сначала испуганная его появлением, смешалась, однако ж вскоре оправилась и, взглянув на него довольно сухо, продолжала, обращаясь все к кабинет-министру.) Я не имею нужды посылать за вами по три раза; вы являетесь даже на мысленное мое приглашение. Верьте,— прибавила она, давая голосом особенный вес своим словам,— что никто нас не поссорит с вами.

Пасмурно, с злобною усмешкой смотрел Бирон на эту сцену и долго молчал, потом завел разговор то с шутами, то с Мариорицей.

Поднялся гам между шутами. Надобно было им рассеять гнев государыни. Педрилло, приняв команду над товарищами, установил их, одного за другим, около стены, как дети ставят согнутые пополам карты так, что, толкнув одну сзади, повалишь все вдруг. Один Балакирев не повиновался. Дело обошлось и без него. Педрилло дал толчок своей команде, и все повалились один на другого. Долго барахтался Кульковский по полу, чтобы встать. Государыня изволила смеяться этому фарсу; смеялись другие зрители, хохотали сами актеры. Потребован, однако ж, отчет от Балакирева, почему он не повиновался.

— Червяк в голове! — отвечал старик угрюмо,— а когда червяк у русского заведется, так и сам принц не только *кур,* но и коршунов не выгонит его.

За такое неповиновение отсчитали бедному шуту Петра I столько ударов палкою, сколько слов было в его ответе.

Между тем игра на бильярде кончилась к удовольствию Мариорицы, делавшей беспрестанно промахи, несмотря, что вооружилась всею душевною твердостию. Бойкая воспитанница гарема сделалась робка и стыдлива, как институтка за порогом дома, где получила воспитание. Условлено было, что, когда княжна проиграет, должен пролезть под бильярдом ассистент ее, новопожалованный паж, а в противном случае — Педрилло. Пал роковой жребий на Кульковского, и он пополз на четвереньках, сопровождаемый общим смехом. Жестокая судьба его не удовлетворилась тем, что заставила его считать, задыхаясь, перегородки бильярда, что товарищи осадили его со всех сторон киями, как охотники кабана, запутавшегося в тенетах; надо еще было, чтобы вбежала любимая государынина борзая сучка, которая увенчала потеху, вцепившись зубами в ухо страдальца.

— Ату! ату! — кричали шуты.

Травля была презабавная... Кровь порядочно струилась по пухлой щеке Кульковского, и, несмотря на боль, он не смел отогнать свою мучительницу. Мариорица почти со слезами смотрела на это зрелище. Наконец, государыня, боясь видеть своего пажа корноухим, сжалилась над ним и велела отнять собаку. Сколько раз, при совершении этого мученического подвига, вспоминал Кульковский о своем дежурном стуле в Летнем дворце! Вдобавок поручили ему смотреть за сучкою, с тем чтобы она привыкла к нему.

Гнев императрицы на герцога, как и можно было ожидать, кончился со смехом ее на проказы шутов. Он умел воспользоваться минутою веселости, чтобы подойти к ее величеству и просить у ней прощения, сбрасывая всю вину на важные дела государственные, которых разбирательством он должен был заняться.

— Желая вас успокоить скорейшим окончанием их,— говорил он,— я сделался преступником. Где гнев, тут и милость.

Когда нужно было, хитрец знал употреблять и русские пословицы в дело. Изволили простить по послови-

це, с тем, однако ж, чтобы во весь день важных дел не встречалось. Разговаривая с Бироном все по-немецки уже ласковым тоном, изволили прохаживаться по бильярдной взад и вперед и останавливались нередко у окна, из которого видна была начатая стройка ледяного дома. Этим случаем воспользовался Бирон, чтобы хвалить усердие Волынского в исполнении малейшей воли государыни. Такие отзывы льстили сердцу ее величества, и она не упустила случая благодарить своего любимца за беспристрастие. Изъявили также желание, чтобы между первыми сановниками государства, которых она столько любила, отдавая, однако ж, преимущество, по справедливости, одному, существовал всегда мир, который будто, как до нее дошло, колебался...

— Каждому свое,— говорила государыня,— вам, кажется, делить нечего.

Тронутый герцог, со слезами на глазах, поклялся даже сделать уступки своих прав Волынскому, чтобы только угодить обожаемой государыне. В сердце же клялся помириться с ним тогда лишь, когда увидит голову его на плахе. Он убежден был тайною запискою, найденною в карете, что еще не время действовать решительно, и потому скрыл глубоко свою ненависть.

С другой стороны, кабинет-министр, отуманенный любовью и довольный, что государыня отвлечена от него жарким разговором с Бироном, забыл свою вражду. Он спешил воспользоваться этим случаем, чтобы подойти к княжне Лелемико. Любовь, стыдливость, которой не учили ее в гареме, а научила сама природа, били ключом из сердца ее и выступали на щеках румянцем, в глазах — томительным огнем. Когда Артемий Петрович подошел к ней, из-под длинных ее ресниц блеснуло выражение сердечного участия, дрожащие уста ее сделали вопрос:

— Здоровы ли вы?

— Я был болен, очень болен,— отвечал Волынской,— и хотел было умереть.

Слеза навернулась на ее глазах; она покачала головой, как бы хотела сказать: «Безжалостный! что вы со мною делаете?..» — и сказала вслух:

— Должны быть важные причины на это?

— Вы презрели моими страданиями, и для чего ж мне после жить!.. Но я хотел еще раз вас увидеть, еще раз упиться этим блаженством, и потом... да судит бог!..

Не моя вина! Зачем перенес он вас в Петербург? зачем испытывать было надо мною обольщения вашего небесного взгляда?.. Я человек; а надобно быть камнем, чтобы провести свое сердце сквозь такие испытания...

Мариорица не отвечала, но взор ее наградил Волынского самою пламенною, самою нежною любовью. Дрожа, она положила на окно платок, из которого он мог заметить уголок свернутой бумажки. Это был ответ, который княжна написала, вставши поутру, но, за отсылкою «Телемахиды» сметливою служанкою, не могла доставить к Артемию Петровичу.

Ах! как любила Мариорица!.. Любовь разлилась в ней пожаром, во сне палило ее муками, нежило роскошными видениями, наяву мутила все ее думы, кроме одной, что Волынской сведен в ее душу самим провидением, не как гость минутный, но как жилец вечный, которому она, раба, друг, жена, любовница, все, чем владеет господин на востоке и севере, должна повиноваться, которого должна любить всеми помышлениями, всею душою своей, которого так и любит. И могла ль она после этого не отвечать на письмо его? Девушку с европейским воспитанием испугали бы в таком случае расчеты приличия, страх общественного мнения; она, пламенное дитя Востока, боится только гнева, холодности своего владыки. Мариорица полюбила не постепенно; страсть ее не созрела временем, пожертвованиями, оценкою достоинств любимого предмета — она вспыхнула в один миг, в один миг ее обхватила, и Мариорица не может уже любить ни более, ни менее, сколько любит. Ни у кого не спрашивалась она совета на эту любовь: ни у рассудка, ни у сердца, ни у людей. Любовь послана ей свыше, как фирман[1] султана его подданному: слепое исполнение или гибель!.. Никому не поверяет она своих чувств: если бы она это сделала, ей бы казалось, что она делит их с другим.

Волынской видит роковую бумажку, догадывается, что это ответ на его письмо, и не имеет возможности ее взять. Шуты беспрестанно шныряют около них, подмечают их взгляды, подслушивают разговор, следят движения, но добыча шпионов небогата на этот раз. Разговоры влюбленных отрывисты, перемешаны каббалисти-

---

[1] Указ *(перс.)*.

кою слов, непонятных для черни, похищенных из другого, высшего мира. Волынской благодарит Мариорицу за жизнь, которую она дарит ему, которую обещает он ей посвятить. Он просит дозволения прислать к ней цыганку за ответом. Цыганка заслужила его доверие: можно ли отказать? Взоры княжны, увлажненные любовью, то останавливаются на нем, то застилаются черными длинными ресницами; он пьет ее душу в этих взорах, он черпает в них море блаженства. Смущение их обнаружило бы скоро их страсть, если б голос императрицы, зовущей к себе княжну, не спас их от подозрения.

Волынской блаженствует; он торжествует заранее и, смотря на все в волшебное стекло любви, видит в своем враге ловкого, умного любимца императрицы. Они беседуют, шутят друг с другом, как будто никогда не ссорились, и государыня утешается, что согласие водворилось между ними так скоро по манию ее воли.

Анна Иоанновна сидела на штофном диване, расположенном вдоль внутренней стены комнаты; несколько ступеней, обитых богатыми коврами, вели к нему. Мариорица уселась у ног ее на верхней ступени.

— Как разгорелась ты, прекрасное дитя мое! — сказала государыня, обвив ее шею своею рукой и поцеловав ее в лоб.

От этого движения свалилась с головы княжны шапочка, и черные длинные косы пали ей на колена. Как она была хороша в эту минуту!.. Сама государыня посмотрела на нее с восторгом матери, подняла ей косы, обвила ими дважды голову, надела ей шапочку несколько набекрень, по-русски, полюбовалась опять на нее с минуту и, с нежностью потормошив ее двумя пальцами за подбородок, примолвила:

— Какая милушка!

Все в комнате примолкло; самые шуты не шевелились, будто страшась нарушить это занимательное зрелище. Волынской стоял, как вкопанный: он пожирал Мариорицу глазами, он весь был у ног ее. На беду, княжна сидела по-восточному, и одна ножка ее, обутая в башмачок, шитый золотом, уютная, как воробышек, выглядывала из-под платья и дразнила его пылкое воображение. Государыня заметила силу его взглядов и сказала шутя, закрыв рукою лицо княжны:

— Господин Волынской, не сглазьте ее у меня. Вы смотрите на мою Лелемико, как лисица на добычу. Я с вами поссорюсь за это.

Волынской отвечал, как придворный, что он не мог не заплатить невольной дани красоте.

— И я ли один,— прибавил он,— виноват в этом проступке: ваше величество женщины, и сами не скрываете своего восторга при виде на княжну.

Разумеется, похвалы заставляли Мариорицу еще более краснеть, хотя и были ей приятны.

Во время этой сцены Бирон, чтобы избавиться от невольного обольщения, или для того, чтобы не мешать страсти Волынского расходиться более и более, на собственную его гибель, ласкал государынину собаку и, казалось, на нее одное обратил свое внимание. Наконец, он сказал:

— Ваше величество изволите женить Кульковского; вот и свадебный дом строится, но о невесте не было еще слова.

— Ваша правда, подойник готов, а коровы еще нет,— отвечала, смеясь, государыня. (Бирон успел предупредить ее насчет барской барыни, сказав, что эта пара будет презабавная.) Надо,— продолжала она, подозвав к себе Кульковского,— положиться на его вкус. Послушай, дурак, выбирай во всей империи, только не при моем дворе; даю слово, что, если изберешь достойную себя, не откажу быть твоею свахою.

Низко поклонился жених, положил руку на сердце, тяжело вздохнул и объявил, что страдает денно и нощно по госпоже Подачкиной и умрет, если она не будет его супругой.

— О ве, о ве! иссохнет бедный до второго пришествия, как спицка! — подхватил Лакоста.

— Oche bella armonia! — прибавил Педрилло,— corpo di bacco! [1] одна толст, как бас, а другая тоненька фагот.

— Не парочка, а чудо! — вскричал Балакирев,— в пустую бочку поселится саженная змея.

— Кто ж эта знаменитая Подачкина, на которую пал такой счастливый жребий? — спросила государыня.

— Не знаю, ваше величество,— сказал Бирон.

— Моя барская барыня,— отвечал, смутясь, Волынской. (У него вертелись в голове темные догадки насчет ее.) — Только удивляюсь очень, каким образом наш Па-

---

[1] О, какая прекрасная гармония! черт возьми! *(ит.)*

рис, не сходя со стула в приемной его светлости, мог подметить такое сокровище, которое хранится у меня за тридевять замками.

— Надеюсь, господин Волынской, что вы не подожжете моего дворца, если мы похитим вашу прекрасную... как бишь? за которую дрались греческие цари?

— Елену! — подхватил Бирон.

— Да, хоть Алену?

— Боже меня сохрани! — отвечал Волынской.

— Так вы уступаете мне свою красавицу?

— С большим удовольствием.

— Благодари же, дурак!

И Кульковский, расшаркавшись перед кабинет-министром, рассыпался, как умел, в благодарности.

— Эта свадьба делается с позволения вашего, государыня,— сказал Бирон пасмурно,— но есть особы при вас, которые давно женаты и скрывают это от вашего величества.

Педрилло пал на оба колена и, зарюмив, вопил жалобным голосом:

— Виноват, матушка, только не снимай повинна головка.

— Как! у меня во дворце? без моего позволения? — сказала с неудовольствием Анна Иоанновна.

— Серсе приказал: лупи, а кто можно против серсе на кулачка маршир. Ах! если бы ваш величество видел la mia cara[1], то простил моя. Глазка востра, бел, как млеко, нежна голосок, как флейтошка, ножка тоненька, маленька, меньше, шем у княжен, проворно тансуй, прыжки таки большa делай и така молоденька!..

Описание своей любезной сопровождал Педрилло страстною и отчаянною мимикой, прижимая то руки к сердцу, то вскидывая глаза к небу.

— Истину слов его,— сказал Бирон серьезно,— и я могу засвидетельствовать.

— Да это должна быть какая-нибудь танцовщица! Кто ж она? — спросила государыня.

— Не смей моя сказать... (Педрилло, испуганный, бледный, дрожал всем телом; холодный пот капал со лба.)

— Говори, я тебе приказываю.

— Девушка, жил здесь во дворес.

---

[1] Мою дорогую *(ит.)*.

— Имя!.. что ж...

— Ах! страх моя берет и таскать душку во ад. Не казнишь моя...

— Говори, а не то...— вскричала с гневом государыня.

— Дочь... дочь, ох! придворна...

— Ну?..

— Дочь... придворна коза.

— Козы! козы! — раздалось по комнате.

Государыня хохотала от всего сердца, смеялись и другие, сколько позволяло приличие.

— Если так,— сказала она,— то прощаю от души нарушение законных прав в моем дворце.

— Моя женка родил вчера, и когда ваш величество простил моя, так я прошу пожаловать на родина.

— А?.. понимаю! Плут знает, что у русских есть обычай класть на *зубок* деньги. Твоя шутка стоит награды. Хорошо; даю слово быть к тебе, и сама назначу для этого день. Герцог, вы не забудете мне об этом напомнить?

— Могу ли забыть то, что вам делает удовольствие? — отвечал Бирон.

— Случается это с вами...— прервала шутя государыня и обратила опять речь на свадьбу Педриллы.

Долго еще смеялись его лукавой затее; наконец, вышли все из бильярдной, иные из дворца, каждый унеся на свою долю больший или меньший участок удовольствия, которое доставило им короткое время, проведенное в этой комнате. Один старик Балакирев уносил на своей спине боль от полученных ударов.

По приезде Бирона домой Липман имел еще дух доложить своему патрону, что исполнительный Гроснот найден в своей комнате застреленным, вероятно вследствие побега конюхов, обливавших Горденку. Обратить свой гнев на Липмана было опасно, и потому решились временщик и клеврет его стараться отыскать тайных производителей этого дела и устремить всю коварную политику свою на исполнение прежде начертанных планов. Лучших, более действительных, нельзя было и придумать.

Вместо одного Гроснота Бирон нашел их десяток: на низких людей никогда не бывает недорода.

Глава IX

ПРИПАДОК

> Часто в пылу сражения царь задумывался о своем царстве, и посреди боя оставался равнодушным его зрителем, и, бывши зрителем, казалось, видел что-то другое.
>
> *Опал. И. К.*

> Влюбленное сердце перемогло честолюбивую душу, и с тайными слезами я продаю свободу свою за безнадежное счастие.
>
> *Марлинский*

Волынской обещал прислать цыганку к княжне Лелемико, и первой его заботой было приказать отыскать ее. Несколько дней поиски были тщетны. Мучимый желанием скорей прочесть ответ Мариорицы, он решился прибегнуть к помощи увалистого Тредьяковского так, что мог бы воспользоваться ею, не вполне открыв ему цель этого содействия. На беду, творец «Телемахиды» страдал только завистью — болезнью мелких душ. Он писал к Артемию Петровичу, что изнемог духом и телом, видя несправедливость к нему соотечественников, унижающих его пред сочинителем оды на взятие Хотина, и что он до тех пор не может приняться за служение музам и своему меценату, пока не исходатайствуют ему кафедры элоквенции и указа на запрещение холмогорскому рыбачишке писать. В тогдашнее время было еще мало пишущей братьи, а то посредственность не преминула бы составить заговор против юного таланта, расправлявшего могучие крылья. Разумеется, проситель удостоился от благородного и умного вельможи, чего стоил,— эпитетов подлого и злого дурака. С первою ж почтою богатый подарок отыскивал странника Ломоносова.

Несколько дней Артемий Петрович не имел случая видеть Мариорицу, и страсть в эти дни так успешно забрала над ним власть, что сделала его совершенно непохожим на себя. Он блажил, как ребенок, был то взы-

скателен и нетерпелив, то холоден к своему делу и слаб. Советов Зуды он вовсе не слушал; сначала сердился на него, потом стал его удаляться; наконец, не имея около себя никого, с кем мог бы поделиться душою, обратился опять к нему, с условием, однако ж, не раздражать его противоречием.

— Стоит только,— говорил он ему,— получить мне от тайного нашего поверенного условленный пароль, и хандра моя, как чад, пройдет. Верь мне, время это очень близко. Государыня стала чаще сердиться на Бирона и даже сделала опыт лично изъявить ему свой гнев. Недаром скрывает он обиду, которую я нанес ему и которую ни простить, ни забыть нельзя. Это уж означает его слабость. Два-три дня решительного гнева государыни на него — и тогда одно слово, только одна мысль о слезах и крови моих соотечественников, о России, молящей меня быть заступником своим, и я бегу исполнить свой долг и умереть, если нужно, за святое дело. Тогда не будет места в сердце ни другу, ни Лелемико, ни одному живому существу на свете. Постригусь отечеству, произнесу роковой обет и вырву все земное из земного сердца. А теперь, воля твоя, не могу, не в силах... я еще не в святой ограде... дай мне насладиться за нею благами мирскими, насмотреться на прекрасные очи, наслушаться волшебного голоса, и потом — готов хоть на плаху!

Зуда, слушая его, качал печально головой, пожимал слегка плечами — делать было нечего.

Когда уведомили Волынского, что Подачкин произведен в офицеры вопреки его воле, он махнул рукой и сказал:

— Хоть бы в сенаторы!

Когда Зуда известил его, что замороженный Горденко зарыт на берегу Невы в известном месте и готов встать из своего снежного гроба, чтобы обличить Бирона в ужасном злодеянии, Волынской отвечал:

— Хорошо! но пусть подольше не тревожат этого несчастного трупа. Бедному и по смерти не дадут покоя.

Узнав, что конюхи Бирона, возившие ледяную статую на Неву, бежали в деревни Артемия Петровича и готовы в свидетели, он сказал своему секретарю:

— Челнок их в пристани; не трогайте его с места. Напротив, употребите все средства, чтобы обеспечить их от опасности. Наше дело подвизаться и гибнуть за оте-

чество, если нужно: в гербу каждого дворянина вырезаны слова чести, долга, славы; сердце каждого из нас должно выучить эти слова с малолетства, тотчас после заповедей господних. А конюхов зачем неволею тащить, может быть, на гибель за предмет, которого они не понимают?..

Раз какой-то нищий в сумерки у подъезда подал ему бумагу и скрылся. Это был подлинный донос Горденки, доставленный Липману цыганкою и потом переданный самому Бирону. Сокровище для кабинет-министра! Не видав доноса, он не мог иметь понятия о драгоценных тайнах, в нем заключавшихся. Артемий Петрович обрадовался было этой находке и вместе чего-то испугался. «Не ведет ли эта роковая бумага,— говорил он сам с собою,— к решительной минуте и к разлуке с Мариорицей, как она привела несчастного Горденку к ужасной смерти?»

Думал ли Волынской о своей супруге? Уж конечно! Но каковы были эти думы!.. Страшная борьба происходила сначала в душе его. Он ценил любовь ее, ее доброту и любезность, обвинял себя в неблагодарности, мучился, терзался, как преступник, проклинал свою слабость и все это кончал тем, что жил одною любовью к Мариорице. Портрет жены казался ему беспокойным обличителем, давил его своим присутствием — портрет был снят и поставлен на бюро. Боясь, чтобы она не приехала, писал к ней, что он сам скоро будет в Москву проездом, по случаю данного ему от правительства поручения, и чтобы она его там дожидалась. С трудом повиновалось перо, и сердце поворачивалось в груди, когда он уверял ее в нежной неизменяемой любви. Не сроднившись с обманом, он тем более мучился, употребляя его. Между тем, доведенный своею страстью до исступления, ломал голову, как бы развестись с женой, и уж заранее искал на этот случай в главных членах синода. Она не родила: какой еще лучшей причины к разводу?.. Не он первый, не он и последний!

Не могли ничего над ним и предостережения тайного друга, чтобы он берег себя более всего от себя ж. «Ваша любовь к княжне Лелемико погубит вас,— писал к нему аноним,— она известна уж вашим врагам и служит им важнейшим орудием против вас».

— О! эти затейливые опасения,— говорил Волынской,— дело моего слишком осторожного Зуды. Пустое!

одна любовь не помешает другой. Я сказал уж ему однажды навсегда, что не покину намерения спасти мое отечество и не могу оторвать княжну от своего сердца.

Чем более Волынской в эти дни душевного припадка показывал себя слабым, тем усерднее работал за него Зуда и тайный поверенный кабинет-министра, как мы и видели уже выше. Они верили, хотя и с боязнью, по опытам благородного характера его, что одно чувство должно в нем в решительные минуты восторжествовать над другим. И потому не упускали случаев и времени быть ему полезными в борьбе с сильным, коварным временщиком. Против подкопов его и Липмана проводили они свои контрмины, не менее надежные; но и те большею частью принуждены были скрывать от Артемия Петровича, любившего сражаться в чистом поле.

Надо еще упомянуть о том, что случилось поздно вечером в самый день, как он виделся с княжною в бильярдной дворца. Сидел он в своем кабинете с Зудой и рассказывал ему свою заносчивую ссору с Бироном, скорбя, что не послушался советов друзей. Вдруг за стеной кабинета, в гардеробной, кто-то застонал, и вскоре раздался визг и крик.

— Что это такое? — спросил Артемий Петрович, вздрогнув и вскочив с канапе,— не режут ли уж кого у меня в доме?.. Чего доброго!

— Не могу понять, что бы это такое было,— отвечал секретарь.

— Батюшки! — раздалось снова,— батюшки! спасите от нечистого! Пустите христианскую душу на покаяние.

Волынской и Зуда бросились на этот крик в гардеробную, но в ней, за темнотой, нельзя было ничего различить. Только слышно было, что хрипел человек, выбивавшийся из шкапа, который стоял у стены кабинета. Подали свечи, и что же представилось? Барская барыня в обмороке, растрепанная, исцарапанная, и араб подле нее, хохотавший от всей души.

— С ума ты, видно, сошел,— сказал с сердцем Артемий Петрович,— что вздумал так пугать старую женщину!

— Не женщину, а поганую ведьму,— отвечал араб, коварно усмехнувшись.— Жаль, что она совсем не околеет.

— Что это все значит?

— А вот что, сударь. Давно подметили мы с господином Зудою проказы ее. Лишь только к вам в кабинет их милость или какой ваш благоприятель, этот бес в юбке тотчас в гардеробную, и всякий раз, слышу, дверь на запор. Взглянул я однажды в комнату: ни душонки в ней! Кой черт, думал я, куда она пропадает? В другой будь я умнее — следом за ней караульный глаз в скважину и вижу: разбойница вошла в шкап и пробыла там все времечко, пока у вас оставались гости. Дай-ка порасскажу об этом господину Зуде; тут, думал я, промаху не будет. Поцеловал меня его милость за эту весточку, настрого приказал до поры молчать — извольте же видеть, сударь, почему я не смел пораскрыть нашу тайность. (Глаза араба заискрились, и улыбающиеся черные губы его показали два ряда жемчужин.)

— Виноват, что посердился на тебя, друг мой,— сказал Волынской.

— И больше бы погневались, сударь, так беда невелика. Потом... потом... да, его милость господин Зуда подметил на днях в кабинете за канапе просверленную дырочку. Смекнули мы, что это щель из шкапа гардеробной. Подделали ключ — маршалок был с нами заодно,— ныне успел я в сумерки забраться в дозорную будку, затворив за собою исправно дверь. Пошарил в шкапе и нашел преисправную щель, из которой все слышно, что говорится у вас в кабинете. Вот почуяла чутьем наша жар-птица, что у вас будет с его милостью потайной разговор, и шасть ко мне под бочок. «Милости просим, кукушечка, к стрелку поближе!» — сказал я про себя. Только что приложила она ухо к щели, я ей в бок булавку. Почесалась она и опять за свою работу. Тут уж запустил я ей стрелку поглубже так, что она порядком охнула, сотворила крестное знамение и примолвила: «С нами сила крестная!» Окаянная! мало, что людей морочит, и бога-то хочет обмануть!.. Дал я ей вздохнуть крошечку да как схвачу ее вдруг в охапку и начал душить, щекотать, кусать... ну, была такая потеха, сударь, что рассказать не сумею... все жилки надорвал со смеху. А теперь (араб ужасно взглянул на свою жертву) ох! кабы моя воля... нож ей в бок — одним крокодилом на свете меньше!

— Она умерла,— сказал один из слуг, составивших кружок около барской барыни.

Он взял ее за руки, и руки упали окоченелые на пол.

— Пустить ей кровь! — примолвил другой,— вспрыснуть ее холодной водой.

— А лучше плеткой! — перебил маршалок.

— Ах! вспрыснуть водой,— возопила вдруг плутовка, открыв несколько глаза.

Волынской с презрением отворотился от нее и сказал дворне:

— Выбросьте эту поганую кошку вон сию ж минуту за ворота со всеми ее пожитками. Чтоб духу ее здесь не пахло!

— И вот, наконец,— сказал Зуда, когда они возвращались в кабинет,— ваш домашний шпион у вас в руках! Я советовал бы вам допросить строжайше эту неблагодарную тварь.

— Не пытать ли ее по-бироновски?.. Ну ее к черту! Пропавшего не воротишь. А что до благодарности, не говори мне об этом, друг мой! Ты знаешь, сколько я сам виноват пред одной особой (он разумел жену); чего ж ожидать от черни?..

Известно, что слуги всякого рода любят быть приятными своим господам, усиливая приговоры их. Благородному Артемию Петровичу нельзя было угодить таким образом; но дворня, ожесточившись против барской барыни, удовлетворяла в этом случае только своему негодованию. Невесту Кульковского, снова упавшую в обморок, отнесли за ворота с ругательствами всякого рода и с горячим телесным уроком и выбросили на снежный сугроб. Туда ж принесли ее имущество. Опозоренная, измученная, волоча кое-как за собою пожитки, которые только могла укласть в огромный узел, боясь в полуночные часы попасть на зубок нечистому, увязая не раз в сугробы снежные, она не раз вычитывала с ужасом: «Батюшки, мои светы! вынеси, самсонова сила, легкое перо!..» Наконец, полумертвая, она дотащилась едва к утру до жилища Липмана. Здесь оказали ей всякую помощь, какую требовали ее подвиги и сан Кульковского невесты.

Однажды утром доложили Артемию Петровичу, что цыганка отыскана и приведена. Это известие обрадовало его.

— Только боимся ошибиться, она ли еще, сударь,— говорил посланный.— Голос ее, пол-лица также ее, а с другой стороны — урод уродом. Цыган при ней тот же,

что и прежде ходил с пригожей Мариулой. Стоят на том, что она и есть, и божатся, и клянутся, а может, сударь, морочат.

— Нет ли в воздухе какой заразы, что все стали бредить! — сказал Артемий Петрович,— введите ее ко мне.

Ввели цыганку в кабинет, в котором никого, кроме него, не было. Один глаз у ней был закрыт пуком волос, правая щека фатою.

— Мариула, это ты? — спросил Волынской.

— Я, господин, но только не пригожая, таланливая Мариула, на которой ты останавливал свои высокие очи. Со мною случилась беда... я обварилась кипятком и... признаешь ли меня теперь?

Голос ее дрожал. Она подняла фату и пук волос. Щека, в одном месте исписанная красными узорами, в другом собранная рубцами, синекровавая яма наместо глаза — все это безобразие заставило Артемия Петровича отвратиться.

— Что, барин?.. Вот ваша хваленая красота!

Брезгливо вскинул он взоры на нее, махнул рукой, чтобы она закрыла по-прежнему свое безобразие, и, когда она это исполнила, посмотрел на нее с жалостью, глубоко задумался с минуту, наконец сказал:

— Мне твоя красота не нужна, Мариула, а нужна твоя верность, твой ум.

— Я уж раз докладывала вам: рада вам служить, добрый господин,— отвечала цыганка с живым участием.

Тут Волынской признался, что он любит княжну Лелемико и что она к нему неравнодушна.

Щека цыганки загорелась.

— Что ж далее?..— спросила она с нетерпением.

— Вот видишь, я писал к ней; ответ ее готов, но ей не через кого переслать его... Ты должна сходить во дворец и получить записочку.

— С радостью...— отвечала Мариула, запинаясь, как будто стоял у ней кусок в горле.

И дрожащий голос ее и белые пятна, выступившие на пламенной щеке, изменяли ее душевному беспокойству. Мысль, что мать... сама... Но она это делала для блага своей дочери. Может статься, Артемий Петрович хочет только погубить Мариорицу!.. Поверенная их тайн, она будет иметь возможность ее спасти...

— Только с условием,— примолвила она умоляю-

щим голосом,— буду помогать тебе всем моим разумением, всем лукавством, да... смотри, добрый, милый, честный барин, не сделай несчастною бедную девушку... Говорят, я уж успела выведать... сирота круглая, не имеет ни отца, ни матери, с чужой стороны... не доведи ее до погибели, побойся бога, женись на ней.

— О! да с какими же ты причудами!.. это дело свахи и попа.

— А что ж я, как не сваха!.. Вот видишь, барин, я много уж грехов приняла на свою душу: бог за то и наказал меня. Мы хоть и цыгане, а знаем бога. Пора мне жить честно. Коли не примешь моего условия,— прибавила она с твердостью и жаром,— я и дел никаких начинать не стану. Что ж?.. женишься?..

— Уж конечно!.. Для чего б иначе!..

— Поклянись.

— Как же ты неотвязчиво требуешь!.. Странно!.. Однако ж... пожалуй, клянусь...

— Всемогущим богом... Слышишь?

Голос Мариулы был грозен, одинокий глаз ее страшно сверкал; в душе Волынского совесть невольно забила тревогу.

— Уж конечно... Им...— сказал он, смутясь,— если только позволят...

— Кто ж?

— Например, государыня.

— О, чего бояре не выхлопочут, когда только захотят. Помни, господь карает тех, кто преступает клятву.

Волынской старался усмехнуться.

— Право, ты, Мариула, годишься в проповедники.

— Побоишься суда небесного, так начнешь говорить и проповеди. Теперь мы условились: ты будешь иметь пригожую женку; сиротка найдет себе доброго, знатного, богатого мужа; а я буду с фатой... не забудь же фату за первый поцелуй... и душа моя не даст ответа богу, что погубила мою... мою красавицу... Хоть и не видывала ее, но люблю-таки, сама не знаю почему... может статься, потому, что сама была в такой беде, как она. И меня погубил когда-то такой же красивый барин, как и ты... (Мариула утерла навернувшиеся на глазу слезы.) Когда-нибудь я тебе это расскажу. Но я не плакать пришла, а дело делать. Жду твоего наказу.

Позван был араб и получил наставления провесть

цыганку во дворец к княжне Лелемико. При наказе Мариуле, чтобы она исполнила хорошенько поручение, Артемий Петрович хотел пожаловать ей золотую монету. Но цыганка с гордостью оттолкнула руку его, обещаясь, впрочем, взять деньги, когда все уладит.

Глава X

ПОСЛАННИЦА

Родная мать... О боже! мать родная
Ей в руку чистую влагает нож;
Ведет ее сама к ужасной бездне
И думает: веду ее к венцу,
На ложе пышное любви и счастья...

Не столько тревожит любовника первое тайное свидание с любимым предметом, как тревожило Мариулу свидание с княжною Лелемико. Радость и страх видеть так близко дочь свою, говорить с нею до того волновали ее кровь, что занимался у нее дух; в голове и сердце ее стучали молоты. Несколько раз дорогою останавливалась она, чтобы перевести дыхание.

— Смело за мною,— сказал араб, входя на крыльцо у маленького дворцового подъезда, и потом, изредка оборачиваясь к своей спутнице и ободряя ее взором, повел сквозь саранчу придворных слуг по извилинам лестниц и коридоров.

Было близко к девяти часам утра; но все во дворце еще ходило полусонное.

Мариула выставила тут вполне свое безобразие.

— Куда ведешь этого урода? — спрашивали араба любопытные.

— Куда приказано,— отвечал он,— много знать будете — состаритесь.

Иногда отделывался на нескромные вопросы молчанием; кому нужно говорил, что герцог хочет ввести к государыне цыганку, которая чудная гадальщица.

— Мысли читает, братец,— говорил он,— знает, что с тобою было, что будет и какою смертью умрешь.

Такие рассказы возбуждали во многих желание познакомиться с чудною ворожеею. Суеверие — общая слабость людей во всех званиях.

В одном коридоре, где ходили тихо, на цыпочках, Николай вызвал чрез камер-лакея арабку, привезенную с ним вместе в Россию. Он сказал ей что-то по-своему. Молодая пригожая негритянка, с коралловым ожерельем вокруг черной шеи, в белой шерстяной одежде, умильно улыбнулась своему соотечественнику,— в этой улыбке было что-то более, нежели дружеское приветствие,— кивнула ему курчавою головкой, давая знать, чтобы следовал с своей подругой за нею, привела их к одной двери в коридоре, отворила осторожно дверь и, всунув в отверстие голову, сказала:

— Княжну спрашивает женщина. Можно войти?

— Кто там? — раздался приятный голос, пробежавший по всем струнам Мариулина сердца. Ноги ее готовы были подкоситься.

— Какая-то цыганка вас спрашивает,— отвечала арабка.

Едва слово «цыганка» было произнесено, послышалось, что кто-то опрометью бросился со стула или другой мебели и вслед затем кто-то произнес уже дрожащим голосом:

— Пускай войдет!

Араб с своею соотечественницею отошли в сторону, чтобы потосковать о родине, шепнуть друг другу слово любви и между тем задержать в коридоре служанку княжны, вышедшую за завтраком. Мариула поспешила закрыть свое безобразие, но, за скоростью и боязнью, сделала это так неловко, что при входе ее в комнату страшный глаз ее, будто впадина в черепе мертвеца, и багровые швы, которыми было исписано полулицо, первые бросились в глаза княжны.

Мариорица была одна в комнате. Она едва не вскрикнула, увидав циклопа в образе женщины, и сделала шага два назад, трясясь и смотря на нее с большим отвращением. В эту минуту она забыла даже о цели посещения этой чудной посланницы.

Трепет сообщился и Мариуле; к нему примешалось и чувство унижения. Она остановилась у дверей, как бы готовая распасться. В таком положении находились обе несколько мгновений: одна — как бы умаливая одиноким своим глазом простить ей ее безобразие, другая приучая себя к виду этого безобразия мыслью о том, кто послал ее. Первая, призвав на помощь все присутствие духа, старалась поправить свои волосы на кровавую впадину, стянуть фату на щеку и стать в такое

положение, что одна пригожая сторона лица ее была видна Мариорице. Этот маневр помирил их.

— Что тебе надобно? — спросила, наконец, Мариорица.

— Вы... сударыня... знаете, зачем... Артемий Петро...— Язык ее с трудом двигался.

При этом магическом имени княжна забыла прежний страх. За несколько мгновений она боялась взглянуть на цыганку, теперь готова была обнять ее. Боязнь заменил стыд поверить другой... незнакомой женщине свои тайны сердечные. Вспыхнув, она перебила торопливо речь посланницы:

— Так *он* прислал тебя?.. Какая ты добрая!.. Садись, милая! Не оскорбила ли я тебя?..

Мариула воспользовалась этим сердечным волнением и робко, униженно, как собака, которую побил хозяин и зовет опять, чтобы приласкать, подошла к княжне, соразмеряя свои шаги с впечатлением, которое выказалось на лице ее.

— Оскорбить! О, нет!..— сказала цыганка с особенным чувством,— меня... ты... вы... может ли это статься! Да, Артемий Петрович правду говорил, что я найду добрую, прекрасную барышню...

Она повела по всей фигуре княжны свой блестящий, одинокий глаз, в котором горела любовь самая нежная, самая умилительная; любовалась красотою своей дочери, пламенем очей ее, правильностию коралловых губ; этим одиноким глазом осязала шелк ее волос, обвивала тонкий стан ее, целовала ее и в очи, и в уста, и в грудь... И могла ли она вообразить себе, чтобы эта самая прекрасная княжна, живущая во дворце, окруженная таким очарованием счастья, была некогда маленькая цыганочка Мариула, в худых, суровых пеленках, под разодранным шатром?.. Прочь, прочь эта мысль!..

Когда цыганка примечала, что тень боязни снова набегала на лицо княжны Лелемико, она произносила опять волшебное имя Волынского. Таким образом дошла до того, что могла взять ее руку... И мать с трепетом, с восторгом неописанным поцеловала руку своей дочери... О! как была она счастлива в этот миг!.. Она была награждена за все прошлые муки и за будущие.

— Жаль мне тебя, милая,— сказала Мариорица.— Отчего ж у тебя половина лица так испорчена?

— Вот видишь, добрая барышня, у меня была доч-

ка, лет шести. Случись у нас в доме пожар. Кто подумает об дочери, как не мать! Что дороже для нас, как не дитя! Я хотела спасти ее, упала под горящее бревно и обожгла себе половину лица.

— Пожар!.. пожар!..— твердила Мариорица, приводя себе что-то на память.— А где это было?

— Далеко, очень далеко; где ж вам и знать этот край! В Яссах.

«И я родилась в Яссах!.. и меня спасли в пожаре!..» — думала княжна, потом сказала:

— Так ты моя землячка! Я сама ведь тамошняя.

— Полюби меня, милая, хорошая барышня! Хоть ты и знатная госпожа, а я бедная цыганка, но все-таки из одного края.

— О! как же! как же!..

И Мариорица взяла за руку цыганку и посадила ее подле себя.

— Что ж? ты спасла свою дочку?

Мариула боялась сказать лишнее и отвечала:

— Нет, бедная погибла в огне; и косточек ее не нашли.

Жалость обнаружилась на лице доброй девушки; слезы навернулись на ее глазах.

— О, с этих пор ты можешь открывать при мне все лицо свое. Я не буду тебя бояться... Бедная! и что ж, у тебя была только одна дочь?

— Только одна!.. Извините... сударыня, если я вам скажу... она походила на вас очень, очень много.

Тут Мариула опять с нежностью схватила руку тронутой княжны, крепко, сладостно осязала ее в своих руках, еще раз поцеловала ее, и княжна оставила цыганку делать, что она хочет, и сама ее поцеловала.

Но горничная могла прийти и расстроить беседу, огражденную столь хорошо случаем от беспокойных свидетелей. На этот раз покуда довольно было для матери... Она напомнила о письмеце. Торопливо вынуто оно из груди, теплое, согретое у сердца.

— Если *он* поручил тебе взять его, — сказала Мариорица, отдавая свернутую бумажку,— так я тебе верю.

— Бог, ты да я будем только знать,— отвечала цыганка и, намолив княжне тысячи благословений господних, вышла от нее в упоении восторга.

Артемий Петрович ожил, получа письмо: чего не сказал он посланнице! Он готов был ее озолотить.

В бумажке, которую принесла она, заключалось следующее:

«*Понедельник, поутру.*

Вы требовали ответа на свое письмо: вот он. Тут *мое все*: и стыд, и мнение ваше, и жизнь моя! Возьмите это *все* в дар от меня. Не думала я долго, писать ли к вам: мое сердце, ваши муки, сама судьба приказывали мне отвечать.

Вы, верно, хотите знать, люблю ли вас? Если б я не боялась чего-то, если бы меня не удерживало что-то непонятное, я давно сама бы это вам сказала. Да, я вас люблю, очень, очень. Это чувство запало ко мне глубоко в сердце с первой минуты, как я вас увидела, и пустило корни по всему моему существу. Так, видно, хотел мой рок, и я повинуюсь ему. Неведомое ли мне блаженство вы мне готовите, или муки, которых я до сих пор не знаю, я не могу, не хочу избегнуть ни того, ни других.

Поутру же.

Я хотела послать к вам мой ответ в толстой книге учителя; да уже ее отослали. Ах! как досадно! Что подумаете вы? Глаза мои красны от слез.

На другой день.

Ты сказал, что умрешь, если не буду тебе отвечать. Видишь ли? я все сделала, что ты хотел.

Теперь будешь ли жить? скажи, милый!

Для чего не могу угадывать твоих желаний?.. Если нужна тебе моя жизнь, возьми ее. Для чего не имею их тысячи, чтобы тебе их отдать?

Вместо *вы* пишу *ты*, по-своему, не по-здешнему. Если б ты знал, как это сладко!.. Пиши так же.

Среда.

Все нет посланницы! И тебя не вижу. Здоров ли? боюсь спросить у сторонних.

Теперь знаю, как сладко и как мучительно любить!

Вечером.

Девушка к тебе пишет, и что она пишет?.. Знаю, это очень дурно по-здешнему. Мне самой стыдно прочесть,

что я написала. В Хотине, сказывали мне, там за это казнят. Но я не могу превозмочь, что свыше меня... И, прочитав мое письмо, продолжаю, и в Хотине я писала бы к тебе.

Я спрашивала своих подруг, какое самое нежное имя на русском; милый, голубчик — сказали они. И я говорю тебе это имечко, потому что другого нежнее не знаю. Может быть, они меня обманывают, а может быть, они никогда не любили по-моему. Каких сладких имен не насказала бы я тебе по-молдавански, по-турецки!..»

В своде законов сердечных отыщите статью: *о письмах*, и вы там найдете, что первое письмо между влюбленными не бывает никогда последним, сколько бы ни клялась слабейшая половина не писать, не отвечать более. Этот клубок, раз выпущенный из рук под гору, разматывается до тех пор, пока оборвется или израсходуется. И потому, в силу этой статьи, переписка продолжалась между нашими влюбленными. Волынской пускал к Мариорице страстные посылки, от которых бросало ее в полымя и она теряла малейший остаток спокойствия. Мечтать о нем было уже для нее мало; видеть его, быть близкой к нему, говорить с ним и не наговориться — сделалось потребностью ее жизни. Она видела, слышала, чувствовала только им; покорная во всем его воле, она была даже раба его взора — по нем была весела или скучна, по этому регулятору двигалось ее бытие, управлялась ее судьба. Еще непорочная своими поступками, она уже в пламенных письмах Волынского умела напитать свое воображение и сердце всеми обольщениями порочной страсти. Яд протекал уже по ее жилам. Несчастная была на краю гибели. А он?.. Живя в веке развращенном, в обществе, в котором обольщение считалось *молодечеством* и пороки такого рода нянчились беззакониями временщика, свивавшего из них свои вожжи и бичи; зараженный общим послаблением нравов и порабощенный своей безрассудной любви, Волынской думал только об удовольствиях, которые она ему готовит. Совесть замерла, бог был забыт, рассудок околдован. Рассуждает ли человек, напившийся опиума?

Передача писем делалась через руки Мариулы, которой и Волынской и Бирон, каждый для своих видов, помогали всячески укрепиться во дворце. Таким образом, мать сама способствовала несчастной страсти своей

дочери, успокоенная насчет ее клятвою обольстителя, что он на ней женится, и отуманенная нежными ласками Мариорицы, за которые платила угождениями всякого рода. Может статься, к слабости матери присоединялись и нежные, заботливые расчеты, что, помогая этой любви, она в состоянии будет неусыпно следить за ходом ее и вовремя предупредить погибель дочери. Мариорица до того ее полюбила, что садилась к ней на колена, обвивала свои руки около ее шеи, убирала мастерски безобразие ее полулица фатою и волосами, целовала ее в остальной глаз, миловала, как свою няню, кормилицу, едва не как мать. И Мариула, в упоении от этих ласк, сама называла ее нежнейшими именами.

— Милое дитя мое,— говорила она,— ненаглядная, душечка, жизненочек, люби этого пригожего Волынского. Он сделает тебя счастливою. Но только до женитьбы своей не давай ему много воли над собой. Один поцелуй... не более! А то пропадешь навеки, достанешься в когти дьяволу!..

— Ох, Мариуленька, дорогая моя,— отвечала, вздыхая, влюбленная девушка,— боюсь, этот поцелуй сожжет меня.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава I

ЛЕДЯНОЙ ДОМ

Все чудо из чудес, куда ни погляди!
Каков же феин был дворец, признаться вам,
То вряд изобразит и Богданович сам.

И. Дмитриев

Я сберегла тебе невинных уст лобзанье.

«Манцениль». Туманский

Работа спела. Между адмиралтейством и Зимним дворцом, как бы по мановению волшебного жезла, встало в несколько дней дивное здание, какого ни одна

страна, кроме России, не производила и какое мог только произвесть суровый север наш с помощью жестокой зимы 1740 года. Все здание было из воды. Фундамент клался из воды; стены, кровля, стекла, украшения выводились из нее же; все спаивалось водою; вода принимала все формы, какие угодно было затейливому воображению дать ей. И когда солнце развернуло свои лучи на этом ледяном доме, он казался высеченным из одного куска сапфира, убранного фигурами из опала. Современник этих ледовитых затей, почтеннейший *Георг Волфганг Крафт*, оставил «для *охотников до натуральной науки»* подробное описание дома [1]. Не желая лишить господина Крафта достойной славы или, лучше сказать, боясь вступить с ним в состязание, предоставляю ему самому говорить на немецкий лад о способе постройки, расположении и украшениях любопытного здания [2].

«Самый чистый лед, наподобие больших квадратных плит, разрубали, архитектурными украшениями убирали, циркулем и линейкою размеривали, рычагами одну ледяную плиту на другую клали и каждый ряд водой поливали, которая тотчас замерзала и вместо крепкого цемента служила. Таким образом чрез краткое время построен был дом, который был длиною в восемь сажен, шириною в две сажени с половиною, а вышиною вместе с кровлею в три сажени.

Напереди перед домом стояло шесть ледяных точеных пушек, которые имели колеса и станки ледяные ж, что и о всем последующем разуметь должно, разве что не ледяное случится, о чем именно упомянуто будет. Пушки величиною и размером против медных трехфунтовых сделаны и высверлены были. Из оных пушек неоднократно стреляли; в каковом случае кладено в них

---

[1] В книжице, ныне довольно редкой и известной под названием: *Подлинное и обстоятельное описание построенного в Санкт-Петербурге, в Генваре 1740 года, ледяного дома и всех находившихся в нем домовых вещей и уборов, с приложенными притом гридированными фигурами, также и некоторыми примечаниями о бывшей в 1740 году во всей Европе жестокой стуже, сочиненное для охотников до натуральной истории чрез Георга Волфганга Крафта. С.-Петербургской Императорской Академии Наук члена и физики профессора.— Печатано при Императорской Академии Наук, 1741. (Примеч. автора.)*

[2] *Неохотники до натуральной науки* могут пропустить текст г-на Крафта. *(Примеч. автора.)*

пороху по четыре фунта, и притом посконное или железное ядро заколачивали. (Такое ядро некогда в присутствии всего императорского придворного штата, в расстоянии шестидесяти шагов, доску толщиною в два дюйма насквозь пробило.) Еще ж стояли в том же ряду с пушками две мортиры. Оные сделаны были по размеру медных мортир против двухпудовой бомбы[1]. Напоследок в том же ряду у ворот стояли два дельфина. Сии дельфины помощию насосов огонь от зажженной нефти из челюстей выбрасывали, что ночью приятную потеху представляло. Позади помянутого ряду пушек и мортир сделаны были около всего дому из ледяных баляс изрядные перила, между которыми, в равном расстоянии, четвероугольные столбы стояли. Когда на оный дом изблизи смотрели, то с удивлением видна была вверху на кровле четвероугольными столбами и точеными статуями украшенная галерея, а над входом преизрядный фронтишпиц, в разных местах статуями украшенный. Самый дом имел дверные и оконишные косяки, также и пилястры, выкрашенные краскою наподобие зеленого мрамора. В оном же доме находились крыльцо и двое дверей; при входе были сени, а по обеим сторонам покои без потолку, с одною только крышею. В сенях было четыре окна, а в каждом покое по пяти окон, в которых как рамки, так и стекла сделаны были из тонкого чистого льду. Ночью в оных окнах много свеч горело, и почти на каждом окне видны были на полотне писаные смешные картины, причем сияние, сквозь окна и стены проницающее, преизрядный и весьма удивительный вид показывало. В перилах, кроме главного входа, находились еще двои сторонние ворота и на них горшки с цветами и с померанцевыми деревьями, а подле них простые ледяные деревья, имеющие листья и ветви ледяные ж, на которых сидели птицы, что все изрядным мастерством сделано было.

Наружное, прочее сего дому украшение состояло в следующих вещах. На всякой стороне, на пьедестале с фронтишпицем, поставлено было по четырехугольной пирамиде. Помянутые пирамиды внутри были пусты, которые сзади от дому вход имели. На каждой оных стороне высечено было по круглому окну, около кото-

---

[1] Из которых многократно бомбы бросали, причем на заряд в гнездо ¼ фунта пороху кладено. *(Примеч. автора.)*

рых снаружи размалеванные часовые доски находились, а внутри осьмиугольный бумажный большой фонарь (со множеством зажженных свечей) висел, у которого на каждой стороне всякие смешные фигуры намалеваны были. Оный фонарь находившийся внутри потаенный человек вкруг оборачивал, дабы сквозь каждое окно из помянутых фигур одну за другою смотрители видеть могли. По правую сторону дома изображен был слон в надлежащей его величине, на котором сидел персианин с чеканом в руке, а подле его два персианина в обыкновенной человеческой величине стояли. Сей слон внутри был пуст и так хитро сделан, что днем воду, вышиною в двадцать четыре фута, пускал, которая из близ находившегося канала адмиралтейской крепости трубами проведена была, а ночью, с великим удивлением всех смотрящих, горящую нефть выбрасывал. Сверх же того, мог он, как живой слон, кричать, каковый голос потаенный в нем человек трубою производил. Третие, на левой стороне дома, по обыкновению северных стран, изо льду построена была баня, которая, казалось, будто бы из простых бревен сделана была, и которую несколько раз топили, и действительно в ней парились.

Теперь посмотрим, каким образом убраны были покои. В одном из них на одной половине стоял уборный стол, на котором находилось зеркало, несколько шандалов со свечами, которые по ночам, будучи нефтью намазаны, горели, карманные часы и всякая посуда, а на стене висело зеркало. На другой половине видны были преизрядная кровать с завесом, постелью, подушками и одеялом, двое туфли, два колпака, табурет и резной работы комель, в котором лежащие ледяные дрова, нефтью намазанные, многократно горели. В другом покое, по левую руку, стоял стол, а на нем лежали столовые часы, в которых находящиеся колеса сквозь светлый лед видны были. Сверх сего, на столе в разных местах лежали для играния примороженные карты. Подле стола по обеим сторонам стояли резной работы два долгие стула, а в углах две статуи. По правую руку стоял резной угольной поставец с разными небольшими фигурами, а внутри оного стояла точеная посуда, стаканы, рюмки и блюда с кушаньем. Все оные вещи изо льду сделаны и приличными натуральными красками выкрашены были».

Назначен был государынею день для осмотра ледя-

ного дома; ей приятно было видеть, как исполнили ее мысль, и — вместе забыться, хотя на несколько минут, от душевной и телесной болезней, ее осаждавших. А чтобы очарование зрелища было сильнее, положено было смотреть дом ночью, при освещении.

Весь Петербург поднялся на ноги или заставил двигаться ноги своих лошадей; со всех концов его тянулись нити пешеходов и ряды экипажей. Старики будто умылись живой водой и, схватив свою старость в охапку, бежали к фокусу общего любопытства; дети, вцепившись в полу отцовского кафтана, влеклись за толпою. Остались в домах недвижный больной, или мать с грудным младенцем, боявшаяся подвергнуть его опасностям народной тесноты, или слепец, которому воображение заменяло и зодчих, и живописцев, и самые чудеса природы; но и те с нетерпением ожидали рассказов о чудном ледяном доме. Забыты нужды, голод, страх бироновского имени и казни.

Выступив из мрака ночи с своими огнями, ледяной дом сиял металлическим блеском и далеко бросал от себя свет на Луговую линию, очертивши им пестрый полукруг лиц и ног; площадь казалась вымощенною верхушками голов. Нередко усиленный крик ледяного слона, или огненный фонтан, бивший из хобота его, или новая смешная фигура на окнах заставляли зрителей вторгаться за черту, заказанную слободскими десятскими и сотскими. Русские остроты сыпались часто под русскою палкою.

— Посмотри, братец,— говорил один,— на первой картине немец в трехугольной шляпенке, в изодранном кафтанишке, худой, как спичка, бредет со скребницей и щеткой в руке, а на последней картине разжирел, аки боров; щеки у него словно пышки с очага; едет на бурой кобылке, на золотом чепраке, и бьет всех направо и налево обухом.

— Эка простота! — возражал другой,— там входил он на Русь пешком, а тут гуляет по ней верхом; там, вишь, он чистил лошадку, а здесь едет на чищенной.

— Ванька, а Ванька! это что за изба? — спрашивал один.

— Баня,— был ответ.

— Для наших парильщиков не тесненька ли, Семен Кондратьевич? — спрашивал третий.

— Напрасно и строить трудились,— примолвил чет-

вертый,— у нас в Питере на всяком месте готова баня.

— Э! господин десятский, поберегите для переду свой веничек; здесь, на морозе, негоже поддавать пару...

— Ступайте мимо, господин сотский; видишь, мыста сами стоим впереди тысячи.

— Слышь? ледяной слон кричит!

— И камни вопиют во времена тяжкие,— произнес какой-то книжник важным, поучительным тоном.

Таким образом, наши Бомарше с бородками, площадные цензоры своего времени, тешили вдоволь глаза и языки свои. Казалось, они остротами отмщали на знати свою бедность и унижение и согревались от жестокого задушавшего мороза.

— Государыня, государыня! — закричали сотские — и все замолкло благоговейною тишиной.

Заскрипел снег, тиснутый сотнями подков, зашипел он от множества порезов; показался эскадрон гусар и вслед за тем сани государынины, за коими тянулся ряд экипажей. Из ледяного дома выступило несколько придворных на крыльцо и впереди всех Волынской. Когда сани поравнялись с ним, он был подозван к ее величеству. Она изволила милостиво расспрашивать его об устройстве дома и смеялась очень карикатурным изображениям, часто переменявшимся на окнах. Кабинет-министр давал замысловатые объяснения. Вдруг, при одной перемене, кто-то за санями государыни вскричал с сердцем:

— Глупость, достойная своего творца!.. Чрезвычайно глупо!..

Голос, произнесший эти слова, был Биронов; нельзя было в том ошибиться ни императрице, ни окружавшим ее. Она вздрогнула от неожиданности их, нахмурила брови и с гневом сказала:

— Не знаю, на чьей стороне глупость!..

Это было первое важное, немилостивое обращение к Бирону, которое она позволила себе с тех пор, как его знала. При этом обращении она взглянула назад: пылающий взор ее любимца, стоявшего у ней на запятках, дерзко встретил ее взгляд.

Задыхаясь от досады, государыня продолжала относиться к кабинет-министру:

— Растолкуйте мне, мой любезный Артемий Петрович, что бы такое значили эти картины?

Они не могли быть загадкою для посвященных в таинства Бироновых проделок. На картинах представлено было: 1-е) сцена замораживания Горденки, снятая как бы с натуры; 2-е) сцена на Неве, где является привидение, чтобы отнять ледяной труп у конюхов; 3-е) маскерадные герои на Волковом поле и 4-е) самоубийство Гроснота.

— Ваше величество,— отвечал Волынской,— изволите, конечно, помнить, что, выезжая из манежа герцогского, заметили ледяную статую на маленьком дворе у конюшен его светлости.

— Помню.

— Именно эта статуя подала вашему величеству мысль сделать ледяной дом, которого быть строителем я удостоен вами. И потому я хотел сохранить в картине происшествие, давшее ему начало. Настоящую ледяную статую я постарался достать и перенес в одну из комнат, которые буду иметь счастие вам показывать. Прочие картины — вымысел живописца.

— Очень благодарна за ваше намерение, и если вы сделали глупость, как угодно сказать *иному*, то я первая подала вам к ней повод. Разделяю вместе с вами силу гнева его светлости, хотя, впрочем, не понимаю причины ее.

Ирония заметна была в самом голосе государыни.

— Время, конечно, объяснит, почему так не нравится его светлости эта ледяная игрушка,— отвечал торжествующий Волынской.

— Да, время!..— произнес Бирон в замешательстве, не зная сам, что говорит. Он бормотал еще невнятные слова, когда почувствовал, что кто-то сзади дергает его за рукав шубы, и — остановился, чтобы посмотреть, кто осмелился быть таким дерзким. Бледное, вытянутое лицо, взоры, бросавшие от себя фосфорический блеск, двигающиеся взад и вперед орангутанговые уши поразили его. Это был Липман. Осторожный Липман не придет без важной нужды тормошить его за санями государыни. Это подтверждает и отчаяние, выражающееся во всей его наружности, судорожно исковерканной. Бирон соскочил с запяток и, на шепот своего клеврета, исчез вместе с ним, как будто потонул в камском мохе.

Государыня слышала, что герцог соскочил с запяток... вздрогнула, испуганная и смущенная этим движением, предвещавшим что-то необыкновенное, склонила

взоры и глубоко задумалась... Наступило мертвое молчание. Самый слон замолк. Сани ее не двигались; у саней Волынской, вокруг придворные кавалеры, впереди эскадрон гусар, сзади множество экипажей, вдали толпы народные — стояли на одном месте. Волшебное зрелище представляли тогда этот ледяной дворец, один, посреди ночи, потешающийся огнями своими, эта царица, казалось, навеки усыпленная в зимнем экипаже, эти кони, воины, двор, народ около нее, на снежном полотне, убеленные морозом — все это будто в саванах, неподвижное, немое, мертвое,— и вдали кругом мрачные здания, выглядывающие с своими снежными крышами из-за ограды этой сцены! К довершению очарования стали носиться по воздуху полосы тумана, как бы невидимые духи устроивали над царицей дымчатый полог.

Но слон вскрикнул — государыня встрепенулась, и все вновь ожило. Она велела тронуть сани, а Артемию Петровичу стать позади себя. Изволили раз проехать мимо слона, возвратились назад и пожелали видеть внутренность дома.

Между тем Бирон, разъяренный, рыскал в нем, предшествуемый одним Липманом.

— Не может быть! — говорил он, пыхтя от злобы,— неужели они эту поганую штуку сыграли?.. Правда ли?.. Кто тебе дал знать?..

— Племянник!..— отвечал Липман,— племянник не солжет... вы сами знаете...

— Где ж?..

— Вот здесь...

С этим словом вошли они в комнату, где стояли часы и лежали карты на столе. С одной стороны в углу купидон с дубинкою на плече вытянулся как бы на караул; с другой стороны другой ледяной купидон, прислонясь к окну, держал палец правой руки на губах, а левой рукою предлагал рог изобилия, желая, конечно, дать знать, что скромность доставляет богатство и прочие дары фортуны. Тут до сих пор не было ничего, что могло возбудить гнев его светлости. Но в переднем углублении, сделанном наподобие стоячего гроба, позади стола, выступил... человек с бледным лицом мертвеца, в обледенелой рубашке, босой... Он держал бумагу в дрожащей руке. Казалось, только что облили его на морозе: струи еще слегка спадали с ледяных сборов его рубашки, по лицу его выступали капли предсмертного пота.

— Опять он!.. И везде он!..— вскричал с ужасом Бирон.

Как не ужасаться было ему! По сотне душ отправлял он ежегодно в Елисейские поля, и ни один мученик не возвращался с того света, чтобы преследовать его. А тут везде за ним неотступно проклятый малороссиянин! Да даст ли он ему, в самом деле, покой? Странно! никого столько не боится Бирон; на этом предмете скоро сведут его с ума.

Он замахнулся тростью, чтобы ударить ненавистную фигуру, но та погрозила на него... Трость невольно опустилась, и ледяной пот выступил на челе самого временщика. С минуту стоял он, дрожа от страха и гнева; потом, одумавшись, захохотал, вновь замахнулся в ярости на мертвеца и... разбил ледяную статую вдребезги. Упали перед ним маска и рука; эта, зацепившись за его шубу, казалось, не хотела пустить его от себя. Липман с трудом отодрал ее; загнувшиеся концы проволоки, которая была в нее вделана, впились крепко в бархат шубы. На месте, откуда рука приводилась в движение, осталось небольшое отверстие с Невской набережной.

Пока Бирон сбивал с своей шубы куски льду, ее облепившие, как бы стирал брызги крови, наперсник его вырвал бумагу, подал ее и торопливо стал рыться в кусках по полу, боясь, не скрывалось ли еще какой в них штуки. Бегло взглянул герцог на бумагу, на которой и прочел:

«Государыня! я, малороссийский дворянин Горденко, живой заморожен за то, что осмелился говорить правду; тысячи, подобно мне, за нее измучены, и все по воле Бирона. Народ твой страдает. Допроси обо всем кабинет-министра Волынского и облегчи тяжкую участь твоей России, удалив от себя злодея и лицемера, всем ненавистного».

Судорожно скомкав бумагу — за пазуху ее, потом спросил торопливо:

— Куда мы это все?

Послышался шум позади их... оба вздрогнули. Кто-то вошел — это был Кульковский. Будто по чутью, он угадал, что нужен первому человеку в империи, и явился *при* нем.

— Кстати, любезный! — сказал Бирон, обратясь к пажику,— бери с Липманом все это поскорее... куда хо-

чешь... хоть в свои карманы. По одной милости за каждый кусок!

Не дожидаясь окончания речи своего патрона, Кульковский — ну убирать куски льду, то в карманы, то за пазуху, то в рот... Последнее делал он единственно, чтобы показать, до какой степени он привержен к первому человеку в империи. Он успел вынести в два раза кучки льду за угол дома, спугнуть стоявшего там недоброжелателя, приводившего в движение статую, очистить место, где разбросан был лед, и, мокрый, прохваченный морозом, неприметно вмешаться в свиту государыни, входившей в ледяной дом. Как не сказать при этом случае: высокое самоотвержение, *достойное римлянина!* — выражение, которым любил щеголять сам Бирон, когда жертвовали выгодами своего отечества личной пользе его.

Государыня обошла весь дом, во всех отделениях останавливалась и изволила рассматривать каждую вещь с большим вниманием (но не спрашивала уже о ледяной статуе, как будто боялась через нее нового оскорбления)... За все благодарила Артемия Петровича в самых лестных выражениях и не только на нем, но и на друзьях его старалась показать свое отличное к нему благоволение. Партия Волынского торжествовала.

Когда императрица вышла из дому, густой туман налег на землю, так что за несколько шагов нельзя было ничего видеть. По временам мелькали — то голова лошадиная, то хвост, то воин, плывущий будто по воздуху, то сани без коней, несущиеся как бы волшебною силою, то палаш, мгновенно змейкою блеснувший. Большие огненные пятна (от свету из домов), как страшные очи привидения, стояли в воздухе; по разным местам мелькали блудящие огоньки (от ходивших с фонарями). Невидимые лошади фыркали и ржали; невидимые бичи хлопали. Подаваемые к разъезду сани во мгле тумана сцеплялись с санями; несли лошади, испуганные и застоявшиеся на морозе. Суета полиции, крик кучеров, стон задавленных, треск экипажей представляли совершенный хаос.

— Боже! что это?.. Господи помилуй! — сказала испуганная императрица, крестясь; обратилась назад, искала кого-то смутными глазами, силилась закричать: — Артемий Петрович, вырвите меня из этого ада! — но произнесла эти слова осипшим от страха голосом.

Волынского не было около нее; видя, что государыню сопровождают его друзья, он остановился с княжной Лелемико и... забылся. Герцог курляндский успел воспользоваться этим случаем и следил императрицу. Она обратила на него умоляющие взоры.

— Будьте спокойны, ваше величество,— произнес он голосом глубочайшей преданности,— вы найдете меня всегда возле себя, когда жизнь ваша в опасности...

— Жизнь моя? в опасности?.. ради бога, не отходи от меня!

Она схватила его крепко за руку и с этой минуты до самого дворца не покидала ее.

К подъезду подали сани государынины, окруженные множеством факелов.

— Да — это гроб! это похороны!.. меня живую хотят похоронить!..— вскричала Анна Иоанновна, еще более перепуганная этим зрелищем и готовая упасть в обморок.

— Прочь факелы! кто это вам велел?..— грозно вскрикнул герцог.

В толпе придворных послышался голос:

— Его превосходительство, Артемий Петрович Волынской.

Эти роковые слова успели долететь до ушей императрицы.

— Кто бы ни был, все безрассудно! — воскликнул Бирон.

Из лукавого раба он воспрянул снова дерзким повелителем.

Явился Волынской, но государыня уже не видела его. По приказанию герцога пажи принесли фонари, и ее, почти в беспамятстве, снесли в сани и перевезли во дворец.

Сделалась суматоха между придворными; каждый спешил во дворец, к своей должности, или домой, каждый думал о себе. Испуганные гоф-девицы нашли услужливых кавалеров, которые усадили их в экипажи или взялись проводить, куда нужно было. Мариорица ничего не боялась — *он* был подле нее. Волынской кричал ее экипаж; но никто не отозвался; подруги ее исчезли, прислуга также... И тут фатализм, и тут любовь сделали *свое!* Оставалось Артемию Петровичу проводить княжну пешком во дворец.

Счастливец! он тонет с нею во мгле тумана; он страстно сжимает ее руку в своей, он лобызает эту руку.

Разговор их — какой-то лепет по складам, набор сладких эпитетов и имен, бессмыслица, красноречивая для одних любовников. Не обошлось без вопроса, общего места влюбленных: *любишь ли ты меня*? Мариорица не отвечала, но Артемий Петрович почувствовал, что руку его крепко, нежно прижали к атласу раз, еще раз, что под этим атласом сердце то шибко билось, то замирало.

Ноги их идут без всякого направления; они идут, потому что раз приведены в движение. Вся мысль влюбленных в их сердце; лучше сказать, у них нет мысли — они только чувствуют себя друг в друге; чувство упоения поглотило все их бытие.

Он обхватил ее стан из-под распахнувшейся шубы и, колеблющуюся, тихо привлек к себе. На уста его пышет огонь с ее лица; неведомо как, они встречают другие горящие уста, и Волынской выпивает до дна сладкий, томительный поцелуй...

Этот поцелуй разбежался тысячами по всему существу Мариорицы, она вся — пылающий поцелуй. Ей жарко, ей душно на морозе... Шуба сползла с плеч Волынского, он не останавливается за нею. Они забыли время, дворец, государыню, целый мир. Кто знает, долго ли они, как сумасшедшие, блуждали бы близ дворца, когда бы всего этого не напомнил им оклик часового. Встревоженные, они как бы пробудились от сладкого сна, будто упали с неба.

Успокоило их несколько, что они находятся у служб дворцовых. Найти дорогу к маленькому подъезду было делом нескольких минут. Они входят во дворец, прокрадываются, как преступники; на лице их, кажется, прочтут повесть их нынешнего вечера. К счастию, в коридоре дежурный гоф-лакей дремлет, сидя на стуле; ни одного пажа, которых лукавство так опасно в подобных случаях! Как будто нарочно, никто их не заметил, никто не попадался им навстречу; самые свечи тускло горят— иные уж и погасли. Видно, весь дворец на половине государыниной озабочен ее испугом.

Вот и комната княжны... Здесь, конечно, расстанется с нею Волынской, унеся с собою сладкую добычу любви? Спальня девушки — святилище для постороннего мужчины; преступник уже тот, кто входил в нее с мыслью обольщения. Время рассуждать об этом безумцу!.. Волынской забыл все святое... он входит за Мариорицей. Одинокая свеча нагорела; никого нет!.. Сумрак и тишина келии!.. Бедная девушка дрожит, сама не зная

отчего; она, как робкое дитя, упрашивает, умоляет его выйти.

— Подари меня еще одной минутой блаженства, *душа моя*, ангел мой! — говорит он, сажая ее на диван.— Еще один поцелуй, и я бегу от тебя, счастливейший из смертных!

Он сто раз печатлеет огонь своей страсти на белой шее и плечах, на пурпуре щек, на черных, мягких косах, путающихся по лицу его и мешающихся с черными кудрями его волос, он пожирает ее своими лобзаниями.

Бедная Мариорица! слабое существо! она опять все в мире забыла.

Вдруг опрометью, запыхавшись, вбегает Липман и кричит, как сумасшедший:

— Княжна! княжна! государыня очень больна... она вас давно...

Увидав кабинет-министра, он осекся и не знал, что начать; однако ж скоро оправился и продолжал, запинаясь, с увертками кокетки, искоса и насмешливо посматривая на гостя:

— Государыня вас... давно спрашивает... вас везде ищут... я к вам во второй раз... извините, если я не вовремя...

Злодей опять не договорил; рот его улыбался до ушей, уши шевелились, как у зайца, попавшего на капусту.

Громовый удар, раздробившись у ног Волынского, не так ужаснул бы его, как появление этого лица. От двусмысленных слов Липмана буря заходила в груди; он вспыхнул, и — слово *бездельник!* было приветствием обер-гофкомиссару, или обер-гофшпиону.

— Не знаю, кого так величает его превосходительство,— сказал этот очень хладнокровно и все улыбаясь,— по-нашему, это имя принадлежит тому, кто похищает у бедняка лучшее его сокровище. Следственно...

— Что хочешь ты этим сказать, несчастный? — вскричал Волынской, готовясь схватить его за грудь.

Он задушил бы жида, если бы не остановил его умоляющий взор Мариорицы, сложившей руки крестом на груди. Этим взором она была у ног его. На помощь к ней пришла Волынскому и мысль, что побоищем во дворце, в комнате самой княжны, он привлечет новый, неискупимый позор на голову девушки, и без того уже столько несчастной чрез него.

Липман отпрянул назад, ближе к двери, все-таки не теряя присутствия духа и измеряя свои слова.

— Что я хочу сказать? Гм! это, кажется, не имеет нужды в экспликации [1]. То, что я, обер-гофкомиссар, застал ваше превосходительство как обольстителя у любимой гоф-девицы ее величества... и то, гм! что ее величество изволит об этом узнать, когда мне заблагорассудится донести...

— Кто поверит жиду и перекрещенцу? наушнику, негодяю, запачканному в грязи с ног до головы?

— Улика налицо; свидетели есть, угодно — позову.

Есть ли слова для того, чтобы изобразить мучение бедной девушки в состоянии Мариорицы? Как низко упала она! ниже, чем из княжон в цыганки!.. Обрызганная стыдом от появления Липмана, сделавшаяся предметом ссоры подлого человека с тем, кого она любила более всего на свете, зная, что честь ее зависит вперед от одного слова этого негодяя, она чувствовала только позор свой и рыдала. О перемене к ней благосклонности государыни, об удалении от лица ее, о бедности и ничтожестве она и не думала. Но когда вздумала, что друг ее может пострадать, она забыла стыд, вскочила с своего места и, не дав Артемию Петровичу говорить, сказала твердым голосом:

— Неправда! неправда! он не виноват; я просила его проводить меня. Хочешь знать более, безжалостный человек? я люблю его, я сама скажу государыне, что я люблю его; я готова объявить это Петербургу, целому свету...

— Объявить!.. это было бы довольно смешно!.. Жаль мне вас очень, княжна!.. Знаете ли, ваше сиятельство, *кого* вы удостоиваете своим благосклонным вниманием?

В слове *кого* заключалась дьявольская ирония. Подобные слова отнимают несколько лет жизни у человека, на которого устремлены; они сушат сердце, растравляют жизнь; воспоминание о них поднимает волос дыбом посреди пирушки, когда ходит чаша круговая, пронимает дрожью и в объятиях любви.

Исступленная Мариорица, вся пылая, судорожно схватила руку Артемия Петровича и только повторила гневно:

— Кого?.. Знаю ли я?..

---

[1] Объяснении *(лат.)*.

Волынской дрожал от унижения, от страха, что Липман откроет тайну его женитьбы, от чувства ужасного состояния, в которое поставил Мариорицу, жертвующую для него всем, что имела драгоценнейшего на свете — девическою стыдливостью,— и, бешеный, уступил своему врагу. Он молчал.

Липман повесил на волоске меч над головой его и играл этим мечом. Он продолжал с твердостью на тот же лад:

— Знаете ли, что его превосходительство не может быть вашим мужем?

— А почему? — спросила Мариорица уже с жадным любопытством ревности.

Злодей собирался дорезать своего врага по суставам, зашевелил уши в знак торжества, но, поймав на лету ужасный взгляд Волынского и движение его руки к огромному медному шандалу, постигнув в этом взгляде и движении верную себе смерть, спешил униженно поклониться и присовокупил:

— Но об этом со временем, когда надобность потребует... Теперь исполнил я приказ ее величества, и будьте уверены, что все покуда останется похоронено в груди моей.

Когда он вышел, бедная, истерзанная Мариорица бросилась в объятия Артемия Петровича.

— Не любишь ли ты другой? — спрашивала она его.— Не обманываешь ли ты меня? О, говори, скорей, скорей! не два раза умирать.

Он утешал ее как мог, лгал, клялся и, успокоив несчастную, мучимую ревностью, снес на диван; потом, поцеловав в бледное чело ее и в глаза, орошенные слезами, спешил избавиться от новой мучительной сцены, которую враги его могли бы ему приготовить. Но лишь только он из комнаты — навстречу ему когорта пажей, подалее в коридоре несколько высших придворных, и между ними — торжествующий Бирон. Они смеялись... и этот адский смех, отозвавшись в сердце Волынского, достойно отплатил ему за проступки нынешнего вечера.

— Подлецы! — сказал он так, что соглядатаи могли слышать это слово, постоял минуты с две против них, как бы вызывая их на благородный бой, и, когда увидел, что они молчат и начали скрываться, пошел своей дорогой. Но как идти ему домой без шубы? Как решиться кабинет-министру попросить шубу у какого-нибудь

дворцового служителя? По какому случаю?.. Он спрашивает только о своем экипаже; ему докладывают, что сани его приезжали во дворец, но так как его не нашли там нигде, то и отослали их домой. Эйхлер, долговязый Эйхлер ему навстречу. Он не злопамятен: сожалея, что шубу его превосходительства, вероятно, в экипаже его отвезли домой, предлагает ему свою. Отвергнуты с грубостью услуги племянника Липмана, с коварством предложенные, сомненья нет. Волынской сходит к малому подъезду, решась, однако ж, завернуть к одному гоф-лакею, на скромность которого надеется, и взять у него шубу. У подъезда стоит девушка — она держит что-то на руках.

— Вы, Артемий Петрович? — говорит она ему таинственным голосом.

— Я, голубушка; что тебе?

— Княжна прислала вам свою шубу; ночью никто не видит... Я буду здесь ждать, пока вы назад пришлете.

Среди тяжких чувств, обступивших Мариорицу, мысль о нем, заботы о его здоровье ее не покидали. Лишь он пройди цел и невредим сквозь последствия этого несчастного вечера, а о себе она и не думает: она готова открыть грудь свою для всех стрел, на него устремленных.

Смеясь, надел Волынской шубу Мариорицы, вручил посланнице кошелек с золотом и просил ее сказать, что он целует каждый пальчик на ногах милой, доброй, бесценной ее барышни. Дорогой вспомнил он своих приятелей на Волковом поле.

На другой день принесли ему шубу из полиции. Домашние не сказали ему, что к ней прицеплена была записка: *«Плата той же монетой с герцогскими процентами»*.

Глава II

ФАТА

Гляжу я безмолвно на черную шаль,
И хладную душу терзает печаль.

Пушкин

На другой день толкнулась цыганка во дворец; ее не пустили. Грустная шла она домой; но лишь только сделала несколько шагов от маленького дворцового подъ-

езда, услышала, что кто-то сзади кличет ее по имени. Оглянулась—высокая неблагообразная женщина манит ее своей собачьей муфтой. Мариула остановилась и с первого взгляда на нее припомнила себе, что где-то видела это шафранное лицо, к которому неизменно подобраны были под цвет темно-коричневый платок и желтый с выводами штофный полушубок; эти серые, тусклые глаза, в которых отражалось кошачье смирение, эта голова, поставленная как бы на проволоке. Да, именно она видела эту фигуру в доме Волынского: это его барская барыня.

«Из дворца она!.. Не узнаю ли чего о моей Мариорице?» — подумала цыганка и спросила потом нагнавшую ее Подачкину, что ей надо.

Подачкина перевела дух, занявшийся от скорой ходьбы, сделала головой полукруг, с остановками по градусам, и, увидев, что около них нет никого, отвечала, пережевывая гвоздику, будто корова жвачку:

— Мне ничего, покуда бог милует; а я за тобой, сударка, для твоего же добра.

— Благодарим покорно хотя на пожелании; позволь, голубушка, спросить, в чем дело?

Словом «голубушка» приметно оскорбилась барская барыня; но она готовилась в придворные и успела скомкать кое-как досаду в сердце, обещаясь порядком отплатить своим гордым обращением, как скоро будет именоваться госпожой Кульковской.

— Ты, вижу, идешь на Выборгскую сторону,— ласково продолжала она.

— Так, на постоялые дворы.

— По дорожке с нами, любезненькая, по дорожке. О, ох, ныне и сугробы стали каждый год больше! Это еще б не горе — как выйду замуж, велю непременно очищать их,— а то горе, что все на свете сделалось хоть брось. Добро б травы худо росли и морозы вдвое серчали, уж человеки, аки звери лютые, поедают друг друга, роют друг другу ямы; забыли вовсе бога (тут барская барыня перекрестилась) — прости, мать пресвятая богородица тихвинская, что вхожу во осуждение!

«Не к добру эта проповедь!» — думала Мариула.

— Вот недалеко ходить: хотел меня скушать живую, и с косточками, господь прости ему его согрешения... хоть бы и Артемий Петрович; да великая заступница не дала ругаться надо мной, вознесла меня, недостой-

ную, превыше моих заслуг — не знаю, ведомо ли тебе?— по милости самой матушки Анны Ивановны сочетаюсь вскорости законным браком с столбовым дворянином. Ведь мой Петенька еле-еле не князь, ходит у ручки государыниной и при сучке ее величества, и коли задумает, так и самому Волынскому несдобровать. Потому он и паж, что всякий перед ним паш. Да уж, матка, если на то пойдет, отольются волку овечьи слезки. Во веки веков не затмиться в головушке моей поношению... нет, забудь он тогда, что я... (Тут наша пиковая дама с сердцем схватила муфту в одну руку и начала ею замахиваться.) Не извольте-де так, господин Волынской, хорохориться; ведь я такая же дворянка, и рядком сяду, таки сяду во дворце с вашей дражайшей сожительницей; и царица Анна Ивановна меня жалует своей ручкой, да и сама херцовина, супруга Бирона, допускает меня к себе в потаенность.

Мариуле в одно и то же время было смешно, и досадно, и грустно. Неучтиво кашлянула она раза два, чтобы оборвать прядь ее красноречия; но это не помогло.

— По-моему,— сказала она,— Артемий Петрович человек, какого найти на редкость.

Подачкина, казалось, не слыхала этой похвалы и, не останавливаясь, продолжала:

— Пикни же он грубое словечко, я ему глаза выцарапаю; мой Петенька и сучку царскую выпустит — посмей-ка он тогда тронуть волоском! А вот быть по-нашему с Бироном; да я, господи прости! хочу скорей лишиться доброго имени, пускай называют меня шлюхой, неумойкой, такой-сякой, коли я не увижу головы врага нашего на плахе, а вот быть, быть и быть...

Глаза Подачкиной выкатились наружу, голова ее тряслась под лад частых движений муфты, сильнее и сильнее, скорей и скорей, вместе с гневом ее; шаги ее участились; наконец, она осипла, залилась, захлебнулась, закашлялась и стала в пень посреди снежного бугра.

— Не знаю, как по батюшке величать вас, добрая госпожа,— сказала с нетерпением цыганка, вытаскивая ее из снегу,— но вы не изволили еще ничего сказать мне обо мне, как изволили обещать.

Важно опираясь на прислугу, вылезла из сугроба будущая великая особа, а покуда только что длинная, и, отдохнув немного, продолжала:

— Не прогневайся, мать моя, и до тебя доберемся.

Большому кораблю большое и плавание; маленький подождет, пока тот отойдет. Кажись, вы, цыгане, народ хитрый, а в тебе нашла я много простоты.

— Оттого, может статься, что я помесь с русскою,— отвечала, коварно улыбаясь, Мариула.

— Уйдет улыбочка в пятки, любезненькая, коли я тебе порасскажу, как и под тебя подмываются. А все твой хваленый Волынской, чтоб ему пусто было, окаянному (она выплюнула, забывшись, свою гвоздику). Местную свечу поставлю образу тихвинской божьей матери (тут сотворила большое крестное знамение). Матушка, пресвятая владычица, не попусти злодею долго по земле ходить... Ахти, ахти! гвоздичка моя? куда я ее девала?

Остановились, начали искать, шарить по снегу.

— Не могу без гвоздички ходить: сказывают, чума так и пашет на нас из земли мухаметовой, вот откуда княжна Мариорица...

Цыганка нашла гвоздичку в снегу и подала ее. В ожидании, к чему приведет это смиренное велеречие, терпение ее готово было лопнуть.

— Благодарствую, мать моя, любезненькая! Вот кто бы взял на свою душу приводить тебя в соблазн... помогать окаянному!.. обездолить, губить сироту, еще княжну!.. Ведь она все-таки христианка; хоть из чужой земли, по-нашему в посты скоромного не ест.

— Губить? это неправда! — возразила Мариула, покраснев и с сердцем.

— Такая ж неправда, как теперь зима и холодно. Погодите вы меня провесть!.. ох, ох, мы всё знаем. А ты слушай, лебедка, да не сбивай. На княжну не надышит государыня; в пуховик ее попади перышко, и то беда! а вы сердечную тащите в погибель, в ад, таки прямо в тьму кромешную... Знаешь ли, к кому он и тебя тянет? На сей земле под топор; а в будущем свете хочет заставить тебя лизать горячую сковороду или на вертеле сатаны поплясать.

От этих слов кровь поднялась быстро от сердца в голову Мариулы.

— Да ведь он обещает на ней жениться...— сказала она запинаясь.

— Что ты? в своем ли уме, прости господи! Да разве мы живем в какой татарской земле или в Туречине? да разве можно от живой жены?..

— От живой?..— могла только выговорить Мариула,

помертвев; задумалась, потом вдруг захохотала так, что Подачкина вздрогнула, перекрестилась и отодвинулась назад.

— Тут не до смеху, матка моя!

— Ты, видно, дурочку нашла, что надо мною так издеваешься.

— Какая издевка!.. говорю только сожалеючи о тебе, аки христианка добрая, чтобы отвесть тебя от неминучей напасти. А что Волынцев твой женат, так любой прохожий тебе скажет. Сожительница его, Наталья Андреевна, в Москве, гостит у родных, захворала было там, но господь поднял ее, кажись, не на добро — по-моему, лучше умереть, чем жить с таким мужем; уж он не впервые проказит: любовниц у него несть числа! А она, кабы ты знала ее, душа предобрая, сущий ангел на земле! Да какая же красавица! Вполовину он ее не стоит. И как его, негодника, любит!.. Сколько раз говорила я ей: «Бросьте его, матушка Наталья Андреевна!» — «Не могу, родная Акулина Саввишна»,— ведь она меня, сизая голубка, всегда по имени и отчеству величает,— «не могу. Покинуть его — пуще чем с светом божьим расстаться». Того и гляди, прикатит сюда, на свое горе...

Ни жива, ни мертва, слушала Мариула. Что ей бы за нужда, если б какой магометанский любовник ее дочери имел несколько жен? она знала бы, что он любит более всех Мариорицу; Мариорица ее была бы первая! Но в России, где двоеженство невозможно — ей это очень хорошо известно (она истории не читывала, в большом свете не живала),— в России любовь Мариорицы к женатому должна погубить ее. «Женатый?.. не может быть! — думает она, все еще утешая себя надеждою.— Как не узнать мне было этого прежде, в несколько недель?.. Он был женат на какой-нибудь Наталье Андреевне, а теперь овдовел! Барская барыня выгнана из дому его и за то всячески ему мстит».

Она остановилась, сделала прыжок до барской барыни, вцепилась обеими руками в ее полушубок и, страшно выпучив на нее одинокий глаз, произнесла осиплым голосом:

— Коли ты солгала?..

В этом вопросе можно было прочесть: «Не разделаешься со мною тогда... я не оставлю тебя живую, я растерзаю тебя...»

Испуганная Подачкина не знала, что делать, дума-

ла, что на цыганку нашло, и собиралась уж вырваться от нее, оставя ей в добычу и свой желтый с выводами штофный полушубок, как навстречу им слуга Перокина.

— Кстати, куманек,— сказала она, глубоко поклонившись ему,— не сделай меня лгуньей. Артемий Петрович Волынской женат или нет? не овдовел ли, может статься?

В это время Мариула сторожила своим одиноким глазом, всем существом своим, всеми силами души, не мигнет ли барская барыня слуге Перокина, не сделает ли ему условного знака.

Слуга, понюхав табаку и флегматически обозрев с ног до головы чету, так дружно сцепившуюся, отвечал:

— Кому лучше об этом знать, как не вам, сударыня кумушка, Акулина Саввишна? Вы, кажись, в дому его превосходительства выросли, повивали его, нянчили, на свадьбе его мед кушали, у барыни при постели и в чести были... Однако ж когда дело дошло до меня, видно, так сказать, дорогая кумушка, не для прочего иного, как для удостоверения этой госпожи цыганки, так и я не прочь. Законная супруга его превосходительства, Наталья Андреевна,— сестрица моему барину, а барин от нее только что вечор письмецо получил, что она препожалует на днях сюда. И по этому-то хоботу видно, она здравствует.

Несчастная мать не могла более выдержать; она начала рвать на себе одежду и бросилась бежать. Только по дороге сыпались от нее несвязные слова:

— А! а!.. вот каково!.. Непотребная! злодейка!.. торговать своею... Женатый!.. гуляка!.. Господи! не попусти злодея!..

Еще видели барская барыня и слуга Перокина, как цыганка бросилась было назад к ним, остановилась, помахала, как сумасшедшая, руками, опять побежала опрометью в ту сторону, где находился дом Волынского, и, наконец, скрылась из виду.

— Что за притча! — сказал слуга, понюхав флегматически табаку; барская барыня не отвечала, и каждый, разменявшись поклонами, пошел своей дорогой.

Цыганка бежала в самом деле к дому Волынского, пугая народ своею отчаянною, безобразною наружностью; наконец, она остановилась немного, чтобы вздохнуть, потому что готова была упасть от усталости и горя.

«Да что я за дура, взбеленилась без толку? — говорила она сама себе,— еще не все пропало! еще время исправить беду!»

Но лишь только она к дому Волынского, сердце упало у ней в груди. Вот она входит на лестницу, медленно, тяжело, как будто тащит за собою жернов. Докладывают об ней кабинет-министру — велят ей подождать... Она слышит, что посылают слугу в Гостиный двор; она видит, что слуга этот возвратился. Зовут ее в кабинет.

Душа ее на волоске держится еще в теле. Ее шатает из стороны в сторону; она хватается за стены, за двери, виснет на них от изнеможения...

— Сюда, сюда, Мариула,— слышен голос из кабинета,— прошу жаловать.

Входит...

Волынской сидит в креслах, и перед ним на столе — богатая фата.

Бедная, несчастная мать! Она хотела говорить и — зарыдала.

— Что с тобой? что с тобой? — спрашивал ее озабоченный Волынской,— кто тебя обидел?

Мариула покачала головой с видом жестокого упрека.

— Что со мною?.. Где твоя честь, где твоя совесть, говори, боярин русский?.. Есть ли в тебе бог?

— Я обещал тебе фату за первый поцелуй...

— Береги ее мне или себе на погребенье! Возьми и свои деньги — они жгут меня, они скребут мне душу.

Она вынула из кармана золото, которое дал ей Волынской в разное время, показала ему один червонец:

— Видишь, на каждом из них диавольская рожа с когтями...— сказала она и бросила их на пол.

— Ты с ума сошла, Мариула?

— Пусть буду я, по-твоему, глупая, безумная цыганка; но ты, боярин русский, где твоя совесть, где твой бог, спрашиваю опять?.. Что обещал ты мне, когда вздумал обольстить бедную, невинную девушку; когда моими погаными руками доставал это сокровище? Не обещал ли ты на ней жениться? Кого брал тогда в свидетели?.. Злой, бессовестный человек, безбожник! ты — женат; ты погубил беззащитную девушку. Отдашь богу отчет на страшном суде, а может быть, расплатишься и в этой жизни?

Волынской смутился от слов обвинительницы своей, но старался как мог сохранить наружное спокойствие.

— Что ж тебе до того, что я женат? Ведь не ты моя любовница!

— Что мне?.. Не я любовница его?.. Вот что он теперь говорит!.. Но если бы ты ведал, что я...

Она не договорила, не зная, что делать, бросилась к ногам Волынского, обвила их своими руками, целовала их, рыдала, молила его о чем-то без слов. Но здесь силы вовсе оставили ее; она не могла выдержать страшной борьбы природы с желанием сохранить дочери ее почетное место в свете; она не смела назвать себя, цыганку, матерью княжны Лелемико... и в страшных судорогах распростерлась у ног Волынского.

Долго в ней не было никаких знаков жизни. Ей дана была всякая возможная помощь; ее привели в себя и отвезли бережно на постоялые дворы, наказав кому нужно было с прибавкою того, что лучше всяких наказов — денег, чтобы за нею ухаживали, чтобы ей ни в чем не было недостатка. Но что вознаградит ей счастие дочери? Не мог Волынской объяснить себе причину такой сильной любви цыганки к княжне Лелемико; припоминал себе их чудное сходство и колебался в каком-то грустном подозрении. С этого времени угрызения совести начали терзать его, тем более что он убежден был в истинной к нему страсти Мариорицы. Нередко гремели ему вслух слова: «Безбожник! ты женат — и погубил невинную девушку; отдашь отчет господу на страшном суде». Он слышал нередко во сне рыдания цыганки, чувствовал, как она крепко обвивала его ноги своими руками, как целовала их, как ему тяжело было от них освободиться...

Глава III

РАССКАЗ ЦЫГАНКИ

> Угадываю любопытство многих моих читателей не о яблоке познания добра и зла, но о яблоке родословном, именем Минны украшенном,— и спешу удовлетворить его.
>
> *Марлинский*

По нескольку дней сряду несчастная Мариула искала добраться до княжны Лелемико: ни разу ее не допустили. В разное время дня, даже по ночам, в жестокий

мороз, становилась она на страже против дворца и выжидала, не проедет ли милое, бесценное для нее существо, не взглянет ли хоть сквозь окно, почуяв сердцем свою мать. Но о княжне Лелемико долго не было слова. Наконец, цыганка узнала, что она была очень нездорова, но что теперь ей лучше и она в прежней милости у государыни. Это несколько успокоило бедную мать.

Между тем, в ожидании свадьбы Кульковского, на которой и цыгане должны были действовать в числе трехсот разноплеменных гостей (надобно пояснить себе, что происшествия, нами рассказанные с начала романа, случились в течение двух-трех недель), товарищ Мариулы коновалил, торговал лошадьми, вставлял им зубы, слепых делал зрячими, старых молодыми и, где удавалось, не клал охулки на руку. Но посреди этих кровных цыганских занятий, которых он не покинул бы, если б имел кошелек и туже набитый, его кукона была постоянным предметом его забот. Когда Василий узнал ее новое горе, которому помочь можно было одному богу, он набрал ей целый короб надежд. Почему б Волынскому не развестись с женою, которую он не любит? Разве этого не водилось и на святой Руси? А Наталья Андреевна хворала: кто знает? она может и умереть на счастие Мариулы! Станется, что и государыня проведает о проказах господина Волынского и заставит его жениться на княжне, которую бережет пуще своего глаза. А почему бы и Мариуле самой не найти случая да подать государыне челобитную, что он, назвавшись холостым и обещавшись жениться на девушке, живущей под крылом самой матушки царицы, склонил бедную цыганку на сватовство и обманул всех.

— Не тужи, Мариуленька,— продолжал Василий,— назад не оглядывайся, прошлого не воротишь, поищем лучше впереди; старую брыкливую кобылу сбудем, огневого коня-молодца добудем. А чтоб знать, как дело повести вернее, порасскажи-ка мне от сивки-бурки, вещей каурки, как зачиналась белокаменна Москва, то есть как попала твоя дочка в княжны.

После утешений Василия отлегло несколько от сердца Мариулы; опять забилось это сердце надеждами, опять заструились они, как новая жизнь, по всему существу ее. Цыганка лелеет эти надежды, убирает, нянчит их, как дитя любимые свои куклы, и не может отказать виновнику их в рассказе, которого он желает.

Комната, похожая на тюрьму, худо освещенная сальным огарком, почернелые от сырости стены, две нары, одна против другой к стене расположенные и служащие диваном и постелью,— вот аудитория цыганки. Осмотрев тщательно за дверью и уверясь, что никто их не подслушивает, начала она свое повествование:

— Знавал, Вася, ты меня молодою, пригожею, застал ты еще мою красоту в Яссах; но уж тогда много сбыло ее; горе сушит, а не красит. Посмотрел бы на меня, когда мне не минуло еще двадцать лет, в годы моей Мариорицы! Цыганские таборы наперерыв хотели меня с отцом моим к себе: там, где я была, таборы мурашились гостями; за мои песни, а пуще за взгляд мой, платили щедро. Таскались мы много по России, Польше и турецким землям, и везде знавали меня под именем красотки и везде сулили нашим старухам горсти золота, лишь бы меня сманить в западню. Но чего не могли денежки, то сделал колдун — черный огневой глаз молдаванского князя Лелемико. Он был молод, пригож, сладкими речами оступил мою душу, как тенетами, и вывел меня из ума. Я полюбила его. Он дарил меня деньгами, нарядами — я не брала денег; мне надобна была только его любовь; я наряжалась только для него. В таборе, под кибиткою, родила я дочку. Пеленками из лоскутов, которые собрала потихоньку от добрых людей, я прикрыла наготу ее. Отец мой бранил меня, проклинал, бил и требовал денег. Я побрела к князю и принесла от него золото для отца и крещеное дитя. Крест, благословение отцовское, с надписью ножичком дня и года, когда родилась, и чего-то еще, носит и теперь моя бывшая Мариуленька. Не в долгом времени старушка княгиня доведалась, что у сына есть любовница из цыган, и заставила его жениться на богатой и знатной девице. Расставаясь, он смочил мою грудь слезами: я горько плакала, думала, что не переживу этой разлуки; но, взглянув на мою Мариуленьку, прижав ее, тепленькую, хорошенькую, у груди моей, утешилась. С этого времени она стала для меня весь божий мир, и отец, и полюбовник, и все родное; в ее глазках светили мне мое солнце, и звезды ясные, и каменья самоцветные, на устах ее цвели мои цветы махровые; здоровье ее был мой самый дорогой талан, жизнью ее я жива была. Знать, родилась я каким-то уродом. Господь создал меня только доброй маткой; я была негодная дочь, может статься — была бы и худой женой. Мариуленька ни в чем не нужда-

лась: при расставании князь одарил меня серебром и златом. Она росла в довольстве, в холе, в неге; я убаюкивала ее песнями, пригодными и для царских деток. Не только я и отец, но весь табор любил ее и баловал. Я звала ее своею княжной, и за мною все ее так называли. Да у меня в уме, в разуме только и вертелось, что она не иное что будет, как княжна, господарша, а может статься, и султанша. Кто бы поспорил со мною, тому вырвала бы глаза. Содержала я табор и делала ему разные милости от имени моей Мариуленьки, и потому приказала величать ее своею господаршей. Дорогой взвидела ли моя Мариуленька пригожий цветок на лугу и манила его к себе ручками — стой табор за цветком; приглянулся ли ей мотылек — и все мальчики и девочки, словно ее придворные, бросались ловить мотылька. А когда мы под шатром небесным раскидывали свой шатер, надобно было видеть, как обступали ее малые и большие слуги ее, как наперерыв один перед другим старались ее утешить. И как она была хороша, вельможна на своей беленькой пуховой подушке, в цветном наряде, в золоте, в фольге, в лентах, среди запачканных лохмотников! Мариуленька бросала им из своих ручонок хлеб, сласти, а иногда и деньги. Мариуленька радовалась, и я была счастлива.

Цыганка остановилась, как бы для того, чтобы забыться в прошлом: и теперь прежнее ее счастие отсвечивалось в ее одиноком, блестящем глазе, горело на щеке, дрожало в ее словах. Насладившись прошедшим, она продолжала, вздохнув:

— Но в два года княжеской жизни мы рассыпали свои денежки по Украйне и России и воротились за денежками в Яссы. Лелемико все еще любил меня, но я отказалась его любить — я боялась иметь другое дитя, я боялась отделить что-нибудь от Мариуленьки другому. Мне казалось, что тогда убавится из ее счастия или будет несчастен другой ребенок мой. Лелемико не имел детей от жены; лекаря говорили, что она никогда не родит; старушка мать его умерла; он убеждал меня отдать ему Мариуленьку, клялся, что выведет ее непременно в княжны, укрепит за нею все свое имение, а в случае, коли я не соглашусь, не даст мне ни полрубия и пустит нас таскаться по миру. Куда?.. Я сначала руками и ногами! Отдать Мариуленьку все равно, что отдать жизнь свою!.. Но когда увидела дочку, милую, бесценную дочь, владычицу табора, княжну, в старых лоскутьях, с суха-

рем во рту; когда услышала, что ее в таборе разжаловали из княжен в Мариулку, а потом в лохмотницы и цыганята начали дразнить ее языком, у меня поворотилась вся внутренность. Лохмотья? по миру? насмешки, нужда? что ждет ее вперед?.. От этих мыслей голова у меня закружилась. Ночью, когда мое дитя, мое ненаглядное сокровище, спало,— облобызав ее с ног до головы, облив ее слезами, я схватила ее с люлькою, бросилась бежать из табора и, как сказано мне было, подкинула ее в люльке, с письмецом, в цветник, под окна княжеские. Несколько раз принималась я с нею прощаться; то отойду шагов десяток, то назад ворочусь. Наконец, скрепя сердце ушла от нее. Дорогой слышала ее плач, хотела опять воротиться и... не воротилась. По письму, по словам ребенка должно было счесть, что она из знатного рода, что ее утащили цыганы и они ж подбросили за неимением чем содержать. Как разочли, так и случилось. Добрая княгиня уговорила мужа взять дитя, посланное самим богом. С того времечка моя Мариуленька уж Мариорица; дальше и дальше, ее убирали, воспитывали по-княжески и стали величать княжной Лелемикой. Сначала я много тосковала по ней, но когда услышала об ее счастии, забыла свое горе. Я жила в Яссах на конце города; закутавшись, видала иногда свою дочь в прогулках с мамою, но никогда не смела показать свое лицо ни ей, ни слугам княжеским, потому что Мариорица и тогда была в меня вся вылита. Сходство это, однако ж, потешало меня.

Раз, это было в самую полночь, просыпаюсь — будто кто меня ножом в бок,— открываю глаза: в комнате моей светлехонько, словно среди бела дня. Бросаюсь с постели к окну — весь город теплится, огненные языки шевелятся уж над кровлями. «Боже! Мариорица!» — вскрикиваю я и полунагая бросаюсь в ту часть города, где она жила. Город кипит, как котел, трещат кровли, лопаются стекла, огонь бьет с клубами дыма, кричит народ, стучат в набат, а у меня пуще в сердце гудит один голос, один звук: спасай свою дочь! Почти без чувства прибегаю к дому княжескому и прямо в двери, обхваченные полымем, цепляюсь по лестницам, через сундуки,— вижу, янычар окровавленными руками тащит девочку... Это она!.. схватываю ее, изо всей силы толкаю янычара с лестницы, через него выношу Мариорицу, обвившую меня крепко ручонками, на улицу и... что потом со мною случилось, ничего не помню. Знаю только,

что я долго очень хворала. Первое мое слово, как скоро могла я только зубы разнять, было о княжне Лелемико. Никто не знал, куда она девалась. Воспитатель ее сгорел, жена умерла от испуга... От этих вестей я только что с ума не сошла. Спрашиваю о ней встречного и поперечного, бегаю с утра до ночи по пожарищу, ищу ее в грудах пепла, в камнях, в обгорелых бревнах; напоследок узнаю, что янычар продавал ее, мое дитя! на торгу, что родные князя Лелемико заплатили янычару большие деньги, лишь бы увел ее подальше. Он так и сделал. Я бежала по следам его день и ночь и нагнала в Хотине. Тут украла я Мариорицу, уговорившись наперед с нею — она уж была девочка лет десяти и смышлена, как взрослая,— нам помогала и хозяйка дома, где квартировал янычар; я заплатила ей все, что имела на себе. Не зная, однако ж, куда деваться с Мариорицей, и боясь, чтобы злодей не отнял ее и не отомстил мне на ее головушке, бросилась я тотчас к хотинскому паше и продала ему родную дочь свою с тем, чтобы, когда она вырастет, сделал своею наложницей или подарил в гарем султана. И тут сердце мое поднимало ее куда-нибудь повыше, да и повыше. Паша любил ее, как родную дочь; у него ей было хорошо, словно в раю магометовом. И тут не раз видала я сквозь щелочку двери, не однажды слушала, как она певала. Песни ее лились мне в душу так сладко, так сладко, что я хотела бы умереть под них. И между тем дочь не знала, что мать ее так близко, что их разлучает одна доска. Что я говорю? одна доска! Нас, как и теперь, многое, очень многое разлучало... Паша состарился; тут пришло ему на мысль подарить Мариорицу султану, потому что он такой красотки еще не видывал, но русские пришли в Хотин: моя Мариорица взята в плен, отослана в Питер. И я сюда за ней, везде за ней! Где она, тут положу свои косточки; умру, так душа моя станет над ней носиться. И дочь не узнает, что я для нее делала: помянет в сердце имена чужих, но никогда не помянет своей матери...

Рассказчица утерла слезы, бежавшие из одинокого ее глаза; толстый цыган кряхтел и отвернулся, чтобы не показать на лице своем слез, изменявших его обыкновенной флегме.

Глава IV

РАССТРОЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ

> Не далее, а назад, барон! мы, словно пилигримы по обещанию, ступаем три шага вперед, а два обратно.
>
> *Марлинский*

Поутру была оттепель, отчего пострадал было несколько ледяной дом; но к вечеру погода разыгралась, как в веселый час расшучивается злой и сильный человек,— то щелкала по носу градиной, то резала лицо ветром, то хлопками слепила очи. Наконец, нити снега зачастили, словно мотки у проворной мотальщицы на воробе, сновались между небом и землей, будто вниз и вверх, так что в глазах рябило и все предметы казались пляшущими; около заборов вихорь крутил снег винтом и навевал сугробы; метель скребла окошки, ветер жалобно укал, будто просился в домы; флюгера на домах кричали. Одним словом, в природе господствовала чепуха, настоящее смешение французского с нижегородским. Мудрено ли, что при такой жуткой погоде, соединившейся с темнотою вечера и страхом бироновских времен, ни один житель Петербурга не смел высунуть носа на двор.

Ни один житель, сказали мы? однако ж неподалеку от конюшен герцогских, между ними и домом тайного советника Щурхова, в развалины горелого дома вошли с разных сторон два человека. Один, казалось, пришел из царства лилипутов, другой — из страны великанов. Оба тихонько кашлянули по два раза и по этому условному знаку сошлись за средней стеной у трубы; они едва не соприкасались брюхом одного с носом другого, а еще искали друг друга. Наконец, большой ощупал голову маленького, нагнулся, пожал ему руку и, вздохнув, спросил:

— Что, друг?

— Мы точно играем в шахматы,— сказал другой, отвечая таким же вздохом и подняв свою руку выше своего носа для пожатия руки великана,— ступаем шаг, два вперед, и опять назад; вот уж почти в доведях, погорячимся, и все испортим — стоим на том же месте, откуда начали, и едва ли не на шах и мате.

— О! дело еще не совсем испорчено,— возразил длинный.— Правда, он своею горячностью выбивает из рук наших орудия, которыми очищаем ему дорогу к цели его и нашей; досаждает, бесит, а все-таки отстать от него не можешь, и все за благородство его!

— Благородный, но сумасшедший человек! — сказал маленький с сердцем.— Я готов бы был отступиться от него, если б...

— Если б не любил его так много: не правда ли? Жалею его и не менее тебя его люблю. Кабы не проклятая страсть его к княжне, не проклятый вечер, мы скоро одержали бы верх!

— Знает ли государыня?

— Нет еще. Из истории этого вечера ничего не выходило наружу, как будто ее и не бывало. Герцог отдал строжайший приказ не произносить о нем словечка: кто видел, слышал, должен был не видать и не слыхать. Он бережет золотое обвинение на важный случай. К тому ж я связал временщику руки, готовые поднять секиру: я надул ему в уши, чрез кого надо, что в Петербурге на мази, именно против него, возмущение за расстрижение монахов и монахинь [1], сюда привезенных. В тот же роковой вечер, пришедши домой, получил он известие, что побеги целых селений за границу, по случаю его жестокостей, повторяются. Его злому духу дана работка: надо заняться ему разделкою с этими вестями, так чтобы они не дошли до государыни. А покуда — протаптываю себе следок до нее самой: ныне ходил я уж к ней с докладом, и она изволила милостиво расспрашивать меня о разных вещах. Дай-ка укрепиться в этой милости, перехитрить архиплутов, и тогда пущу такой доклад, что от него будет им жарко, как в пекле!

— Что с княжной?

— Сделалась было нездорова, верно от мысли, что государыня, весь двор знают о тайном посещении, что город об этом говорит. Видно, ни воспитание гаремное, ни соблазн примеров и века, ни самая страсть не могут задушить в женщине стыд, когда эта женщина не погрязла еще в пороке. Скоро, однако ж, ободрили ее ласки государыни, навестившей ее на другой же день, глубокое молчание насчет неприятного вечера, вокруг

---

[1] Вследствие подтверждения указа Петра I от 28-го января 1723 года. *(Примеч. автора.)*

нее прежнее внимание и уважение придворных; но, думаю, более всего повеяли на нее здоровьем добрые вести о Волынском. Тебе известно, что государыня звала его к себе. Думали все, что за факелы ему порядочно достанется: ты слышал, однако ж, как его приняли?

— Рассказывал он мне сам, что она при входе его изволила на него милостиво погрозиться, потом дала ему поцеловать свою руку и сказала: «Кто старое помянет, тому глаз вон». Думаю, что в этих словах заключаются не одни факелы, но и ледяная статуя. Она подозревает в этой куколке что-нибудь худое для своего любимца и забвением прошедшего хочет сблизить соперников.

— Напротив, от этих милостей у нашего курляндца руки сильнее чешутся на заплечный удар.

В это время частый снег с вьюгою так налегли на плащ маленького, что ему тяжело было стоять под ним, как под свинцовой епанчой.

— Освободи из-под снегу, друг,— сказал он, с трудом произнося слова и двигаясь,— боюсь, что нас скоро занесет.

— Покуда одного тебя,— отвечал длинный, усмехаясь и выковыривая маленького приятеля из снежной скорлупы.

— Знаешь ли, однако ж, как это освежило мое воображение? Прекрасная, счастливая мысль.

— Любопытен слушать.

— Мне пришла фантазия продолжать то, что враги моего благоприятеля так искусно начали, именно помогать любовникам.

— Помогать? ты с ума сходишь!

— Скажи лучше, нашел золотой рудник ума. Да, да, таки помогать! Прежде бился я изо всей мочи, растратил все сильнейшие доводы моего красноречия, чтобы отвесть Артемия Петровича от пагубной страсти и навесть на путь рассудка; теперь буду способствовать ей всеми силами, точно так, как делал Бирон. Ненадежны, думаю, цепи, которыми прикован наш патрон к молдаванке,— они чувственные; но из любви Мариорицы к нему чего нельзя выковать! О! я из этой любви построю лестницу хоть на небо, не только до государыни.

В голосе малютки дрожало вдохновение.

— Бедное творение! — произнес, вздыхая, длинный,— чего из тебя не делают? Обманывают, развраща-

ют, губят; две противные партии употребляют как средство, каждая для своей пользы, пускают тебя, как монету, ходячую в двух неприятельских царствах, чтобы подкупить успех на свою сторону. Так прекрасно создана, и на какой удел!.. Роскошнейший цветок природы, которым надо бы только любоваться, как безжалостно исщипан руками врагов, чтобы достать в нем яду одному на другого!.. Нет, друг, не знаю еще совершенно твоих видов, но если они низки, предоставим их низким людям.

— Не осуждай, не исследовав,— закон правды, который ты забыл! Вспомни, что мы действуем не только для блага одного человека, но для блага целого народа. Это одно. От другого довода твои аргументы разлетятся в пух, как рассыпались они в голове моей, когда дала ей работу совесть. Княжна погибла решительно в первую минуту, как полюбила Волынского: пожалеть ее можно, спасти нельзя, разве сам бог придет к ней на помощь!.. Я отгадал это существо, лишь только прочел ее первое письмо, лишь только увидел ее. Если ей не суждено сжечь другого, ей суждено сгореть в собственном огне. Все способности ее, все силы жизненные — в сердце; оно исполнено Волынским, и как скоро Волынского не будет в нем, это значит, что она перестала жить. Любовь для нее — жизнь. А Волынской любит, пока не обладает предметом. Даю тебе размыслить о последствиях. И потому — верный логический вывод — если мы не можем отвести от этого создания, возвышенного, прекрасного,— кто об этом спорит? — если мы не можем отвести от ее сердца неминуемого, рокового удара, который судьба изловчила на нее с такою злобой, то воспользоваться ее страстью для исполнения благородного подвига ничуть не низко и не грешно.

— Тс!.. слышен человеческий голос...

Совещатели стали прислушиваться с страшным замиранием сердца.

— Ничего,— сказал маленький,— видно, ветер завывает!

— Ничего?.. ради бога, молчи!

В самом деле, начали вскоре долетать до них отрывки разговора:

— Сюда... след... пропал... ты?.. Как же!.. не впервой... опять след. Сюда, сюда, те обошли... не ускользнут!

Последние слова явственно отпечатались в слухе наших приятелей; сквозь расселину стены заметили они уж и свет.

— Это голос моего дяди,— сказал длинный,— нас обошли! мы пропали!

— Что делать?.. Нырнуть туда ль, сюда ли — попадешь им навстречу. Кабы можно было вскарабкаться на окно, я шмыгнул бы в сад Щурхова.

— Убьешься.

— Лучше, чем попасть им в руки. Но ты?

— Я отделаюсь с божьей помощью! Скорей же влезай мне на плеча, голову, на что попало, и марш!

Длинный говорил, а маленький уж исполнял. Он уж на руках, плече, голове длинного, уж на стене, проворно взбирается, как кошка, выше и выше, цепляясь за что попало, за уцелевшие карнизы, поросшие в расселинах отпрыски дерев, выбитые кирпичи... Свет виднее и виднее... Окно близехонько, но беда! железный костыль впился в мантию ученого малютки. Тащить, тащить ее, драть изо всей его мочи — не помогает! Освободить руку из плаща — неминуемо упадешь. Он виснет на стене, как летучая мышь, с распростертым крылом... его бросает в холодный пот... нет спасения! гибель за плечами.

Отделение опального дома, где находились приятели, осветилось вдруг фонарем, и сквозь серебряную пыль падавшего снега озарились вполне жалкая, распетленная фигура Зуды и вытянутая из плеч голова Липмана, с ее полудиском рыжих косм, разбежавшихся золотыми лучами из-под черного соболя шапки, с раскрытою пастью, с дозорными очами, как бы готовыми схватить и пожрать свою жертву, и, наконец, сердитое лицо долговязого, тщедушного Эйхлера с его бекасиным носом. Стены, как чертог феин, заблистали алмазною корою. На этой чудной сцене, перед Липманом, державшим фонарь, выкроилась какая-то разбойничья образина с палашом наголо, а за ним мужичок с длинным багром, вероятно, чтобы острожить, где нужно было б, двуногую рыбу или спустить ее в один из бесконечных невских садков.

— Это... вы... племянничек? — спросил Липман, на которого нашел было столбняк.

— Видите, что я,— отвечал с сердцем кабинет-секретарь, бросился к дяде, вырвал фонарь из рук, дунул — и в одно мгновение исчез алмазный феин дворец и стер-

лись все лица со сцены.— Еще хотите ли слышать? Это я, дядюшка! Но зачем,— продолжал он ему на ухо,— приходите вы, с вашим бестолковым подозрением, портить лучшее мое дело?

— Что это?.. господин Эйхлер!.. Я ничего не понимаю; я не образумлюсь еще.

— А вот сейчас поймете.

Тут Эйхлер бросился к мужику, державшему багор, вырвал его, подбежал к стене, к которой пригвожден был несчастный Зуда, пошмыгал багром где попало, может статься по голове,— малютка освободился от удавки своей; одно усилие, раз, два ручонками по стене, и он на окошке, кувырк вверх ногами и бух прямо в сад Щурхова. Слышно было, что-то упало, и более ничего.

Живой ли упал, разбился ли, или задохся в снежном сугробе, бог знает.

— Что это упало? — спросил Липман недоверчиво.

— Разве вы не слышите, что человек? — отвечал племянник; потом, сунув ощупью багор мужику, подошел к дяде и продолжал, опустив голос: — Издохнет, так не беда! По крайней мере я сделал все, что нужно в моих критических обстоятельствах. Пойдемте, любезный дядюшка; я расскажу вам все дорогой. Ваши сподвижники могут услышать за стеной — тоже... и тогда не пеняйте на себя, если испортите все дело нашего покровителя и отца.

Сделали клич команде обер-гофкомиссара, велели ей идти цепью, одному в нескольких шагах от другого, чтобы не сбиться с дороги и не попасть в Фонтанку, и в таком гусином порядке двинулись к квартире Липмана, на берег Невы. Выдираясь из развалин, не раз падали на груды камня.

— Ах! дядюшка, дядюшка,— сказал Эйхлер тронутым голосом, ведя Липмана под руку,— после великих жертв, после неусыпных трудов, в которых я потерял здоровье и спокойствие, после утонченных и небезуспешных стараний скрыть вашу безграмотность от герцога и государыни, которой еще ныне представил отчет, будто сочиненный и написанный вами; после всего этого вы приходите подглядывать за мною...— и, не дав отвечать дяде, продолжал: — Знаете ли, кто был со мной?

— Нет!

— Зуда.

— Зуда? Давно ли, какие у вас с ним связи?

— Я вижусь здесь с ним уж в третий раз.

— Так, почти так! Мои верные помощники донесли мне только сейчас, что во второй раз сходятся здесь два человека, и потому я... пришел... никак не полагая вас найти... Для чего не предупредили вы меня?

— Потому что боялся дать вам в руки шнур моих замыслов, не скрепив их мертвым узлом. Но, поверьте, штука будет чудная, неоцененная!.. Я не посрамлю ни вас, ни себя; и если за нее не обнимет меня герцог, так я после этого жить не хочу. Хитреца моего я довел до того, что он уж и палец кладет мне в рот... ха, ха, ха! Слышите? в саду Щурхова залились ужасные его собаки. А знаете ли вы, что каждая ходит на медведя?.. Жаль, если лукавец попадет на зубок их прежде моего! Нет, милостивец мой, я всего тебя скушаю и с твоим буяном, Волынским. На место его махну в кабинет-министры, или я не Эйхлер, недостоин милостей, которые вы мне готовите,— я просто ротозей, ворона, гожусь в одни трубочисты. Только прошу вас, умоляю именем его светлости, не мешать мне... если я испорчу дело, ведите меня прямо своими руками на виселицу, на плаху, куда вам угодно.

Эйхлер говорил с таким убеждением, с таким жаром злодейского восторга, так живо описал свои планы, что у старика отошло сердце, как от вешнего луча солнца отходит гад, замиравший в зиму; огромные уши зашевелились под лад сердца, словно медные тарелки в руках музыканта, готового приударить ими под такт торжественной музыки. Пожав руку племяннику, Липман произнес с чувством тигрицы, разнежившейся от ласк своего детенка:

— Ни слова более, мой дорогой, ни слова более! Подозревать вас — все равно, что подозревать себя. Вы одна моя радость, моя утеха на старости; вами я не умру, ибо я весь в вас. Кабы я знал... ох, ох! кто без ошибок?.. не привел бы сюда этих глупцов, не подставил бы ушей для их басен, которые тянут их теперь, будто пудовые сережки. Эй! слушайте! — вскричал Липман своей команде,— если один из вас пикнет, что я нашел племянника в этих дьявольских развалинах, то видите (он указал на Неву)... в куль, да в воду!

С окончанием этого приказа дядя и племянник очутились на крыльце своей квартиры.

Глава V

ОБЕЗЬЯНА ГЕРЦОГОВА

Комар с дубу свалился,
Великий шум учинился.

Старинная
русская песня

В длинной зале, подернутой слегка заревом от затопленной в конце ее печи, против устья этой печи, стоит высокий мужчина пожилых лет, опираясь на кочергу. Одежда его — красный шелковый колпак на голове, фуфайка из синеполосатого тика, шелковое исподнее платье розового цвета с расстегнутыми пряжками и висячими ушами, маленький белый фартук, синеполосатые шелковые чулки, опущенные до икры и убежавшие в зеленые туфли. Взглянув на него, не можешь не смеяться. Но, прочтя на лице чудака, правильном, как антик, безмятежную совесть и добродушие, ирония, готовая выразиться, скрывается внутри сердца. По улыбке его можно прозакладывать сто против одного, что в этого старца поселилась душа младенца. То стоит он в светлой задумчивости, облокотясь на ручку кочерги, то этой кочергой усердно мешает уголья в печи, то кивает дружески четырем польским собачкам одной масти, вокруг него расположенным и единственным его товарищам. Ласки свои этим животным он равно на них делит, боясь возбудить в одном зависть и огорчить которого-нибудь,— так добр этот чудак! Вокруг него совершенная пустыня. Но когда расшевеленные им уголья ярко вспыхивают, уединение его вдруг населяется: князья, цари и царицы, в церемониальном облачении и богатых шапках, становятся на страже вдоль стен или выглядывают из своих желтых смиренных рам, будто из окон своих хоромин. Съесть хотят вас очи Иоанна Грозного, и черная борода его, кажется, шевелится вместе с устами, готовыми произнести слово: «Казнь!» Ослеплен, истыкан судом домашним бедный Годунов, которого благодеяния народу, множество умных и славных подвигов не могли спасти от ненависти потомства за одно кровавое дело (и маляр, как член народа, как судья прошедшего, взял *свое* над великим правителем, пустив его к потомству с чертами разбойника). Гении-утешители яв-

ляются гурьбою, ибо на них не было недостатка в жизни русского народа; но всех заслоняет своим величием Петр, которого одного народу достаточно, чтобы русскому произносить имя свое с гордостью. И в это время, когда толпа гостей обступает чудака, он, посреди них с кочергою, окруженный сиянием, кажется волшебником со всемогущим жезлом, вызывающим тени умерших, и кисточка на красном колпаке его горит, как звезда кровавая. Но вдруг исчезают знатные пришельцы с того света, и зала по-прежнему уединенна и темна. Чудак остается один с своими собачками и с своими светлыми думами.

В соседней комнате, вероятно в прихожей, кто-то читает по складам духовную книгу. Сколько трудов стоит ему эта работа! Между тем в звуках его голоса льется самодовольство: повторяя почти каждое выговоренное слово, он упитывается, наслаждается им, будто самым вкусным куском, какой он только съел в жизнь свою.

— Иван! — закричал чудак в красном колпаке.

Глубокий вздох за дверью объяснил, что чтец с прискорбием оставляет душеспасительное чтение, затем выказалась в зале благообразная фигура старика, одетого чисто и прилично слуге знатного барина. Он стал, сложив пальцы обеих рук вместе на брюхе, довольно выпуклом, и почтительно ожидал вопроса. Этот вопрос не задержался.

— Что, выздоровел ли повар?

— Какой выздоровел, сударь? пьет опять мертвую чашу!

Чудак, в котором мы признаем господина дома, казалось, оскорбился ответом.

— У вас все пьян да пьян! — сказал он.— Верно, болен! Напоить его мятой, малиной, чем-нибудь потогонным.

Слуга покачал головой и с сердцем возразил:

— Вы всех людей перебаловали, сударь! Из пятидесяти душ дворовых у вас некому платья вычистить, кушанье изготовить, берлину заложить.

— А ты, Иван?..

В голосе, которым этот вопрос был сделан, заключались слова: «Ты, мой драгоценный Иван, не заменяешь ли мне их всех?»

Не было ответа. Слуга показывал сердитый вид, как это делает любовница с своим любовником, желая перед

ним пококетничать, и молча шевелил пальцами по брюху. Барин продолжал развивать мысль свою:

— А ты? не готовил ли мне кушанья в походах, не езжал ли со мною кучером, не чистишь ли мне платья?

— Рад вам служить, пока силы есть; да как я захвораю?..

— Ну, ну, Леонтьевич, полно грусть на меня наводить!

Облако уныния пролетело на добродушном лице чудака. Была святая минута молчания. Победив себя, он с твердостью сказал:

— А разве у меня нет рук?

— Воля ваша, сударь, вам самим? холопскую работу?.. это неслыханно!.. Ведь вам *стыдно* будет своей братии бояр!

— Стыдно делать бесчестное дело, а не трудиться. Святые отцы сами работали в поте лица.

Это возражение свалило было с ног всю стрелковую линию доводов, готовых выступить против чудака; но Иван, погладив немногие волосы, окаймившие его лысую голову, поправился и отвечал:

— У святых отцов не было на руках пятидесяти душ служителей и нескольких сот душ крестьян, которых бог и царь вам вручили как детей ваших. А детки эти пустились в худое, забыли вас и господа... *Грешно* баловать их! Ох, ох, сударь, право не худо и лозу, где не берет слово.

— Разве не знаешь, что мы с Волынским условились не наказывать телесно?

— Хорошо Артемию Петровичу! Не в осуждение его сказать, он любит сам погулять, а люди у него словно монахи; вы живете, как отшельник, а дворня ваша...

— Ну, полно, полно, Леонтьевич, уложи свое сердце на псалтире.

Леонтьевич удалился в свою прихожую и снова принялся за чтение по складам, и господин его в красном колпаке стал опять с особенным удовольствием мешать в печи. Но слуга не успел еще вытянуть и одного стиха, как послышалось новое воззвание:

— Иван!

Иван смиренно предстал опять в зале, сложив персты и почтительно наклонясь.

— Дал ли ты рублевик... ну, тому... что вчера приходил?

— Не дал, сударь!
— Так отнеси или отошли завтра.
— Не отнесу и не отошлю, сударь!
— Когда я тебе приказываю!
— Вы приказываете не дельное.
— Я так хочу.
— Не дам, сударь; он пьяница, снесет ваши деньги в кабак. Безделица?.. рублевик!
— Не твои деньги!
— Знаю, ваши; да зачем отдали вы мне свою казну на сбережение?
Минута гневного молчания. Но аргументы Ивана слишком были сильны, чтоб ему противиться, и чудак в красном колпаке, смиренно преклоня пред ним оружие своей логики, сказал сам себе вслух:
— Гм! правда, правда, казна у него! Нечего делать!
И Иван, не дожидаясь дальнейших заключений, отошел в свою келью.
Тут собаки начали сильно лаять; им отозвались четыре польские собачки.
— Иван!
Бедный мученик не заставил себя ждать.
— Видно, забежала опять давешняя коза?
— Помилуйте, сударь, какая коза? Ведь давеча было днем, а теперь ворота на засове.
Дворовые собаки бросились в другую сторону и залились горячим лаем; четыре польские собачки вторили им, хоть уши зажми.
— Ну это, сударь, недаром! — сказал Иван, качая головой, и бросился было на двор, как проворный мальчик.
Навстречу ему толпа челядинцев, разрумяненных, с мутными глазами, растрепанных в пух. Не скоро можно было добраться чрез них до толку. У иных язык худо двигался, у других слишком скоро, будто жернов молол; говорили по нескольку вдруг; у всех говорило вино. Такова была многочисленная дворня у тайного советника Щурхова, которого видели мы в красном колпаке. Примерной чести всегда и твердости душевной только тогда, когда его порядочно разогревали в деле о благе общественном, умный и благородный вельможа, он был самый слабый господин. То не хотел огорчить крестника взысканием, то кума, то сына или племянника своего дядьки и заслуженного у отца его домочадца, а более всего не хотел наказанием ближнего возмутить душу

свою. И потому Иван с мужеством и терпением геройским и честностью немецкою нес весь дом на себе, как черепаха свою тяжелую, но неразлучную оболочку, с которою расстается только вместе с жизнью. Он жаловался иногда на дармоедов, своих товарищей, и никогда на свою судьбу, тем менее на докучного господина. О! его-то он любил самою чистою, бескорыстною любовью и предан был ему до конца своих ногтей и волос. Два слова: *«стыдно и грешно»* — слова эти были краеугольным камнем всей морали Ивана и его господина.

Из окрошки вестей, которыми обдали Ивана, мог он только разобрать, что обезьяна герцога курляндского, вероятно сорвавшись с цепочки, пробралась в сад его превосходительства, завязла было в сугробе, но, услыхав погоню дворовых собак, проворно влезла на стену соседнего дома и виснет теперь на ней, как кошка.

— Окаянная! так и щелкает зубами,— сказал один,— от холоду, что ли, или хочет кусаться, как барин ее?

— Лукава! — продолжал другой,— я было ее рычагом, а она заговорила по-человечьи.

— Сказывают, в обезьяне бес сидит, как в змее: убить, так на том свете сорок грехов отпустится,— кричал третий.

— Убить! убить! — было единодушное воззвание целой вакхической когорты.

На шум дворни вошел Щурхов в переднюю. Узнав, о чем дело шло, потребовал себе калмыцкий тулуп и изъявил желание видеть обезьяну герцога курляндского и, если можно, взять ее в плен.

Война объявлена — не бездельная! — война партий. Щурхов с своими домочадцами принадлежит партии Волынского, обезьяна — бироновской. Составилось в один миг грозное ополчение. Ночь, непогода, дух войска — все благоприятствует; самый лукавый из неприятелей обойден. Идут. Впереди Иван ведет колонну, освещая ей путь фонарем и остерегая ее от снежных гор и опасных мест. Это Мюрат войска. Хотя есть пословица, что на Иване недалеко уедешь, однако ж этот постоит за себя и своих; он вынесет их к славе. За ним сам военачальник. Кисточка на красном колпаке — точка, около которой в случае опасности должны соединиться все силы, победить или пасть; это знамя партии. Овчинный

тулуп его развевается, как тога; кочерга в руках — жезл маршальский. Из воинов—кто несет метлу, кто половую щетку, кто ухват, полено или сковороду. Иван, взглянув с презрением на последнего, кажется, говорит: не оружие несешь ты на врага, но щит против стрел его! Тот с гневом, разумеется мысленно, отвечает: «Возвращусь с щитом или на нем!» В резерве огромная датская собака тащит за собою человек пять героев, пылающих огнем мужества.

У садовой калитки ополчение сделало привал; но, ревнуя скорее стяжать лавровый венец, после мгновенного отдыха двинулось вперед к месту битвы с возгласом: «Плен или смерть обезьяне герцога курляндского!»

Но каково было общее изумление! Лишь только обезьяна при свете фонаря увидела Щурхова, она жалобно возопила:

— Ваше превосходительство, спасите меня!

— А, лукавица! — закричали два-три голоса,—зверь, да знает, кого просить о помиловании. Убить ее!

— Убить ее! — повторили голоса. Один готовился уж пустить в бедняжку смертоносное оружие.

— Стойте! — вскричал отважно Щурхов,— никто ни с места! Иван, и только один Иван, со мною вперед!

Войско опустило оружие и стало как вкопанное. Но общее изумление усилилось, когда обезьяна произнесла подошедшему близко под нее Щурхову:

— Сжальтесь надо мною, Андрей Иванович, ради самого бога! Я разбит, исцарапан, окостенел от холоду: едва душа держится в теле; спасите меня от ваших собак и ваших людей, которые еще злее и безумнее их.

— А, это вы, мой любезный Зуда? Какою судьбою? — вскричал Щурхов, уронив кочергу из рук.— Иван! помоги.

Еще не успел он выговорить этого приказания, как добрый служитель исполнял уж его. Тулупы подостланы под то место, где висел, едва держась за камни, истерзанный Зуда, и секретарь кабинет-министра бросился с своего Левкадского утеса на подстилку, ему приготовленную. В этот раз он бережно упал; но, ушибленный прежним падением, напуганный собаками и людьми Щурхова и окоченелый от холода, не мог двигаться. Сам Щурхов и Иван (прочие герои этого вечера

не в силах были действовать) сделали из своих рук носилки и таким образом отнесли малютку, обсыпанного снегом, будто обсахаренного, в дом, где раздели его, уклали в постель и где влили в него целый медный чайник зеленого чаю (самоваров тогда еще не было). У постели Зуды появилось новое лицо. Это был карла, не участвовавший в походе, но между тем наблюдавший за ним издали.

Уведомили тотчас Волынского, что секретарь его ночует у его приятеля. Да! я забыл еще сказать, что следствием похода была потеря туфли: уверен, что замечание пригодится для будущего историка-чудака в красном колпаке и для оправдания моего на случай, если б кто упрекнул меня в исторической неверности.

Глава VI

СОБАКА-КОНЬ

> В тогдашнее время, когда человек унижался до скота, и животные, по какому-то сочувствию, исполняли низкие должности человека.

На другой день исцелившийся Зуда и добрый хозяин — один в халате и колпаке, другой в колпаке и синеполосатой фуфайке — прохаживались по зале и разговаривали о предмете, для них очень занимательном: именно о способах побороть ненавистного временщика. Иван, эффектно разложив на стульях, будто в магазине, блестящую пару платья, парик и прочий снаряд для великолепного выезда его превосходительства, нарушал по временам разговор убеждениями приняться за туалет. Он просил, докладывал, уговаривал, наконец сердился и грозил уйти доготавливать кушанье. Для Щурхова, привыкшего к свободе и неге домашней одежды, этот вызов был все равно, что предложение надеть кандалы. Ему так хорошо в красном колпаке и тиковой фуфайке! А у него отнимают счастие беззаботности, домашней свободы и хотят стянуть его в латы парчового кафтана, отягчить голову пуком чужих волос, как железным шишаком.

Пока в нем боролась лень с необходимостью, наехали друзья его и Волынского — Перокин и граф Сумин-

Купшин, оба заклятые враги неправды и потому враги Бирона, оба неколебимые столпы отечества и трона. Они верили, что тот дворянин почетнейший, кто забывает себя для пользы общественной, кто не боится говорить правду перед сильными земли за утесненных и беззащитных и готов за эту правду положить свою голову. Уверенность эту доказывали они не словами, а делом. И слово их было все равно, что дело. Кривых, темных путей не избирали они для своих действий, даже против врагов: в обществах, в сенате, в самом дворце, пред государынею, обличали они зло. Зато в свете приобрели имя людей беспокойных: сама государыня, хотя уверена была в их правоте и преданности к себе, считала их людьми докучными. Ни один из них не был лично обижен Бироном, но оба мстили ему за кровное оскорбление отечества.

Зуда только что увидал голову одного из гостей, убежал во все лопатки.

— Готов ли, брат Андрей? — спросил Перокин, продирая свой тучный корпус сквозь открытую половину двери и высовывая в залу огромную голову с выпуклыми, львиными глазами,— ге, ге! да ты еще нежишься, как старая баба.

— Ты не царская постельная собачка, чтоб себя так баловать,— прибавил сердито граф Сумин-Купшин, старичок, белый как лунь, сгорбившийся, как могильный свод, и едва передвигавшийся с помощью огромной трости,— стыдно! Да, кажется, здесь был Зуда в халате, коли не обманывают меня глаза. Секретарь при тайном советнике!.. это еще невидаль на Руси! Ох, ох, Андрей Иванович, перебалуешь ты все, что только около тебя повертится. Погоди, мы за тебя возьмемся порядком.

Покраснев и смутясь, как дитя, застигнутое в шалости своим наставником, Щурхов уже проворно одевался и, запинаясь, робко, с умоляющим взором отвечал:

— Зуда болен, ушибся вчера... ну проворнее же, Иван!

И слуга, оторопевший заодно с своим барином, не заметил, как подал ему парик задом и покрыл им лицо; но Щурхов, не показывая ни малейшего знака гнева, обратил парик назад и осмелился уж сам спросить:

— Что ж ныне за необыкновенный день, что вы торопите?

— Да разве ты не знаешь? Да разве ты не получал нашей записки? — спросили в одно время Перокин и Купшин, с видом и голосом удивления.

— Не знаю и не получал.

— Не может статься! Иван, не было ли посылки к твоему барину?

Иван мог бы сказать: я чистил платье, лошадей, стряпал и прочее; но в таком случае он осуждал бы своего господина, а это было бы тяжелей для него, чем обвинить себя. Он отвечал только:

— Нет, сударь, не видал ничего. Разве спросить карлу?..

Позвали карлу Щурхова. Угрюмое лукавство ежилось на лице его, сбористом и желтом, как старые алансовые манжеты.

— Лежит какая-то бумага в передней,— проворчал он сердито, приводя в движение отвислые щеки, как брыли у собаки,— а какой бес принес ее, не ведаю: я спал на залавке.

Вошел Зуда, прилично одетый, и, как скоро узнал о предмете разговора, бросился в прихожую, где и сыскал бумагу. Щурхов раскрыл ее и начал читать. Между тем Купшин замахнулся тростью на карлу и вскричал с сердцем:

— О! если бы я не боялся греха, придавил бы эту гадину в образе беса. Вон, мерзавец, и в кухню!

Жалобно зарюмил карла и, выходя из комнаты, сквозь слезы проклинал свое житье-бытье при таком негодном барине, который позволяет чужим господам бранить у себя в доме своих верных служителей.

— Наконец, благодаря господу,— сказал Щурхов с чувством, перекрестясь,— государыня назначила нам ныне аудиенцию, которую мы так долго от нее испрашивали.

Зуда покачал головой и произнес со вздохом:

— Думаю, что это предприятие только что испортит все дело. Еще слишком рано!

— О! коли дожидаться окончания ваших планов, перецеженных и перетроенных,— возразил граф Купшин, горячась,— так надо ждать второго пришествия. Нет, сударик мой, мы, с нашим простым умишком, хотим, помолясь богу, приниматься тотчас за работу; по-нашему, настоящая пора! Дай нам, голубчик, описать тебе самому, до какого жалкого состояния вы, с вашею хитростью и дальновидностью, с вашею ученостью, до-

вели наше дело и как мы думаем его поправить, разумеется, с божьею помощью: без нее же все прах и суета. Теперь уложи масштаб и циркуль своего ума в карман, поверь здравым рассудком и добрым сердцем наше намерение, а там возражай. Вникни и ты хорошенько в дело, Андрей Иванович, и помоги нам во дворце. Нас не так скоро послушают — мы слывем озорниками, может статься и проговоримся; а ты нас поддержи: государыня жалует тебя больше нашего; стоит тебе зажурчать сладкою своею речью, так поневоле развесишь уши и ретивое заговорит с тобою заодно.

— Ого! если и впрямь так, сделаем что можно и должно,— подхватил Щурхов, охорашиваясь.

Глаза его заблистали, движения и речь стали тверды; казалось, что Купшин пустил во все жилы его свежую, горячую кровь, и если бы дали ему в это время начальство над лихим эскадроном, он славно повел бы его в атаку, в пыл битвы. Это был священный костер, на который надобно было только посыпать ладану, чтобы он загорелся.

«Чего не сделает эта золотая голова! — думал Иван, слушая с умилением похвалу своему барину и смотря на него с гордостью матери.— О! кабы не потворство нашей братье, мог бы прямо на место герцога!»

Граф Сумин-Купшин продолжал:

— Волынской от своей молдаванки с ума сошел — мы всё знаем, господин Зуда, хоть никого ни о чем не расспрашиваем, всё знаем. В наше время наушничество в таком ходу, что услышишь поневоле и то, что ввек не хотел бы слышать; душонки и языки налажены на всякую скверность; коли нельзя попасть в шептуны к фавориту, норовят в угодники к второстепенным и так далее, смотря по случаю. А в случае только тот, кто при ушке. Чай, у моего камердинера, у твоего дворецкого, у его мамки есть свой наушник. Впрочем, и то сказать, шила в мешке не утаишь. И так знаем, что брат Артемий вовсе потерял голову, расслаб, будто хворал несколько месяцев. Стал труслив, как заяц, не за себя — о! он до этого не дошел и не дойдет, я уверен в этом; но, сберегая честь и спокойствие молдаванки, дает над собою верх Бирону, попускает злейшему врагу России грабить ее и губить. Бедный Артемий! до чего осетил тебя дьявол!.. Всегда сам был первый в заговоре против временщика, лез из кожи вон, как скоро кто против его замыслов, хоть глаза выцарапать; а теперь готов в по-

пятную. Ясно и верно, как дважды два — четыре, что участь нашего друга держится на одной цепочке с тайною молдаванки. Тронься он только на какое дело против Бирона, и княжну сделают чернее угля: вот чего страшится несчастный, попавшийся в эту западню, хитро устроенную, нечего таить, господин Зуда!

— Нельзя расчислить,— примолвил Перокин с сильною грустью,— до чего дойдет гнев государыни, когда она узнает, что Волынской обольстил ее любимицу. Несчастный разбил лучшую ее игрушку!.. (Зуда хотел что-то возразить, но говоривший сделал ему знак, чтобы он молчал.) Действительно ли это так и буквально ли так — не ведаем: стыдно нам входить в подробности этого дела; но у фаворита есть свидетели... статься может, в его руках находится и переписка: чего же более для улики Артемия Петровича? Во всяком случае безрассудно, стыдно, грешно!.. Оправдания нет. Но всего этого не воротишь. Дело в том теперь, чтобы спасти нашего друга наперекор ему и, если можно, через него спасти нашу кормилицу Россию. Бедная Россия! не молоко, а кровь выпытывают из грудей твоих. Отважим за тебя все, чего дороже нам нет на свете; а там буди воля божья!..

Тронутый Перокин остановился, как бы для того, чтобы собрать силы на объяснение трудного подвига, на который он решался, и потом продолжал с особенным чувством:

— Сердце мое придумало только одно средство, крайнее, решительное. Время терять не надо: Вот видишь, в чем это средство. Волынской не любит жены своей, а моей бедной сестры; это ясно: что делать? насильно мил не будешь! Может статься, причина этой холодности и та, что она не имеет детей. Сестре я почти все открыл письмом и убеждаю ее для блага общего согласиться на развод. Теперь же отправляемся к государыне с тем, чтобы ей рассказать, как друг наш вовлечен в любовную связь с княжной, как Бирон старался всячески усилить эту связь — на это и мы представим документики — и будем умолять ее величество позволить Артемию Петровичу развестись с его женой. Уверены, что государыню легко убедить к согласию — она души не чает в молдаванской княжне; духовные особы после того не запнутся. Таким образом, Волынской выйдет сух из воды, и государыня получит сильное предубеждение против своего любимца. Тогда предста-

вим ей в живых красках несчастное положение России, объявим, как верноподданные, что для спасения отечества от систематического грабежа и опустошения, для избавления самой государыни от нарекания потомства остается ей удалить от себя курляндца и вручить кормило не государства, но государственных дел Волынскому.

— А сестра твоя?..— спросил сквозь слезы Щурхов.

— Это его дело, а не твое,— прервал с твердостью граф Купшин.— Там нет ни сестры, ни брата, там нет родства, где дело идет о благе отечества. Трудна жертва нашего доброго Петра, кто из нас с этим не согласится? Но я сам первый положил палец в эту рану и уверен, что, кроме ее, нет другого спасения. Ожидаем теперь твоих возражений, Зуда.

— Какие возражения!..— Зуда трепетал от изумления и радости; он готов был пасть в ноги вельможам, сознаваясь, что минута благородного восторга может иногда более дальновидных, тонких расчетов ума.

— Теперь,— продолжал граф Купшин,— благословясь, посоветуемся, как повести ловчее речь матушке государыне: ум хорошо, а два лучше! Худо только то совещание, где много умничанья — это знак, что совещатели думают более о себе, нежели о благе общем.

Все перекрестились, положили по три земных поклона пред образом спасителя; за ними последовал в благоговейном умилении Иван, которого не считали ни лишним, ни опасным в этом дружеском совещании. После того начали разбирать, что каждому из трех вельмож, собиравшихся на аудиенцию к государыне, надо было говорить: приготовлялись немного — каждый должен был сказать, что бог положил ему на сердце для блага отечества. И вот собрались они во дворец, одушевленные чистотою и благородством своих намерений; но между тем встретилась помеха.

За дверьми подслушивал карла Перокина. Этот хотя и наружностью поприятнее был карлы Щурхова, но не менее лукав и зол. Подобравшись на цыпочках к замочной щели и затаив дыхание, повиснул на ней слухом. Хотя Зуда выходил в прихожую наведаться, не подслушивает ли кто, но застал его дремлющим в дальнем углу на залавке — так умел он мастерски спастись от всякого подозрения! Узнав о замыслах друзей, уродец-

слуга тихонько, бочком, выполз из прихожей на двор и — к приятелю своему, безобразному карле Щурхова.

— Во что ни станет,— сказал он ему, передав сущность совещания,— обернись хоть птицей и дай знать проворнее герцогу об этих замыслах.

Усмехнулся безобразный карла так, что задрожали брыли его. Это предложение для него находка, сладкий кусочек на голодный зуб. Лучшего случая не найдется отомстить грубияну Перокину и его друзьям.

— Ступай в свое место, будет сделано! — отвечал он; перекатился в кухню, взял оттуда добрый кусок мяса, растерзал его надвое зубами, свистнул, гаркнул:— Удалая! сивка-бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лес перед травой.

Откуда ни возьмись огромная датская собака, выше его ростом, прямо к нему; начала около него ластиться, визжать от радости, махать хвостом, обнюхала куски мяса, но не осмелилась схватить их.

— Сослужи мне службу,— сказал бесенок, потрепав Удалую по спине.

Датчанка хорошо поняла волю его и вытянулась, как выезженная верховая лошадь; карла скок на нее, схватился одной рукой за шею, как за гриву, а другой бросил кусок мяса за ворота; собака туда ж, схватила кусок и, взметая пылью снег из-под ног, лётом помчала своего седока прямо к Летнему дворцу, который был не далее ста сажен от дома Щурхова.

Такое путешествие делал бесенок не в первый раз; он езжал на своем Буцефале и в Гостиный двор и на почту. Собака-конь известна была в околотке. Причину ее любви отгадать не трудно: он кормил ее, когда другие забывали это исполнить.

У заднего подъезда Летнего дворца соскочил он с нее прямо на крыльцо, спросил, кого и что нужно, передал все верно, получил свою награду, опять на коня, который исправно дожидался его,— выдал ему собачью награду, остальной кусок мяса, и, будто ни в чем не бывал, мигом возвратился домой, торжествуя в сердце свой подвиг. На радости бросил он гривну дворне.

— Пейте за здоровье Удалой! — закричал он — и все пило за здоровье собаки-коня.

Друзья совсем было собрались во дворец, когда явился курьер герцога курляндского с пакетом от его светлости.

— Что за новость? — закричали друзья.

Распечатан пакет, и в самом деле неожиданная, чудная новость отняла у них языки и движение. Вот что заключалось в пакете:

«Ее императорское величество приказала объявить вашему превосходительству, что назначенная вам аудиенция отменяется до другого, неопределенного дня. Вместе с сим повелено дать вам знать, чтобы все, имеющие вход ко двору, дамы и кавалеры, явились в параде ныне, в час пополудни, в квартиру Педрилло, на родины его супруги, придворной козы».

Подлинный подписал: Эрнст, герцог курляндский.

Этот ордер был на имя его превосходительства Андрея Ивановича Щурхова. Посланный герцога, узнав, будто нечаянно, что у господина тайного советника находились гоф-интендант Перокин и сенатор граф Сумин-Купшин, вручил им по такому же извещению.

Долго еще после ухода вестового стояли друзья, будто ошибенные громом. Унижение, стыд, грусть раздирали им душу.

— Какая жестокая насмешка! — сказал, наконец, Перокин, пыхтя от досады.

Граф Купшин дрожал от чувства унижения и молча исколотил своею тростью невинный пол.

Щурхов кряхтел.

И все трое отправились к Волынскому, уверенные, что унижение до такой степени русских вельмож должно взорвать его и подвигнуть на благородную месть.

Глава VII
РОДИНЫ КОЗЫ

Страшитесь, чтоб коза
Не обернулась волком.
Et toi, Brutus?..

Voltaire[1]

Молчи, все знаю я сама:
Да эта крыса мне кума!

Крылов

Волынской получил также приглашение явиться в квартиру Педрилло, на родины его четвероногой половины. Он не рассуждал: унизительно ли для кабинет-

---

[1] И ты, Брут?.. *Вольтер (фр.).*

министра, вместо того чтобы заниматься государственными делами, присутствовать при невиданном и неслыханном шутовском представлении. До того ль ему, когда рассудок его помрачен обстоятельствами, в которые он впутал себя и княжну Лелемико с помощью благоприятеля своего — Бирона. Он не оскорбился этим приглашением: после вечера, в который сердце его наслаждалось таким блаженством и изведало столько мук, оно не могло остановиться ни на каком определенном чувстве. То клялся он ужасною местью отомстить врагу за насмешку и тотчас отступал от своего намерения, страшась подвергнуть бедную княжну стыду и унижению, гневу государыни и бог знает какой несчастной участи. Одна мысль об этом останавливала в нем кровь, и он внутренно мирился на несколько мгновений с Бироном, называя его молчание насчет рокового вечера благородным поступком, между тем как этот поступок был только дело холодного, утонченного расчета. То сбирался он писать к жене — добрейшему, прекрасному созданию, которое столько любило его и ни разу, с тех пор как они жили вместе, не подало ему причины к неудовольствию; решался изобразить ей свою неблагодарность, свое безрассудство и просить ее возвратиться скорее в Петербург, чтобы спасти его от него самого. Он даже плакал слезами раскаяния. Но этот припадок благоразумия и совести был краток: одна мысль о Мариорице с пылающим поцелуем — и все намерения исчезали, как тень, наведенная мимолетным облачком, и душа его с жадностью хваталась за чашу наслаждений, еще недопитую. «Погоди,— нашептывал ему сатана-страсть,— не весь еще мир дивных восторгов развил я для тебя; я раскрою тебе чертоги, полные чудес. Счастливец! знаешь ли, что блаженство, которое далось тебе так легко, согласился бы иной купить огнем вечным; а ты не хочешь заплатить за него несколькими часами муки земной? Взгляни только на нее: оцени сокровище, которым обладаешь, и — трус! уступи его, если можешь, угрозам судьбы и людей».

И несчастный поддавался опять своей страсти, а может статься, только силе своего пламенного воображения. «Но,— думал он,— если Мариорица узнает, что я женат? Каково ей это услышать в обществе, между подругами, может статься при самой государыне! Она изменит себе, она погубит себя и меня. Если она и будет уметь скрыть свое смущение, каково мне тогда показать-

ся ей на глаза? Что сказать? Какое извинение принести? Нет! лучше самому предупредить ее, объявить ей письмом все, как было. Страсть все оправдает. Другого средства нет спасти ее от нового мучительного положения. Надо, чтобы она, рано или поздно, это узнала: довольно, что я два, три месяца скрывал свою тайну; надо когда-нибудь развязку. Развод с женой еще остался к моему спасению. Есть надежда!.. Что будет, то будет!»

Все это, однако ж, легче было говорить в чаду страсти, со слов надежды, нежели сделать. Кажется, на душу его набегали уже нечистые своекорыстные намерения. Благородного, возвышенного Волынского нельзя было в нем узнать, так сети лукавых, его безрассудство и любовь опутали со всех сторон уж и сердце его.

Он написал письмо к княжне; но с кем доставить его? Не новую ли неосторожность прибавить к прежним и усилить несчастие Мариорицы? Бывало, цыганка так проворно, так мастерски исполняла его поручения; а теперь нельзя и подумать, чтоб согласилась взяться за это дело эта чудесная, загадочная женщина, столько похожая на княжну и такая заботливая об ее спокойствии и счастии, как будто это спокойствие и счастие были ее собственные — даже более, чем ее. Как жестоко платит она Волынскому за его преступную любовь! Цыганка неугомонней его совести; везде преследует его. Он во дворец — цыганка тут, на дворцовой площади, у дворцового крыльца, кивает ему, указывает на небо; он из дворца — неумолимая опять тут же и опять напоминает ему небо. Кабинет-министр думает уже употребить против нее свою власть: ей ли напоминать ему его обязанности?..

Какие ж средства возьмет он доставить письмо? Он зван на родины придворной козы. Кстати, он заедет во дворец доложить государыне, что все затеи к свадьбе Кульковского готовы, и спросить, когда ее величеству угодно будет назначить день для церемонии. Не увидит ли там Мариорицы? не удастся ли отдать ей письмо?

Лошадей! — он скачет во дворец. След его кареты занесло уже снегом, когда приехал к нему дружеский триумвират и с ним маленький Зуда. Что делать? Перокин объявляет, что он не поедет на шутовские родины козы, хотя на то была воля государыни. Щурхов колеб-

лется: он хотел бы возвратиться к своему красному колпаку, тиковой фуфайке, польским собачкам и неизменному Ивану, к своей блаженной лени и свободе, к своему маленькому миру, заменяющему все, что за ним делается в большом, земном мире. Граф Сумин-Купшин едет, но клянется, что не умолчит перед государыней унижения, в каком фаворит водит русское дворянство на шутовской цепочке или на колодничьей цепи. И коль скоро оба друга его узнают его твердое намерение, они клянутся разделить с ним опасности и честь этого дня.

Проезжая дворцовую площадь, Волынской боится взглянуть сквозь окно кареты, чтобы не увидать своей совести, воплощенной в виде цыганки.

Он застал государыню на выходе из внутренних покоев. Ее принимает под руку Бирон с подобострастием самого преданного слуги.

— Подождите,— сказала она, возвращаясь назад,— я хочу перекрестить свою Лелемико *от призору очес*.

Вдали, в дверях, показалось, как в раме, бледное, но все еще прекрасное лицо и стройная фигура восточной девы. Не знаю, говорили ли мы, что государыня находила особенное удовольствие почти каждый день переряжать ее по своему вкусу; над ней, как над куклой, делала она опыты костюмов разных народов, а иногда по собственной прихоти соединяла их несколько вместе. Особенно любила играть ее длинными черными волосами: то рассыпала их кругом головы, то свивала густыми струями вдоль щек и по шее, то заплетала в две косы, позволяя им сбегать из-под золотой фески, или обвивала ими голову под собольей шапкой, или пускала по спине в одну густую косу почти до полу. И всегда кстати можно было сказать княжне: «Во всех ты, душенька, нарядах хороша!» Ныне Мариорица одета по-своему, по-молдавански. Увидав Артемия Петровича, она вдруг вся вспыхнула и побледнела. Эти перемены были так быстры, что глаз едва мог за ними следовать. Государыня подозвала ее к себе, перекрестила, поцеловала в лоб и в глаза, потом, обернувшись к своему кабинет-министру, примолвила:

— Я ведь правду говорила, что вы сглазите мою Лелемико, помните ли?..

Волынской хотел улыбнуться, но его улыбка выразилась так насильственно, что походила на гримасу: бледнея, он искал слов — и не находил их. В словах

государыни было столько убийственной правды. Княжна, не зная также, что делать, целовала руки государыни и в этих ласках старалась укрыть себя от наблюдательных взоров, на нее обращенных.

— Каково? вы не помните! — сказала государыня, возвращаясь назад и приняв руку Бирона, чтобы на ней опереться,— вот видите, женщины — памятливее!

— Виноват, ваше величество... дела государственные...— заботы, могли...— отвечал, не докончив ответа, смущенный Волынской.

Государыня, усмехаясь, продолжала:

— Ох, ох, Артемий Петрович, недаром говорят, что у вас глаз не простой. Воля ваша, вы знаетесь с нечистой силой! Поверите ли, я сама иногда хочу на вас посердиться; но вы лишь только на меня взглянете, я, хотя и владычица могущественной империи, уступаю вам...

В это мгновение герцог так грубо отнял свою руку, что государыня покачнулась набок своим тучным корпусом и, может статься, подвергла бы себя неприятности и стыду падения, если бы ловкий кабинет-министр, оживленный лестной шуткой императрицы, не успел поддержать ее и занять место Бирона.

— Что с вами, герцог? — спросила она, покраснев и с сердцем. Но этот гнев только что промелькнул. Государыня была женщина и скоро перетолковала по-своему досаду герцога. Она в свою очередь отняла потихоньку руку от Волынского, кивнув ему, однако ж, ласково в знак благодарности, потом протянула руку Бирону, от которой этот не смел уж отказаться, покачала головой в виде упрека и примолвила дружеским тоном: — Что с вами, мой любезный Эрнст?.. Если на вас нашел вчерашний припадок, отдохните: а я не хочу другого провожатого, кроме вас...

После этих слов можно ли было думать побороть любимца государыни в уме и сердце ее? Несчастен, кто это замышлял только! Правду говорил Зуда, предрекая Волынскому неудачу в самом начале борьбы его с Бироном. Но кто разгадает сердце человеческое, этого сфинкса, доселе неразобранного во всех причудах его, этого оборотня, неуловимого в своих изменениях? Одна минута — и государыня могла перемениться.

С неудовольствием уступил Волынской своему счастливому врагу, но воспользовался этим случаем, чтобы отстать от государыни, продолжавшей свой путь к одной

из внутренних дворцовых лестниц. Бросив, как милостыню, слова два-три то одному, то другому из свиты ее и, между разговором, давая проходить толпе, жаждущей лицезрения императрицы, он очутился один в комнате. Оглянулся назад — сердце угадало — Мариорица стоит на конце этой комнаты, унылая, неподвижная, опираясь на ручку двери. Она провожала его взорами, подстерегала в его движениях и взглядах хотя минутное к себе участие; душа ее влеклась по его следам. Как скоро она заметила, что Волынской отстал, любовь заиграла румянцем в ее щеках.

Артемий Петрович опять осмотрелся — в комнате ни души! Вынул письмо из кафтана, преклонил его до земли, положил на ближайшее окно, стараясь объяснить страстною мимикой, что сердце его раздирается от горести, и поспешил догнать свиту императрицы и вовремя вмешаться в толпу. Мариорица схватила письмо, прижала его к сердцу и исчезла. Все это было сделано в два-три мгновения, быстрые, как молния. У квартиры Педрилло успел еще Артемий Петрович быть замеченным государыней и — в отсутствие Бирона, уходившего вперед установить зрелище,— взыскан милостью ее, выраженною глазами и на словах. Такое обращение государыни с Волынским держало еще некоторых царедворцев в надежде, а других в страхе, не поколеблются ли решительно на его сторону весы царского благорасположения к невыгоде Бирона.

Диво-дивное ожидало зрителей в квартире Педрилло, превращенной на сей раз из нескольких комнат в одну обширную залу со сценою, на которую надо было всходить по нескольким ступеням. Сцена была убрана резными атрибутами из козьих рогов, передних и задних ног, хвостов и так далее, связанных бантами из лент. Во глубине сцены, на пышной постели и богатой кровати, убранной малиновым штофным занавесом, лежала коза, самая хорошенькая из козьего прекрасного пола. Она убрана была в блондовый чепец с розовыми лентами; из-под шелкового розового одеяла, усыпанного попугаями и заморскими цветами, изредка заметно было беспокойное движение ее связанных ножек. Впрочем, она глядела на посетителей довольно умильно, приподнимая по временам свою голову с подушки. Подле нее, на богатой подушке, лежала новорожденная козочка, повитая и спеленатая, как должно. От обоих концов кровати до авансцены расположены были в два ряда все

придворные шуты, кто прямо, как столб, кто сгорбившись более или менее, кто на коленах, так что представляли собою лестницу, восходящую к стороне кровати. Все они были в блестящих кафтанах и пышно причесаны. Двое из них, один против другого, держали по дымящейся курильнице, двое по умывальнице, и в таком же порядке по серебряному блюду, утиральнику, шитому золотом, и другим вещам, нужным для туалета. За кроватью, в почтительном отдалении, стояло несколько десятков карл и карлиц с козьими рожками, рыльцами и в косматом одеянии из козьей шерсти, а ближе к родильнице, в таком же наряде, с прибавкою чепца,— повивальная бабка, которая по временам брала на руки новорожденную и убаюкивала ее. Не видать было одного Балакирева; он накануне дошутил свою последнюю земную шутку, уложась в гроб и не вставши из него. (За несколько дней назад потребован он был к герцогу для получения отеческого наставления за острое словцо, не вовремя сказанное временщику.) Педрилло, одетый богаче прочих своих собратий и вчесанный двумя этажами волос выше их, при ордене Бенедетто, принимал гостей со всем приличием, должным их сану, и непринужденною заботливостью хозяина-придворного.

Введенная в спальню родильницы, государыня подошла к постели, изволила высыпать из кошелька на особо приготовленную подушку несколько десятков золотых монет *на зубок* и потом спросила госпожу Педрилло об ее здоровье. Родильница (тиснутая за ногу повивальною бабкой) преумилительно заблеяла ответ, и вместе с этим весь ее козий штат заблеял хором: кто басом, кто тенором, кто дискантом, чему ее величество изволила от души смеяться. В то же самое время кабинет-секретарь Эйхлер записывал на длинном листе особ, бывших в зале, и потом, когда Анна Иоанновна присела на кресла, герцог вызывал по этому списку всех посетителей и посетительниц, одного за одним, по классам, с тем чтобы они подходили к родильнице и исполняли то же, что сделала государыня. Выполнивши этот обряд, спрашивали также о здоровье *госпожи* Педрилло, и на каждый вопрос давала она исправно козий ответ, которому вторил тот же гармонический хор. На сцене одни шуты удерживали свое хладнокровие и важность, от чего еще более усиливалось смешное зрелище. Одним словом, потеха была такая, что государыня забыла свою болезнь и

хохотала до слез; все за нею смеялось также, не в состоянии быв соблюсти должного приличия, чем она нимало не оскорблялась. И Волынской положил свою богатую дань на подушку родильницы; и он наведался, как и прочие придворные, о здоровье козы!..

Между тем как толпа обоего пола в неподдельном восхищении обступала постель родильницы, вошли в залу три человека и стали посреди нее, как бы оглашенные, сомкнувшись рядом. Один, седовласый старец, опирался в глубокой горести на трость: в нем узнают графа Сумина-Купшина. Не трудно угадать, кто были по бокам его. Появление этих трех фигур, так смело и дружно отделившихся от придворной толпы, так одиноко, молчаливо и мрачно стоявших посреди огромной комнаты и веселия шутовского праздника, дерзавших, по-видимому, ослушаться воли императрицы, сковало смех и обратило на себя общее внимание. Пророки, явившиеся в сонме грешников, не сделали бы между ними большего впечатления. Сначала пронесся глухой шепот в толпе; потом все замолкло, вперив взоры на лицо государыни, на котором хотели разгадать приговор дерзким возмутителям ее удовольствий. Бирон казался встревоженным, ожидая на себя, по предчувствию нечистой совести, какого-нибудь нападения этих смелых подвижников правды. Не менее его смутился Волынской. Сама государыня, которую всякая нечаянность сильно тревожила, пораженная грозною неподвижностью трех друзей, не могла скоро освободиться от мучительного чувства, ее обнявшего. Наконец, она спросила, обратясь к герцогу:

— Что они там? велите им подойти.

Хозяин праздника, Педрилло, сошел к ним и объявил волю государыни, чтобы они подошли к родильнице и сделали то же, что и другие. Вельможи не дали ответа, и Педрилло доложил, что они не повинуются.

— Опасные люди!..— сказал Бирон, наклонясь почти к уху государыни.— Я вам уж докладывал, что они замышляют... Еще ныне получил я тайные известия о худых намерениях... заговор... статься может, они выбрали этот случай... есть важные сообщники... но я взял свои меры.

Петр, Екатерина и... (умолчим: он жив — живым хвала столько похожа на лесть) пошли бы навстречу беде. Так делают великие духом; но Анна Иоанновна была больная женщина, и любимец ее умел пользовать-

ся ее немощами. Оторопев и бледнея, она шепотом просила его усилить свои предосторожности на случай худого намерения. Бирон пошел отдавать кому нужно приказы. Страх невольно сообщился толпе; а чего боялись — никто не знал.

Эти распоряжения, этот страх достойны были смеха: опасность существовала только на языке коварного фаворита и перешла в воображение государыни, покоренной его демонскому влиянию, от нее к женщинам и некоторым царедворцам, испуганным, может быть, только для виду, из угождения.

Все заволновалось.

Волынской, слышавший коварные остережения Бирона, вспыхнул — он забыл все, и Мариорицу, и свою любовь, и свои опасения; он видел только благородный подвиг друзей — и одной искры прекрасного, брошенной вовремя в эту душу, довольно было, чтобы воспламенить ее. Пока не падает луч солнца на Мемнонову статую, она не издает дивных звуков. Он подошел к государыне и сказал ей с особенною твердостью:

— Напрасно коварство пугает ваше величество пустыми опасениями. Я кладу голову мою на плаху, если эти господа не пришли повергнуть к стопам твоим, как верноподданные, а не как бунтовщики, моления бедствующего отечества, которым внять пора.

Этою смелою речью открыта была война соперников, скрывавшаяся доселе в потаенных действиях.

— Здесь не место для докладов,— вскричал озлобленный Бирон.— А чем, сударь, назвать, как не бунтовщиками, людей, которые приходят возмущать удовольствия ее величества и в глазах ее противиться ее воле. И вы, господин кабинет-министр, заодно с ними!

— Да! всегда заодно с верными сынами отечества, а не врагами его! И я горжусь этим, ваша светлость! — отвечал Волынской.

— Что за споры в присутствии моем? — сказала государыня сначала гневно, потом смягчив голос.— Здесь, конечно, вовсе не место... Мне нигде не дадут покоя, боже мой!.. Этого недоставало!.. И вы, Артемий Петрович?..

Обратясь к Волынскому, государыня покачала головой, как бы хотела сказать: «И ты, мой сын?.. Тобою я так дорожила, так долго сберегала тебя от нападений моего любимца, закрывала своею грудью, а ты поразил меня так нечаянно, прямо в сердце?» Хотя этих слов

произнесено не было, но Артемий Петрович выразумел смысл их в голосе и взорах императрицы и, покорясь ее милостивому упреку, приблизился к друзьям и просил их выбрать другое время и место для своих представлений.

— Где ж место,— воскликнул с негодованием граф Сумин-Купшин,— когда мы не можем более иметь доступ к нашей государыне? Ныне назначена была нам аудиенция у ее величества — и что ж? выгоды иностранного шута предпочтены выгодам отечества?

— Мы не выйдем отсюда, пока не будем услышаны,— произнес с жаром Перокин.

Все трое подошли к сцене и пали на колена перед императрицей. Восторженный старец продолжал:

— В последний раз, может быть, перед смертным часом, пришли мы говорить тебе истину. Вели нас казнить, но выслушай ее! Поруганная злодеем Россия взывает к тебе, матери ее. Услышишь голос ее позднее, там, где и цари предстают на суд верховного владыки и отдают ему отчет в делах своих; но тогда уж будет не время. Каждый из твоих подданных явится к тебе не на коленах, как мы теперь, с молением и слезами, но станет обвинителем твоим, укажет господу на кровавые язвы свои, на рубища, на цепи, которыми ты позволила недостойному любимцу нас отягчить, расскажут господу унижение человечества. Скоморохи предпочтены истинным слугам отечества и твоим, подозрение дало брату нож против брата, сыну против отца.

Бирон давно взял государыню под руку и приметно увлекал ее, сохраняя, однако ж, наружное уважение.

— Не хочу ничего слышать,— кричала она, махая платком и сходя со ступеней.— Здесь не место, говорю вам. Я вам назначу день... Не хочу ничего слышать... Они продолжают. Боже мой! Боже мой! Грубияны, дерзкие, бунтовщики!

— Нет, государыня, матушка наша, мы не бунтовщики,— прервал Щурхов,— вели нам пролить кровь нашу, но только за тебя и отечество, и мы источим ее до последней капли. Умилосердись над своею Россиею: грудь ломится у ней оттого, что она, боясь проговориться, затаила даже свое дыхание; все ходит в ней на цыпочках, чтобы не оскорбить слуха курляндского герцога; верные сына твои запаяли свои уста, придавили свое сердце, чтобы оно не выстучало заветной чести и правды. Русские до того дошли, что стыдятся, не только

что боятся, быть благородными. Правда и опала, честь и казнь — стали одно и то же.

Государыня, продолжая идти, не слыхала уж этих слов. Скоро сковалось около нее кольцо из царедворцев, так что нельзя было видеть ее, и она осторожно вынесена потоком, хлынувшим из квартиры Педрилло.

Зала опустела, и стало в ней так тихо, как в хижине поселянина, когда он со всею семьею своей отходит в поле. Остались только на ступенях сцены три друга, в прежнем положении на коленах, опустив печально голову, и посреди сцены Волынской, прежний Волынской, во всем величии и красоте благородного негодования, выросший, казалось, на несколько вершков, отрясая свои кудри, как гневный лев свою гриву, подняв нахмуренное чело и пламенные взоры к небу — последней защите отечеству против ее притеснителя. На постели лежала еще бедная, связанная козочка, и подле нее, прикованная к кровати страхом, повивальная бабка, карлица, одетая по-козьему.

Наконец, три друга встали, послав дружески горестный взгляд кабинет-министру, с которым примирил их благородный его характер. Он подошел к ним. Все молча пожали друг другу руку.

— Разве бог и Елисавета — дщерь великого Петра, а не Анна — спасут Россию! — воскликнул, вздохнув, граф Купшин.

Еще не успели они выйти из дворца, как Щурхову, Перокину и графу Сумину-Купшину объявлен арест в крепости. Щурхов просил одной милости — прислать ему в место заключения четырех польских собачек его, колпак и фуфайку. Об Иване он не упоминал; но этот сам явился, и ему не отказали в почетном месте на соломе возле его господина.

Глава VIII

ПИСЬМО И ОТВЕТ

В письме [1], переданном, как мы уж сказали, княжне Лелемико, открывал ей Волынской, со всем красноречием страсти и отчаяния, что он женат. Вместе с этим,

---

[1] Письмо это выпущено по обстоятельствам. *(Примеч. автора.)*

стараясь возвысить ее до небес, делая из нее женщину необыкновенную, как будто нездешнего мира, думал данью лести умилостивить ее и испросить себе прощение. Ослепленный, он еще не знал ее хорошо.

Ответ.

«Не знаю, выше, ниже ли я других женщин; но уверена, что ни одна не может любить тебя, как я.

Несколько уж дней известно мне, что ты женат. О женщине, которую называют твоей женой, говорили при государыне. Сначала поразило меня это известие, не скрою от тебя. Но оно пришло поздно. Я не могу переменить себя, не могу покинуть любви своей; она сильнее меня, сильнее самой судьбы! И как и откуда изгоню я тебя? Нет капли крови во мне, которая не напитана была бы самою пламенною к тебе любовью; нет биения сердца, которое не отозвалось бы ею,— места во всем существе моем, где бы ты не жил. Я вся твоя! Имей сто жен, сто любовниц — я твоя, ближе, чем кора при дереве, растенье при земле. Делай из меня что хочешь, как из вещи, которая тебя утешает и которую, измявши, можешь покинуть, как из плода, который ты волен высосать и — бросить!.. Я создана на это; мне это определено при рождении моем. Говори мне что хочешь против себя; пускай целый мир видит в тебе дурное: я ничего не слышу, ничего не вижу, кроме тебя — прекрасного, возвышенного, обожаемого мною!

Ты виноват предо мною?.. Никогда! Ты преступник из любви ж ко мне: могу ль тебя наказывать? Каждый удар на тебе повторился бы сторицей на моем сердце.

Видишь, я женщина слабая, самая слабая женщина!

Скажи мне только, милый, бесценный друг! что ты не любишь своей жены; повтори мне это несколько раз: мне будет легче. И она не стоит тебя! Если б она тебя любила, покинула ли бы тебя на такое долгое время?

Погода или вёдро будет, подъезжай в полночь к дому Апраксина. Я хочу доказать тебе, как я тебя люблю. Горничная моя предана мне; она подкупила еще одного верного человека: меня проводят. Доставь мне в другое время денег, поболее денег — все для тебя, мой неоцененный друг! Если б можно, я подкупила бы весь мир, чтобы владеть тобою — без страха за тебя».

Ответ написан, но с кем послать? Горничная, которая со времени рокового вечера освобождена от даль-

нейшего присмотра за княжной и доносов (за что положила уже сто земных поклонов), с восторгом отправляет при ней должность поверенной. Груня переродилась; она уж не раба, а слуга самая преданная, самая усердная. Для своей барышни полезет в огонь и в воду. Что делается свободно, делается так легко, так успешно. Тяготит ее только по временам память прошедшего: особенно мучит похищение из ящика всех записок, полученных княжною от Волынского. Сколько могла, облегчила она этот удар для Мариорицы. «Непременно требовали этих записок»,— говорила Груня; но она, желая избавить свою барышню от позора, в отсутствие ее поспешила сжечь их и потом сказала лазутчику Бирона, что сама княжна их сожгла. Груды пепла свидетельствовали об истине ее слов. Обманутая Мариорица, собрав пепел, плакала над ним, как над прахом любимого человека, и спрятала в шелковой подушечке, которую нередко держала у своего сердца. Теперь во что ни станет надо послать записку. Груня берет поручение на себя; но лишь только она из дворца — навстречу Мариула. Цыганка так давно, так жалобно упрашивала ее позволить видеться с ее барышнею; теперь еще усерднее молит об этом, едва не целует ее рук. «Вот верный случай поручить ей записку,— думает Груня,— цыганка не раз уж их носила. А то я могу заплутаться вечером и не найти дома Волынского»..

Ах! как отлегло от сердца матери, когда она узнала подробности тайного свидания, за которые дарили ее фатой...

Вводят цыганку к княжне; Груня шепотом докладывает, зачем она воротилась.

От радости дрожит Мариула, увидев свою дочь, едва верит, что у ней, осматривает ее с ног до головы. В восторге цыганка забывает все прошедшее. Одно, что ее беспокоит, так это бледность Мариорицы. Бедная похудела с того времени, как она видела ее в первый раз в Петербурге, и все от любви к нему, к негодному обманщику Волынскому!

Мариорица ласкает ее, целует и вкрадчивым голосом спрашивает цыганку, любит ли она ее по-прежнему.

— Люблю ли я?.. Скажи, чем это доказать?

— Вот видишь это письмецо; ты знаешь, к кому оно... отнеси к нему, но только сейчас, сию минуту, в собственные руки.

— К нему?.. в собственные руки?..

Ужас изобразился на лице цыганки. Каково поручение для матери!

— Да, да, к нему сейчас! — возразила гневно княжна,— или не знай моего порога.

— Несу! — отвечала мать.— Но знаешь ли,— прибавила она, отдохнув несколько от тягости своей жертвы,— знаешь ли, милая барышня, что он женат? что он негод...

Вспыхнула Мариорица, заградила ей уста своей рукой и, нахмурив брови, как маленький Юпитер на свою землю, с пылающим взором вскрикнула:

— Цыганка! берегись!.. не говори мне про него худого, или я прокляну тебя...

«Она!.. проклянет меня?..— думала Мариула, оледенев от ужаса,— дочь проклянет свою мать?.. Боже, боже мой! скажи, бывало ли это в твоем мире?.. Неужели надо мной должно совершиться!»

— Несу твое письмецо, барышня! — сказала она, и лишь хотела проститься с дочерью, почувствовала в руке деньги... плату за... Нет имени этому слову на языке порядочных людей! Земля, казалось, растворилась, чтобы ее поглотить; дрожь ее проняла; деньги невольно выпали из рук; она хотела бросить и письмо, но вспомнила проклятие и в каком-то священном страхе, боясь, чтобы одно слово не погасило навеки небесного огня, которому обрекла себя на служение, и не погребло ее живую в землю, спешила исполнить волю дочери.

«Что пишет она в этом письме?» — думала Мариула, неся его к Волынскому. Как дорого заплатила бы, чтоб знать его содержание! Но смеет ли нарушить тайну дочери, поручив другому прочесть его? Нет, никогда не допустит она, чтобы чужие уста читали стыд Мариорицы, чтобы они растворились для коварной усмешки над нею!

Когда Волынской возвратился домой с шутовского праздника, цыганка стояла уж у крыльца. Какими ужасными взорами поменялись они! Она подала ему письмо, тот принял его.

— Что? одумалась! — сказал он.

Ни слова ответа; но глаза ее были ужасны,— так и расстались.

Глава IX

НОЧНОЙ СТОРОЖ

С негодованием и грустью возвращался Волынской домой, помышляя об участи, ожидавшей его друзей. Они принесли себя в жертву делу, которого он был главным зачинщиком и проводником; его долг спасти их или погибнуть вместе. В таком состоянии застигла его цыганка, когда он вышел из кареты на свое крыльцо. Принадлежа весь долгу своему, он было забыл, что писал к Мариорице: так одна страсть обхватывала вдруг эту душу, не давая в ней места другой. Появление неотступной цыганки, этого ужасного Полифема в женском виде, готовой, кажется, броситься на него и истерзать, напомнило ему и письмо его и всю гнусность обольщений, по которым он провел сердце неопытной девушки. Эта мысль помутила в нем чистоту и возвышенность намерений, возбужденных твердостью друзей его. Что еще готовит ему ответ княжны? Он спешит и боится прочесть его; он кается, что писал к ней и до того дошел, что желает в ней перемены чувств. Может быть, и произвела это в ней весть об его женитьбе. Кабы так?.. Чудный человек! могущ, как море, и непостоянен, как оно с своими отливами и приливами: то безбоязненно ходят на дне его птички, то на разъяренных волнах своих поднимает оно корабли до облаков.

«Мариорица предалась мне,— думает он, увлекаясь чувством прекрасного, пустившего уже во всем существе его сильные побеги,— Мариорица моя, но еще не осквернена преступлением. А свет?.. он считает ее преступницею со дня рокового вечера. Свет! это завистливое собрание личностей, готовое оклеветать все, что только делается не для каждой из них, и поднять до небес все, что ей льстит! Стоит мне победить себя, возвратить Мариорицу этому себялюбивому уроду, и, снова предмет его надежд и искательства, взлелеянная снова им, она выйдет чиста и непорочна из уст его, будто сейчас вышла из купели».

Что за чародей человек, когда нужно ему оправдать свои проступки и помириться с судьбой! Как легко в мыслях своих расстановляет он на сцене мира актеров, разыгрывающих с ним драму его жизни, заставляет их говорить, действовать и чувствовать по-своему и ведет эту драму к желанному концу! Какой он искусный ле-

карь для тех ран, которые сам наделал и растравил так мастерски! Но подумал ли ты, Артемий Петрович, что сердце, которое ты смесил в своих руках, по горячей прихоти своей, приняло уже форму, которую ты хотел ему дать, и отвердело в ней так, что ты можешь переменить ее не иначе, как разбив? Подумал ли, что ты развратил уже несчастную девушку страстными речами, письмами, лобзаниями; что ты отдал ее в добычу общественному мнению? А знаешь ли, что такое в твое время общественное мнение? Эхо сильного и богатого, ротозей, который ловит мух и готов, смотря по намеку своего повелителя, назвать их соловьями или тарантулами, выточенное искусно до пустоты дерево, издающее звук, угодный камертону, в него ударяющему, обезьяна, повторяющая темпы временщика! Свет молчит, пока властелин его сковал ему уста грозою; но одно слово — и бесчестье бедной девушки, как ходячая монета, разойдется по рукам черни, жадной к злословию. Знаю, что Мариорица еще достойна обожания, но прибавь — обожания мудреца, не дающего своего суда по первым признакам и влиянию других. Глупое множество судит иначе, по одной наружности или как ему прикажут. Ты, забывшись, обнял кумир в глазах черни, и чернь перестала ему поклоняться и бессмысленная повергает его в прах. Ты восстановляешь его, снова служишь ему с благоговением, приносишь чистые жертвы, достойные божества, созидаешь ему храм до неба; но чернь говорит: «Кумир осквернен» — и бежит поклоняться другим богам.

Зуда встречает Волынского и, не дав ему прочесть ответ княжны, рассказывает, с какими прекрасными намерениями триумвират друзей собрался на свой подвиг, как Перокин решался пожертвовать благополучием своей сестры делу общему, уничтожив брак ее с Артемием Петровичем. Пристыженный таким великодушием, Волынской дает обет не уступить им в благородстве, что бы ни заключалось в ответе Мариорицы. Он колеблется даже, не раскрыв письма, сжечь его. Но на дне сердца затаилась еще любовь вместе с первородным грехом, любопытством, и он читает ответ княжны. Слезы капают на письмо; он целует бумагу.

— Нет, я недостоин всех этих жертв,— говорит он, отдавая Зуде письмо для прочтения.— Еду на свидание — не могу не ехать... Господи! подай мне твердость. Друг! молись за меня о том же.

Но прежде, чем он отправляется на это свидание, поручает Зуде вложить в расселину камня, в ограде Летнего сада, бумажку, на которой написано: *«На днях, или я действую один!»* Так приказал тайный, неизвестный друг на случай нужды в нем.

Он едет в условленный час, но боится, чтобы клевреты Бирона не подшутили вновь над ним; он страшится за Мариорицу и молит все силы небесные сохранить ее от новой беды, а ему не дать упасть в борьбе неравной.

За несколько сот шагов до дому Апраксина оставляет Волынской свои сани. Ночь темна, он бредет ощупью вдоль стен и у назначенного места становится на страже в пустой будке. «И теперь,— думает он,— должен я проститься навсегда с этой чародейкой, для которой было забыл отечество, друзей, жену, все на свете, теперь, когда она отдается мне совершенно и лучшие мечты мои исполняются? Чем не пожертвовал бы я несколько недель назад, еще вчера, за миг, который мне ныне обещан и которого страшусь! Но подвиг, мною затеянный, не свыше ли сил человека?.. Устою ли я против него? Друзья в тюрьме, отечество гибнет: вот мысль, которою должен я себя поддерживать».

И вот он ждет Мариорицу полчаса и более, в шорохе шагов запоздалого прохожего или ночного лазутчика, в шелесте ветра, в полете птицы, в огоньке, блеснувшем и померкшем в одной из дворцовых комнат. Никого. Окостенев от холода, выходит он из своей засады... слышен говор... сердце у него замирает — все опять замолкло: никого! Тихо, жутко, как на кладбище. Вдруг мимо его пронеслось что-то черное, как дух полуночный, как вихрь, и пахнуло на него ужасом; но, заметив его, остановилось, страшно взглянуло ему в глаза и захохотало так, что подрало его по коже и волосы встали дыбом. Он за привидением, хочет его схватить — привидение от него, и снова адский хохот рассыпается в тишине ночи, и ужас впился когтями в сердце и терзает его на части.

— Опоздал! — каркнул, наконец, будто над его ухом зловещий голос, сопровождаемый свистом и скрежетом зубов,— уж было проклятие!.. Но все-таки ты пришел поздно, голубчик!..

Вне себя Волынской ищет схватить вещуна — и хватает один холодный воздух. Ему чудится, сыпал искры

следом бесовский глаз и кто-то черным клубом кувыркался пред ним по снегу. Крест, охотничий нож спасут его от злого духа или человека; но что сделалось с княжною? почему не пришла она на свидание, ею самою назначенное? Не насмешка ли?.. Не может быть! Какое-нибудь несчастие задержало ее дома или переняло на пути!.. Он идет-таки ко дворцу, бродит долго около него — ни одной души, кроме часовых! К страху, к муке душевной присоединилось вскоре и чувство физической боли: мороз обул его ноги в ледяные коты, накинул на грудь ледяной панцирь, который кольцами своими дальше и дальше врезывается ему в тело. Нет сил терпеть более! Он возвращается к своим саням с тяжелою ношею страшных воспоминаний и еще ужаснейшей неизвестности об участи княжны, проникнутый насквозь холодом, проклиная свою любовь, себя и все в мире. Уж эта любовь начинает ему надоедать...

С княжною вот что случилось.

Нетерпение любви заставило ее выйти из дворца несколькими минутами ранее назначенного для свидания времени. Ее нельзя признать в одежде горничной; такой прелестной субретки еще свет не видывал. Любовные проказы так же обыкновенны во дворце, как и в хижине, и ее пропустили вместе с Груней без препятствий, тем легче, что надзор за нею, как мы сказали уже, был снят по повелению герцога. Но шаг за дворцовое крыльцо — и ее ожидает присмотр более строгий, более неусыпный, заменяющий целую сторожевую цепь, самую исправную полицию, превосходящий своею бдительностию даже шпионов Бирона: это присмотр матери. Сердцу Мариулы дана весть, что дочери ее грозит беда, и она с первою тенью ночи на бессменной страже у маленького дворцового подъезда. Никто не смеет ее отгонять: она купила это право заслугами Липману.

Все существо ее превратилось в слух. Видите ли, как она из-за колонны вытягивает шею, будто пеликан из гнезда своего, стерегущий птенцов от хищного зверя; видите ли, как сверкает ее одинокий глаз и роет во мраке и удит в нем предметы, как она жадным ухом прислушивается ко всему, что только движется. Сквозной ветер от Невы хлещет ее крылом по лицу, мороз прохватывает до сердца, коробит ее — Мариула терпит. Одна мысль держит еще теплоту жизни в ее груди: она,

может быть, спасет дочь свою от погибели. Бедная греет попеременно руки то под мышками, то своим дыханием; она боится переминаться, чтобы не заскрипеть по снегу ногами. Бьет зуб об зуб, как у собаки, окоченелой от холода; мысли мутятся, но одна из них не покидает ее — мысль о спасении дочери. Вот идут... Сходят с лестницы две женщины... оглядываются... Ветер пахнул на лица их беглый свет от фонаря: одна из них — Мариорица; это она, сердце матери не могло ошибиться. Дано им несколько шагов вперед, и в несколько прыжков цыганка догнала их.

— Куда ты, барышня? — спросила она встревоженным голосом, остановив княжну за рукав шубы.

Мариорица хотела бежать, но, узнав голос цыганки, остановилась.

— А, это ты? — сказала она,— как ты меня испугала! Что, отдала?.. Будет?..

Этот вопрос все объяснил матери.

— Отдала... Но ты не пойдешь далее! — произнесла Мариула глухим, но твердым, повелительным голосом, стиснув ей руку своею.

— Какая царица!.. Пусти ж!.. Тебе что за забота?

— Мне, мне много заботы. Ни с места, говорю тебе, или я тебя опозорю, закричу *слово* и *дело*, созову народ, встревожу дворец, весь город.

— Проклятая цыганка!.. Хочешь денег? Мало, что ль, тебе дано.

— Нет, мне дано много... над тобою, видишь, там на небе, откуда блестит звездочка,— произнесла Мариула вдохновенным голосом; потом, силою отведя ее от Груни в сторону, наклонилась на ухо и сиповатым шепотом, в исступлении прибавила: — Я... мать твоя. Вспомни табор цыганский, пожар в Яссах... похищение у янычара, продажу паше, уродство мое, чтобы не признали во мне твоей матери: это все я, везде я, где грозила только тебе беда, и опять я... здесь, между тобою и Волынским: слышишь ли?

Она говорила, и, казалось, вся утроба ее трепетала; в горле ее бился предсмертный колоколец.

В этих словах было столько могущества, столько ужасной истины, что княжна в каком-то очаровании, в каком-то непонятном убеждении, что это ее мать, не показывая ни радости, ни печали, не говоря ни слова, уничтоженная, машинально повлеклась назад во дворец. Но цыганка изнемогла: жестокость ударов, нанесен-

ных ей в такое короткое время, беспрерывная душевная тревога, страх за дочь, ночи без сна на холоде, дни без пищи, проклятие дочери, мысль, что погубила ее, открыв, что она, цыганка, ее мать, помутили тут же ее рассудок. Бедная мать!

Мы рассказали уж, как она, в первом припадке своего сумасшествия, встретила Волынского и столько напугала его.

Глава X

ВОТ КАКОВЫ МУЖЧИНЫ!

> Aussi tu me dois plus que de l'amour... tu dois m'aimer comme maîtresse et comme mère... entendstu, Henri, il y va de ton honneur... car c'est une chose sainte et sacrèe qu un tel amour.
>
> *Sue*[1]

Что скажет ему Мариорица в оправдание? что может она сказать? Она встретила свою мать цыганку — не так ли? Тогда как Волынской хочет развестись с женою для того, чтобы жениться на ней, жениться, однако ж, на княжне, любимице государыни — не на цыганке же! Чтоб ему принадлежать, она готова идти к нему в услужение: ее любовь выдержит все превратности судьбы, все пытки; но выдержит ли это испытание его сердце? Ужасная ночь! С какою безотчетною радостью шла она в объятия друга, и вместо сладкого поцелуя прожгло все ее существо клеймо позора. На какие жертвы решалось пламенное дитя Востока, и чем вознаграждена за это!.. Она горько плачет, она смочила всю подушку слезами, хотела б выплакать на ней свое сердце,

---

[1] Поэтому ты мне обязан более чем любовью... ты должен меня любить как возлюбленную и как мать... слышишь ли, Анри, речь идет о твоей чести... ибо это любовь возвышенная и святая. *Сю (фр.).*

свою жизнь. Но мысль расстаться с ним, как бы то ни было, хоть смертью, для нее ужаснее всего.

Дочь цыганки!.. от одной мысли об этом кровь останавливается и стынет, рассудок мутится. Но полно, говорено ли это было?.. Слышала ли она точно эти слова? Если и сказано, не обман ли из каких-нибудь видов?..

«Нет,— говорит Мариорица сама с собою,— все это слышала я, все это слишком горькая правда! Так — помню, будто во сне, телегу с навесом из грубого холста, теплую грудь и теплые лобзания женщины, пожар и опять эту женщину в борьбе с янычаром, похищение, завет и опять ее, и везде ее. Кто ж это все, как не мать?.. Понимаю теперь и первое страшное свидание наше здесь в Петербурге, и робость ее, и жаркие ласки, которые только может выдумать мать и которых мне было так стыдно, не знаю отчего. О! с какою нежностью, с какою любовию целовала она мои руки, и я не понимала, почему сторонняя женщина меня так любит. За деньги Волынского,— думала я. Неужели сердце можно купить до такого притворства? Пускай придет она, я сама расцелую ее руки сто, тысячу раз, оболью их слезами... Только чтоб никто этого не видал — чтобы *он* не узнал! Да она этого сама не потребует. Понимаю теперь и заботы обо мне и брошенные деньги, будто обожгли они ее. Самая эта ночь не доказывает ли ее любви? Она говорила, что изуродовала себя для меня ж — наверно, чтобы не признали во мне ее дочери. Волынской сказывал ведь мне когда-то, что видел женщину, на меня очень похожую: он говорил, конечно, про нее! Добрая мать!.. Чем я тебе заплатила за это? постыдными поручениями, проклятием!.. Господи милосердный, возьми назад мое безумное слово!.. Матушка, прости меня! Добрая, несчастная мать! несчастная дочь! Видно, обе родились под злополучною звездою!»

Так говорила сама с собою Мариорица, обливаясь слезами. На все вопросы Груни отвечала она только, будто цыганка сказала ей, что Артемий Петрович не мог прийти на свидание.

Роковая тайна была похоронена на дне сердца, но с этого дня червяк смерти засел уже в нем. Правду говорила когда-то Мариорица цыганке — первый поцелуй сжег ее.

На другой день после этого происшествия сидел Волынской дома в своем кабинете, озабоченный участью

своих друзей, преданных суду, и ломая себе голову, как бы скорее распилить цепи на них и России. Поверенный камень, на углу Летнего сада, отвечал ему: *скоро, очень скоро, ныне, завтра, на днях, или никогда!*

— Не скрою от вас,— говорил Зуда кабинет-министру,— что я работаю вдвоем, даже втроем; но клянусь вам, что не могу еще объяснить вам, кто мои сообщники или чей я сообщник. Скажу только, что один — мужчина, другая — женщина.

— Не спрашиваю, кто *вы*, не хочу спрашивать,— отвечал Волынской,— боюсь ныне сам за себя... Действуйте, но только скорее, хоть бы стоило мне это головы.

— О, бог даст, мы спасем вашу голову, переменив теперь способы наших действий. Прежде, как вам известно, старались мы взбесить Бирона ледяною статуей и другими средствами, чтобы он нагрубил ее величеству и вывел ее из терпения; теперь хотим прямо к сердцу государыни, но путями тихими, вкрадчивыми, которые не могли бы ее испугать и которых, однако ж, не могла бы она избегнуть.

Оставшись один в своем кабинете, Волынской предался тоске о прошедшем и какому-то тяжкому предчувствию. Голова его спустилась на грудь; черные длинные волосы пали в беспорядке на прекрасное, разгоревшееся лицо и образовали над ним густую сеть, сквозь которую глаза бросали отблеск пламенной и сумрачной души. В таком точно состоянии застали мы его, когда сотни разноплеменных пар являлись к нему на смотр. Много ли прошло тому времени? еще не было и праздника, для которого делался этот смотр, а чего не изведало с того дня его сердце, какого блаженства и мук оно не испытало! Он мысленно прошел фазы своей безумной любви, и слезы закапали из глаз.

Свеча нагорела, думы сменяли думы; дремота отягчила его веки, и он заснул.

Впросонках слышит суету в доме, потом скрип двери... Открывает глаза — и видит пред собою в сумраке... женщину в пышном расцвете лет и красоты, с голубыми глазами, в которых отражается целое небо любви! Заметно, однако ж, что оно подернуто облаком уныния. Щеки ее пылают, густые белокурые локоны раскиданы в беспорядке по шее, белой, как у лебедя. Боже! не видение ли это?.. Это жена его!

Волынской не смеет пошевелиться.

Она стоит у дверей, как изгнанная пери у ворот рая; она смотрит на него с робостью, ищет чего-то в глазах его, просит, умоляет о чем-то и боится подойти. Никогда не казалась она ему так хороша! Любовь и еще какое-то чувство, не менее горячее, но более чистое, вооружили ее в эти минуты всеми своими прелестями для победы над неверным.

В смущении продирает Волынской глаза.

— Ты не узнаешь меня, Артемий Петрович? — говорит она ему, смягчив упрек нежностью выражения, и слезы заструились по ее лицу.— Ты не выгонишь меня теперь; разве выбросишь меня мертвую, истоптав прежде своими ногами; но знай... ты погубишь со мною своего младенца. Я пришла к тебе на суд мужа и отца.

— Наташа! милая Наташа! — мог только произнести Волынской, и она в объятиях его. И он увлекает ее к себе на колена, прижимает ее руки к сердцу, целует ее в очи и в уста. Она прильнула к нему всем существом своим, обвилась около него, как плющ, то прижимает его страстно к груди своей, то посмотрит ему в очи, не веря своему счастию, то милует его, резвится, как дитя, убирает его кудри, потопив в них свои розовые пальчики, то путает с их черною смолью лен своих кудрей.

— Милый Артемий! — говорит она, упоенная чистым восторгом,— вижу, ты меня любишь по-прежнему... А как они мне солгали, жестокие!.. Будто ты... нет, нет, язык не двигается, чтобы выговорить их ложь. Не верю! Они, может статься, хотели испугать меня и заставить скорее приехать. Но ты простишь меня, когда узнаешь, зачем я так мешкала.

Она потупила свои прекрасные глаза и покраснела, как девушка.

— Видишь,— прибавила она, взяв его руку и приложив ее под сердце,— здесь наше дитя... ты отец его!

Только тот, кто в первый раз носит это имя, может понимать все высокое этого слова, все его очарование. Но Волынской боится верить и предаться новому чувству: оно так неожиданно! Не обманывает ли жена, чтобы более привязать его к себе? Она знает, как он желает детей.

— Ты не веришь, друг мой?..— Тут она взглянула

на образ божьей матери, стоявший в углу в киоте.— Поверь ей!.. Возьми, положи свою руку, вот здесь... слышишь, как трепещет твое дитя, будто рыбка; он отозвался своему отцу, он тебя приветствует... Я сама не верила, когда поехала в Москву, долго не верила. Но когда узнала совершенно, что я мать... не ведаю, что со мною делалось от радости; счастие мое было так велико, что я не смела ему предаться и потом боялась его потерять. Я прибегнула к богу, к святым угодникам его с молитвами сохранить наше дитя; ездила к Троице на поклонение Сергию-чудотворцу, в Киев к почивающей там святыне, в Нилову пустынь. Для чего ж другого оставаться было мне так долго без тебя! Но везде мысль о тебе меня не покидала; на пути, в храмах божьих, у святых гробниц ты был со мною; везде молилась о тебе, о твоем здоровье, о твоей любви ко мне. Думала, как ты обрадуешься неожиданной вести — тебе так хотелось детей!.. Пишу к тебе письмо об этом; но ты, видно...

— Не получал, др. мой!

— Злые люди! Как они искусно работали!.. Не получал?.. И вот причина твоего молчания. Но я все-таки не переставала думать, как тебя это обрадует. И вдруг в Москве говорят мне, что ты полюбил какую-то молдаванскую княжну... брат мой пишет, что ты хочешь... Господи! не понимаю теперь, как у меня достало сил жить после этого письма... он писал, что ты хочешь развестись со мною. И брат сам уговаривал меня, для какого-то общего блага, согласиться на этот развод. Меня с тобою разлучить?.. О! они не знают меня! Пускай сам бог придет развести нас!.. (Наталья крепче обвила его своею рукою, как будто боролась еще, чтоб его не отняли у нее.) Злодеи! едва не убили меня, наше дитя. Не знаю, как я все это перенесла. Я молила пречистую деву-богородицу сохранить тебя от этого убийства; едва не выплакала душу свою в молитвах. Милости ее велики: все, что насказали мне о тебе,— ложь, я это вижу, я это чувствую по твоим ласкам. Хочу думать, что все это был сон ужасный! Повтори мне, милый Артемий, что это все солгали злые, завистливые люди, что ты любишь меня по-прежнему.

— Да, милая, душа моя, это все ложь,— повторял Волынской, осыпая ее самыми пламенными ласками, от которых она убиралась в лучшие цветы счастия, как невеста к венцу, и горела неизъяснимым восторгом.—

Может статься, это вышло оттого, что я пошутил с одною полоненной княжной... но божусь тебе, это была шалость, глупость, вспышка одинокого сердца, развлечение от скуки без тебя... Негодные! стоило ли из этих пустяков пугать тебя!.. С чем могу я тебя сравнить, тебя, прекрасного, бесценного друга!.. Как сладко любить без боязни! Ни бог, ни люди не мешают нам.

Может быть, вспомнил он в это время вчерашний мороз, страх и муки.

— Восторги наши так чисты, а кто нам мешает быть самыми страстными любовниками? Не правда ли?

— О! я буду молить бога дать мне уразуметь все, что есть прекрасного, дорогого в любви на земле и в небе, соберу в груди моей все сокровища ее, весь мир любви, отрою все заповеданные тайны ее и буду истощать их для тебя, милый друг! Сердце научит меня находить для тебя новые ласки, каждый день изобретать новые.

— Бесценная!.. Нет, я тебя не знал! (И в забвении страсти он хотел сказать: и я мог променять тебя!.. но остерегся.) Так у нас будет дитя, милое, прелестное, похожее на тебя? может быть, дочка!

— Нет, я подарю тебе сына, такого же пригожего, статного, как и ты. Посмотри, сдержу ли слово!

С этих минут любовь и счастие семейное водворилось в доме Волынского, и Мариорица забыта.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Глава I

ЛЮБОВЬ ПОВЕРЕННАЯ

Когда Зуда говорил, что из любви Мариорицы построит лестницу хоть на небо, он знал, что говорил. Поспешая воспользоваться этою любовью для своих видов, написал следующее письмо к княжне:

«Обстоятельства, в которых находится г-н Волынской, заставляют адресоваться прямо к вам без околичностей. Я Зуда, секретарь и друг его; от меня ничего не

имеет он скрытого. Этот приступ достаточен, чтобы меня выслушать.

Вам известно, что друзья Артемия Петровича за смелую выходку против герцога курляндского посажены в крепость и ждут там своего смертного приговора. Не миновать этого ж и Артемию Петровичу, если какая-нибудь могучая рука, силою чудотворною, силою беспредельной дружбы или любви не оградит его заранее и сейчас от удара, на него уж нанесенного. Требуется высокая энергия, самоотвержение, готовое на все жертвы. Угадываю, скажете вы: мне предстоит этот подвиг, и никому другому.

Так вам, княжна, вам, благороднейшее, возвышенное существо, предлагаю этот подвиг; вы позавидуете, если он будет предоставлен другому. Может статься, нужно броситься прямо в огонь; но это единственное средство спасти человека, который вам дорог, не говорю уже — необходим для России. Не упоминаю вам о благе человечества в этом случае: вы этого теперь не поймете. Представляю только гибель любимого человека, обращаюсь только к сердцу вашему и, уверен, скорее достигну, чего хочу. Грустно, больно было бы мне, да и напрасно объяснять вам, что появление ваше в Петербурге, ваши наружные и душевные совершенства, которым никто не мог бы противиться, отняли у нас государственного человека, вырвали краеугольный камень из-под храма, начатого им во имя спасения отечества. С тех пор как он узнал вас, он забыл все святые обязанности свои, изменил супруге, друзьям, чести, богу. Враги его воспользовались слабостью его, или страстью, чтобы сделать ее орудием своих козней. Но да идут мимо вашего сердца эти слова. И пойдут они наверно мимо! Все это для вас вздор; ваше сердце не поймет теперь ничего из этого. И потому не говорю: возвратите его святым его обязанностям,— напоминаю только гибель любимого человека, твержу только: спасите его от плахи и унижения, которое для него еще ужаснее смерти.

Минуты дороги. Вот в чем дело!

Вы найдете здесь две бумаги. Постарайтесь всячески, чтобы государыня их увидела и прочла, но под условием, чтобы Бирона при этом случае с нею не было. Да благословит вас любовь на этот подвиг! Провидение, конечно, вас назначило спасти любимого человека от гибели и позора. Что может быть сладостнее этого для вас, существо необыкновенное!

Но каким образом — спросит вас государыня — достались вам эти бумаги? Учитель ваш Тредьяковский — скажете вы — оставил у вас книгу (которую при сем посылаю); перебирая листы ее, нашли вы бумаги и при них записку (тоже здесь прилагаемую). С Тредьяковским мы уж сделаемся на случай, если б потребовали его к государыне налицо для допроса. Записку можете ей показать. Вручаю вам судьбу А. П.»

«Если вы любите государыню,— сказано было в особой записке,— если вам добрая слава ее и спокойствие дороги, вручите ей осторожнее вложенные в книгу Тредьяковского бумаги, но только тогда, когда не будет у нее злодея Бирона».

Все это перешло чрез руки негра Волынского в руки черномазой его приятельницы, жившей во дворце, и никто не видал, какими путями эта посылка закралась на грудь Мариорицы.

Как дорого ей это поручение!.. Не другому кому, не жене его вручен залог его спасения. Ей, одной ей!.. Провидение знает, что она любит его более всех на свете. Как радует ее, возвышает это поручение! Она забывает уж свое горе, бедственную ночь, мать: спасение милого Артемия тут, у сердца ее, тут он сам, его жизнь, его спокойствие, счастие, честь! Какая нужда для нее, что она цыганка: она выше всех в мире,— она спасительница милого человека! «Он узнает,— говорит сама с собою Мариорица,— что все это я, не кто другой, для него сделала. Еще прикажите что-нибудь, господин Зуда, но только именем его, и вы увидите, буду ли уметь исполнить».

И глаза этого прекрасного создания разгорались огнем неземным, и щеки ее пылали. С каким восторгом примеривает она себе терновый венец, ей так расчетливо предлагаемый! А Волынской что делал в это время? Забывал ее в объятиях той, которой некогда изменил для нее ж, дочери фатализма. Что ж была его любовь, пылкая, безумная?.. вы легко отгадаете. Не ошибался и в этом случае Зуда!

Вечер во дворце.

Государыня необыкновенно тосковала во весь день. В ушах и сердце ее отзывались смелые истины, сказанные ее вельможами. Несчастия России, если и вполовину существовали, как ей изобразили, налегли на грудь ее, и без того растерзанную болезнями и привычкою к

предмету недостойному. Освободиться, однако ж, от него не имела сил и лучше решалась терпеть муки, которым сама себя обрекла. Бирон, понимая очень хорошо свое настоящее положение, был весь день неотступно при ней, окружал ее своею заботливостью и изыскивал средства рассеять тучу, налегшую на чело императрицы. Стрельба в цель в галерее, нарочно для того устроенной, карты, шуты, дурочки — ничто не могло ее рассеять. Наконец, она объявила герцогу, что очень нездорова и желает остаться одна.

Спросив руку княжны и опираясь на нее, государыня перешла в свою спальню.

— Дитя мое,— сказала она, подвигаясь к креслам, стоявшим возле кровати,— как стучит у тебя сердце! так и бьет мне в руку. Здорова ли ты?

— Здорова,— отвечала Мариорица, встревоженная приближением роковой минуты, в которой должна была решиться участь любимого человека,— но беспокоюсь о вас.

Вместо ответа Анна Иоанновна с нежностью пожала ей руку и едва дошла до кресел, в которые тяжело рухнулась. Она велела было позвать камер-девицу, чтобы подать ей другие кресла, на которые обыкновенно клала больные ноги; но Мариорица с какою-то упрямою заботливостью сама спешила все это исполнить, стала возле нее на колена и начала слегка поводить ладонью то по одной, то по другой ноге государыни, как это делалось каждое утро и вечер для облегчения ее страданий. Детские попечения ее заметно были приятны Анне Иоанновне.

Они были одни в комнате. Безмолвие нарушалось только вздохами страждущей императрицы. Свет от тройной канделябры сквозил через голубой штоф занавесов и падал на бледное лицо ее, отчего оно принимало синеватый цвет мертвизны; утомленные глаза ее по временам закрывались, и чтобы усилить еще это подобие смерти, пышная кровать возле нее, с своим убранством, казалась великолепным катафалком, готовым принять останки того, что была некогда царица. Смотря ей пристально в глаза и следя за движением ее губ, княжна как бы стерегла выход ее души из тела. Кто б подумал, чтобы здесь, в этих двух женщинах — одной носящей уже все признаки смерти и уничтоженной под тяжестью предчувствия, другой юной, но слабой, дочери цыганки, принадлежащей единственно любви, ничего не

постигающей, кроме нее,— заключалась в эти мгновения судьба империи!.. Несколько минут продолжалось их безмолвное состояние. «Господи! — молила княжна, обмирая от страха пропустить удобное время для подачи бумаг.— Господи! брось мне на этот раз в душу луч своего уразумения».

Наконец, государыня открыла глаза и сказала:

— Довольно, милая! мне легче.

Мариорица, все стоя на коленах, схватила ее руку, с жаром прижала ее к губам своим — губы были холодны, на руку государыни закапало что-то горячее.

— Что с тобою? ты плачешь, кажется?

— Государыня, когда я вижу, что вы страдаете, может быть и не одними телесными болезнями, когда меня заверяют в этом люди вам преданные и дают мне способы спасти вас, что должна я делать?

— Новая беда!.. Объяснить, что такое? — воскликнула государыня, оторвавшись от спинки кресел, к которым была прикована своим изнеможением.

Мариорица вынула из груди бумаги и, подавая их, рассказала искусно, с жаром, что велено ей было сказать. Дрожащими руками приняты бумаги; приказано осмотреть, не стоит ли кто у дверей, и, когда это было исполнено, государыня начала про себя чтение.

Одна из поданных бумаг был подлинный донос Горденки, за который его заморозили, допрашивали цыганку, застрелился Гроснот, пытали, мучили и уморили столько людей.

«Дойдет до государыни,— умирая, говорил мученик,— я передал мое челобитье богу». И господь услышал этот завет на пороге смертном, принял это условие земли с небом, уберег его сквозь все препятствия человеческие и вручил по назначению. Сколько в этой бумаге ужасных истин насчет Бирона! В ней описывались разные действия его жестокости и корыстолюбия так ясно, с такими верными доказательствами и важными свидетельствами, что можно было их как бы в очи видеть. «Но сердце твое, всемилостивейшая государыня, обольется кровью,— писано было между прочим в доносе,— когда узнаешь способы, употребляемые для обогащения доимочного приказа, отдающего отчет одному Бирону и его одного обогащающего. Батоги, плети, окачивание на морозе водою, соленая пища без питья, тысячи жестокостей, какие только адская изобретательность умеет разнообразить и оттенить, употребляемы

без всякого уважения к истинному несчастию и без всякой ответственности. Закона тут в помину нет; надо всем владычествует одна воля Бирона. Из тысячи случаев опишу тебе, всемилостивейшая государыня, только два, которые покажут, как сборщики должны быть осторожны в своих действиях, и внушат твоему сердцу правила для руководства их в подобных случаях: да различают они на будущее время неплательщика по несчастию, насланному свыше, от несостоятельного по закоснелой лени, разврату или упрямству. Самодержавное слово твое пусть облегчит участь одиноких, обремененных многочисленным семейством, несчастных, которых настигла кара божия, лишив болезнями нескольких рабочих рук, падежом — скота, пожарами — крова, неурожаем — куска хлеба. Составители закона должны помнить, что они имеют дело с человеком, а не с вещью, готовою все вытерпеть.

В село NN [1] на самое рождество Христово нахлынули сборщики. Святость дня должна бы уж освободить от подобного нашествия. Напротив, они, кажется, выбрали один из самых торжественных праздников христианина, чтобы наругаться над человечеством, которого образ благоволил принять в этот день сам искупитель. Они рассыпались по деревне, как волки, напавшие на беззащитное стадо, требовали недоимок, без толку собирали их, по собственной воле и расчету накладывали пени, обирали скот, земледельческие орудия, хлеб в анбарах, мучили, терзали беспощадно тех, которые и этими способами не могли удовлетворить их. Стук палочных ударов сменялся плачем и стенанием. Над одним отцом многочисленного семейства, которого он был единственным кормильцем, обрушилась более всего их жестокость. На сходке пытали его всеми бироновскими пытками, но при каждой перемене вместо денег получали от него ответ, что у него шестеро детей, мал меньше другого, без матери, и что он не ведает даже, где добыть им хлеба. «Лжешь! прикидываешься!» — кричали сборщики и совещались, какого нового рода пытку приложить к нему. «Батюшки! заплачу,— вопил несчастный,— дайте мне только дойти до моей избы». С этим условием приостановили новые муки, для него

[1] Читателю до имени нет, кажется, нужды. *(Примеч. автора.)*

изготовленные. В ожесточении приходит он домой; навстречу ему дети, обступают его, просят у него хлеба. «Тотчас! — говорит он,— всем достанется!» Исступленный, схватывает он нож и зарезывает все свое семейство. Одного шестимесячного, лежавшего в люльке и надсевшегося от крика, берет окровавленными руками за ноги, приносит на сходку и с ужасным хохотом размазживает ему голову о голову главного сборщика. «Дайте ж квиток, разбойники! — закричал он,— шесть душ ровно из вашего счета вон».

Через неделю деревня опустела; в польских лесах появилась новая.

В другом селе, при подобном случае, отец отвел пятерых детей своих в поле — это было зимою — и, несмотря на плач их, всех заморозил. «Я хоть один пойду в ад,— говорил он,— зато вы избавитесь от мук бироновских».

В другой бумаге, поданной Мариорицей, заключалось описание мученической смерти Горденки и последствий ее.

При чтении этих бумаг государыня смочила платок слезами.

— Как нас обманывают! — сказала она, всхлипывая.— Я и сотой части этого не знала. Как терзают бедное человечество и все именем моим!.. Живой человек... почти в моих глазах... ледяная кукла!.. Боже мой! этому нельзя почти верить! И вот преданность, вот любовь ко мне!.. Все это одна жажда корысти, одно желание властвовать надо всем, даже надо мною!.. Надо конец!.. Господи! прости мои прегрешения и не лиши меня в трудное это время своей великой помощи. Милая,— прибавила она,— молчи обо всем, что ты знаешь из этих бумаг, из этого вечера: я хочу собраться с силами... чтобы наказать... О! как тяжело не иметь ни к кому доверия, не иметь друга! И вот царский сан, которому столько завидуют!..

Государыня опять зарыдала.

— У вас остается Артемий Петрович Волынской! — сказала княжна с особенным восторгом.— Вырвите свою доверенность из рук недостойных и отдайте ему... он достоин быть любимцем царей; вручите ему управление России, и вы увидите, какая слава, какое счастие прольется на народ ваш, как все будут благословлять ваше имя!

Изумленная необыкновенным одушевлением, не-

обыкновенною силою, с которою говорила Мариорица, Анна Иоановна пристально посмотрела ей в глаза, отчего эта, краснея, потупила свои.

— Несчастная! — грустно произнесла государыня, качая головой,— и тебя успел обворожить этот чародей! и тебя не избегнул злой рок! О, молись, молись богу!.. Теперь позови мне камер-девицу; тебе и мне нужен покой.

Но княжна не двигалась. Опомнившись от смущения, в которое бросили ее догадки государыни, она рассчитывала, и очень верно, что если ныне же, тотчас после чтения этих бумаг, не сделано хоть решительного приступа в пользу Волынского, то впоследствии и подавно ничего не сделается. Любовь, и такая любовь, как ее внушает смелость; одушевленная ею, она сказала:

— Государыня, дайте же приказ освободить...

— Друзей Волынского! — прервала Анна Иоанновна, как бы испуганная этою просьбою,— теперь... ночью?..

— Теперь же, государыня! Господь пошлет вам и лучший сон и утешение вашему сердцу.

Она говорила с таким горячим убеждением, с такою нежностью целовала руки императрицы, что эта не могла отказать, велела подать себе чернилицу, перо и бумаги и написала приказ коменданту крепости — освободить из-под ареста трех вельмож, засаженных туда в день празднования известных родин козы.

Чрез минут пять хотели воротить посланного с этим приказом — так была велика нерешимость Анны Иоанновны, все еще боявшейся выйти из-под опеки временщика,— но было поздно! Друзья пользовались уже свободою и, уверенные, что вместе с нею падет могущество фаворита, благословляли за нее императрицу.

С каким умилением чистого, благодарного сердца, с какими радостными слезами молилась княжна, когда она пришла в свою спальню!

— Мне, мне обязаны его друзья своею свободою; его собственное счастие, слава его будут делом моим! — говорила она в упоении своего счастия.

Глава II

УДАР

> И что ни шаг,
> То новые беды иль новый враг.

В ту же ночь узнал Бирон о приказе коменданту Петропавловской крепости. Бешенство его не знало меры, пока он не мог доискаться, что было причиною этого распоряжения, на которое он не давал своего согласия. На все расспросы, кто был после него у императрицы, ему могли только сказать, что оставалась с нею вдвоем княжна Лелемико и что, когда укладывали ее величество спать, глаза ее были красны от слез, между тем как любимица ее пришла к себе в необыкновенной радости.

— О! я отплачу этой поганой девчонке. Это ее дельце! — повторял он, грызя ногти до крови; и почти всю ночь проходил, как часовой, вдоль и поперек кабинета своего.

Утром следующего дня явился герцог во дворец. Угрюмый и молчаливый, он был принят государынею с необыкновенною холодностью и принуждением. Боясь остаться одна с ним, она приказала княжне не отходить. С той и другой стороны — ни слова об освобождении трех вельмож из-под ареста. Заговорили, однако ж, неприметно о празднике, который так давно готовили к свадьбе Кульковского.

— Когда ж он состоится? — спросила государыня.

— Это зависит от воли господина кабинет-министра,— отвечал Бирон,— не знаю, когда ему угодно будет назначить.

Неудовольствие явно означилось на лице Анны Иоанновны.

— Напротив, думаю, когда мне угодно будет. А чтобы доказать вам, как он скоро исполняет мои желания, я назначаю завтрашний день.

По приказанию ее, записка к Волынскому с этим распоряжением написана княжною, подписана государынею и тотчас же отправлена. Бирон кряхтел от досады и, не боясь оскорбить слуха императрицы, пускал по временам неблагозвучные вспышки воздуха, который собирал в груди своей.

— Ваши желания? — повторил он, иронически

усмехнувшись.— Смею заверить, что он считает поручение вашего величества оскорбительным для себя. Он объявил это при Остермане и Минихе в самых дерзких выражениях.

— Дела говорят лучше слов. Покуда дозвольте вам не поверить. Впрочем, с некоторого времени замечаю, вы особенно нападаете на кабинет-министра, который столько предан моим и моей России пользам — и предан не на одних словах. Не с этого ли времени, как он выставил напоказ вашу ледяную статую?

Тут она пристально посмотрела на герцога.

Герцог побледнел и побагровел.

— Позвольте выйти княжне,— сказал он, собираясь обрушить разом на голову Волынского решительный удар, так давно изготовленный, и между тем стыдясь вмешивать княжну в свой донос перед ней самой. Но и этот стыд он скоро забыл.

— Моя Лелемико останется при мне,— отвечала государыня с необыкновенною твердостью.

— Вас обманывают.

— Знаю, но только не Волынской.

— Именно он. Государыня! уж под крылом голубки свивают доносы на верного, преданного вам слугу (он посмотрел значительно на княжну, от чего эта вся вспыхнула); поберегитесь, чтобы коршун не сел на ваш престол.

На лице государыни изобразилось какое-то сомнение и робость.

— Покуда этот коршун хочет выклевать мне глаза, чтобы я не видал его коварных замыслов. Но пусть прежде выпьет сердце мое! Пора к развязке! Я не могу долее терпеть мое унижение, которое доселе скрывал от вас, сберегая ваше здоровье. Один из нас должен очистить другому место, но не иначе, как мертвый. Дорого ценю ваши милости и не дешево уступлю их. Выслушайте меня, ваше величество; я прошу, я требую этого, и теперь же.

— В другое время.

— Надеюсь, скоро!.. Правда, вам ныне не до меня; вас и без меня оступят жалобами... может статься, ныне ж упадет к ногам вашим жена его...

При этом слове кровь ударила в голову Мариорицы, все в глазах ее запрыгало и закружилось.

— Жена? Да разве она приехала? — спросила государыня.

— Вчера вечером и, вероятно, тотчас узнала его связи с непотребною...

Нож клеветы был прямо устремлен в сердце бедной девушки. Она не вынесла удара; грудь ее зажгло, у сердца что-то оторвалось; она кашлянула, прижала белый носовой платок к губам, и розовое пятно означилось на нем! Как жестоко наказывает ее судьба за одну минуту неземного блаженства на земле! Герцог радовался уж своему торжеству, видя, что государыня склонялась на его сторону; но ожесточение, с которым он напал на любимицу ее, разрушило все, что он успел выиграть вновь из потерянных прав своих, и положило между ею и им новую преграду. Нельзя было не догадаться, на кого устремлены были его стрелы, облитые ядом: цель сама означала себя слишком явно; но время, место и способ обвинения были худо выбраны. Государыня заметила ужасное положение княжны, сжалилась над нею и взяла ее сторону. Отпустить ее от себя, чтобы освободить от ужасных намеков своего фаворита, она не решалась, боясь услышать что-нибудь важное насчет своей любимицы. Как бы по предчувствию, она страшилась потерять свое последнее утешение. И потому с прежнею холодностью и твердостью разговор был обращен на другой предмет.

Вскоре доложили о Волынском. При имени его Мариорица, казалось, ожила, она не старалась оправиться, она в одну минуту оправилась, воскреснув душою.

Артемий Петрович вошел. Если б он видел, какой взгляд на него бросили! Это был целый гимн любви. Чего в нем не было? моление, упование, страх, покорность, любовь земная, судорожная, кипящая, и любовь неба с его глубокою беспредельностью, с его таинственным раем. Но другой взгляд... о! он пронизал бы вас насквозь холодом смерти. Артемий Петрович вошел и не удостоил взглянуть на нее, преданный ли своей новой любви к жене, или делу друзей и отчизны.

«Может статься,— думала Мариорица, утешая себя,— он мстит мне за то, что я не пришла на свидание, мною же назначенное! Не мог ли он подумать, что я насмеялась над ним? И то может статься, что он сберегает меня от подозрений... Один утешительный взор любви, ничего более, а там хоть погибнуть!»

И этого взора не было.

— Артемий Петрович,— ласково произнесла государыня,— вы читали мое желание?

— Оно будет выполнено, ваше величество!

— Завтра?

— Завтра, в час, который вам угодно будет назначить.

— Слышите, ваша светлость?

— Разве кабинет-министр в первый раз себя обольщает несбыточным? разве он в первый раз говорит так необдуманно? — сказал Бирон, не удерживая более своей злобы.

Кружева на груди Волынского запрыгали; но он сделал усилие над собой и отвечал сколько мог умеренней:

— Благодарите присутствие ее величества, что я не плачу вам дерзостью за дерзость. Волынской никогда, даже вам, не изменял своему слову, хотя б это стоило ему жизни.

— Но знаете ли, государь *мой*, что делается между людьми, снаряженными на праздник и вам порученными?

— Более, нежели вы думаете, государь *мой*! Знаю, что одного из них, именно малороссиянина, вам угодно было исключить из списка живых. Да это для вас, сударь, такая безделица! Человек!.. к тому же русской!.. ну, стоило ли из этой дряни хлопотать! Однако ж вы сами тотчас же поспешили заменить его другою живою, подставною куклой.

— Сказка, вами сплетенная! тысяча вторая ночь, которою прекрасная ваша пленница ищет убаюкать вашу скуку и, может быть, оградить вас от наказания нашей правосудной владычицы!

— Клевета, которою вы вместо надгробной надписи хотите скрасить памятник над своими мертвецами, чтобы они не пугали вашей младенческой совести! Гм! поставьте лучше из целой России великолепный мавзолей.

— Боже мой! да эти буяны так забылись в присутствии моем, что у меня в ушах ломит от их крику. Пожалуй, чего доброго, возьмутся за святые волоса!.. Я обоим вам приказываю замолчать,— вскричала грозно государыня,— я это все разберу после, в свое время. Все ли у вас пары налицо? — прибавила она, немного погодя, смягчив голос. Обращение было сделано к кабинет-министру.

— Все, государыня!

— Опять неправда! — воскликнул Бирон.

— Докажите.

— Цыганка Мариула вчера с ума сошла (при этом слове княжна помертвела, встала с своего места, чтобы идти, и не могла); полиция вынуждена была посадить ее в яму.

— Та самая, которая?..— спросила было государыня.

— Гадала некогда вашему величеству,— подхватил герцог.

— С ума со...? — и государыня не договорила.

Там, где стояла княжна Лелемико, послышался глухой стон, будто грянулось что-то тяжелое оземь. Все оглянулись,— княжна лежала недвижимо на полу.

— Боже! ее убили! — закричал Волынской, схватив себя за голову, и первый бросился подавать ей помощь, за ним Бирон.

Но государыня, несмотря на то что перепугана была так, что дрожала всем телом, дернула сильно за снурок со звонком, чтобы прибежала прислуга, и сердито указала дверь герцогу и кабинет-министру, примолвив:

— Прошу уволить от ваших нежных попечений. Снявши голову, не плачут по волосам. Ступайте...

— Не пойду, ваше величество! — вскричал Волынской, став на колена подле княжны и схватив руку ее, которую старался согреть своим дыханием.

— Какой позор!.. и меня заставляют смотреть на него!.. Вы хотите быть ослушником?..— сказала грозно императрица,— не заставьте меня в другой раз повторить.

Во время этого ужасного спора подданного с своею государынею Бирон стоял у дверей. Прислуга дворцовая явилась.

— Теперь пойду,—сказал Волынской, встал, посмотрел еще на княжну и вышел; герцог за ним.

Лишь только они успели занести ногу за первый порог, Бирон сказал с коварною усмешкою своему врагу, шедшему в глубокой горести:

— Полюбуйтесь своим дельцем.

Не было ответа. Может статься, Волынской, убитый тем же ударом, который поразил княжну, не слыхал насмешки; может статься, не находил слов для ответа, потому что, оборачивая брошенный ему жетон на ту или другую сторону, везде читал: *«достойному награда»*. Кровавое пятно, им замеченное на белом платке, терза-

ния бедной девушки, у которой он отнял спокойствие, радости, честь, может быть и жизнь; сумасшествие цыганки, столько любившей княжну и связанной с нею какими-то таинственными узами,— все, все дело его. Нельзя отказаться от этих подвигов. Ад его начинался на этой земле; зато путь к нему был усыпан такими розами!..

Выходя из дворца, он был в состоянии человека, который слышит, что за горою режут лучшего его друга. Стоны умирающего под ножом разбойника доходят до него и отдаются в его сердце; а он не может на помощь — ужасная гора их отделяет. Все, наконец, тихо, все мрачно вокруг него... Или не скорее ль можно сравнить состояние его с состоянием человека, который в припадке безумия зарезал своего друга и, опомнившись, стоит над ним?

Глава III

МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ

С этим адом в груди приходит он домой. Взоры его дики; на лице сквозит нечистая совесть; вся наружность искомкана душевною тревогой. По обыкновению, его встречают заботы слуг. Неприятны ему их взгляды; каждый, кажется, хочет проникнуть, что делается у него в душе.

— Прочь к черту! — говорит он им ужасным голосом.

И все с трепетом удаляются, объясняя себе по-своему необыкновенное состояние барина. В тогдашнее время не было в домах ни мужниной, не жениной половины; все было между ними общее. Не желая встретить жену, Волынской нейдет в дальние покои и остается в зале; то прохаживается по ней тяжелыми, принужденными шагами, будто совесть и в них налила свой свинец, то останавливается вдруг, как бы нашел на него столбняк. Он желал бы убежать из дому, от семейства, от всего света, в леса дремучие, в монастырь; он желал бы провалиться в землю. Везде преследует его кровавое пятно; на всем белом видит он этот ужасный знак.

Наталья Андреевна, узнав, что он возвратился домой, спешит к нему. Он холодно принимает ее ласки;

на все вопросы ее, нежную заботливость отвечает несвязно, сухо, едва не с сердцем. Мысль, что с ним случилось несчастие, тревожит ее, она умоляет его открыться. Он грубо ссылается на хандру. Но слезы, блеснувшие в ее глазах, пробивают, наконец, путь к его сердцу. «Довольно и одной жертвы! не эту ли еще убить за любовь ко мне?» — думает он, старается ее успокоить, увлекает в свой кабинет, целует ее и силится забыться в ее ласках. Доброе, милое это существо радуется своей победе, торжествует ее разными пламенными изъяснениями любви своей; она уже не та тихая, только что нежная супруга, которую некогда упрекал Волынской в холодности,— она страстная любовница, утончающая свои ласки; она плачет от упоения любви. Но что с нею вдруг?.. Она отпрянула от него, как будто сам сатана ее укусил; она дрожит, будто провели по всему ее телу замороженным железом.

Безумный! среди пламенных изъяснений любви, забывшись, он произнес: *милая Марио...* и уста его, не договорив околдованного слова, оледенели, и волос его встал дыбом.

— Что же вы, сударь, не доканчиваете? — сказала Наталья Андреевна, судорожно усмехаясь. Она хотела продолжать, но не могла: ревность задушила ее.

Артемий Петрович почти насильно обвил ее своими руками, как бы заключил ее в волшебный круг, из которого она не могла высвободить себя, целовал ее руки, умолял ее взором; но она, вырвавшись из его объятий, оттолкнула его.

— Прочь, прочь, обманщик, негодный человек! — говорила она, рыдая.— Так вот ваша любовь! вот мое сокровище, за которое я не хотела всех богатств мира и за которое нельзя дать гроша!.. Прекрасная любовь! В то время как меня ласкаете, как я думаю быть счастлива, сколько может быть счастливо божье создание, у вас на уме, в сердце ваша молдаванка; ваши ласки, мне расточаемые, принадлежат другой. Я только болванчик, кусок дерева, на котором вам угодно примеривать ваши нежности вашей прелестной, божественной Мариорице. Нет, этого более не будет; я не дойду более до такого позора... И вот причина вашей горести!.. Зачем же было меня обманывать? Давно б мне просто сказать: ты мне постыла, я люблю свою молдаванку, одну ее! Мне было бы легче!.. Повторите мне это теперь и оставьте меня; расстанемся лучше... У меня будет кого

любить и без вас — со мною останется мой бог и спаситель, которого вы забыли!..

И несчастная рыдала, ломая себе руки. Ревность заставляла ее говорить то, что она, конечно, не в состоянии была б выполнить. Артемий Петрович стал пред нею на колена, уверял, что хотел ее испытать, божился, что ее одну любит, что ее одну ввек будет любить, что к Мариорице чувствует только сожаление. Истинная любовь легковерна. Наталья Андреевна поверила, но наперед требовала, чтоб он подтвердил свою клятву пред образом спасителя. И он, как бы в храме, пред алтарем, подтвердил ее со слов Натальи Андреевны, диктовавшей ему то, что он должен был сказать для успокоения ее. В этом случае он не думал лицемерить ни перед нею, ни перед богом: от любви к Мариорице, возмущенной такими неудачами и несчастиями, лишенной своего очарования, действительно осталось только глубокое сожаление; но это чувство так сильно возбуждало в нем угрызения совести, что он готов был желать себе скорее смерти. Жизнь его опутана такими дьявольскими сетями; один конец ее мог их разрубить. Любил он истинно свою жену? Да, он дорожил ею с тех пор, как узнал, что она скоро будет матерью его младенца; но могло ли чувство чистое, возвышенное, нераздельное иметь место в сердце, измученном страстью, раскаянием, бедствиями Мариорицы, страхом быть уличенным в связи с нею, бедствиями отечества? Сердце его была одна живая рана.

Наталья во всех случаях жизни любила прибегать к святыне. Вера вознаграждала ее за все потери на земле, осушала ее слезы, святила для нее земные восторги, обещала ей все прекрасное в этом и другом мире. И теперь, успокоенная своим мужем, расставшись с ним, она прошла в свою спальню и там молилась, усердно, со слезами, чтобы господь сохранил ей любовь супруга, который после бога был для нее дороже всего.

Успокоив ее, Волынской хотел также утешить чем-нибудь и бедную девушку, безжалостно брошенную им на смертный одр. Совесть его требовала этого утешения. Он принялся писать к Мариорице. Но при каждом скрипе шагов в ближней комнате, при малейшем шорохе дрожал, как делатель фальшивой монеты. Не *она* ли идет?.. Ну, если застанет его над письмом к своей сопернице! Артемий Петрович, кажется, боится шелеста от собственных своих движений. Кабинет-министр, ко-

торый некогда смело шел навстречу грозным спутникам временщика, пыткам, ссылке, казни и смерти, удалый, отважный во всех своих поступках, трусит ныне, как дитя.

Дверь на запор.

Письмо, которое он писал к Мариорице, было орошено слезами, так что по нем сделались пятна. Но лишь только начертал он несколько строк, как стукнули в дверь. Он спешил утереть слезы и бросить письмо под кипу бумаг; рука, дрожащая от страха, отперла дверь. Вошедший слуга доложил, что его превосходительство желают видеть граф Сумин-Купшин, Перокин и Щурхов. Тысячу проклятий их безвременному посещению! Политика и дружба для него теперь гости хуже, чем татары для бывалой Руси. Однако ж велено просить друзей.

Они пришли благодарить за ходатайство об них у государыни и вместе радоваться, что правое их дело начинает торжествовать. Когда б знали они, что обязаны своим освобождением молдаванской княжне! Волынской и не принимает на себя успеха этого дела, а приписывает его только великодушию государыни. Беседа освятилась новою клятвою друзей действовать решительно против врага России и, если он не будет удален от управления государством, требовать, чтобы их опять отвели в крепость.

Как доволен был хозяин, когда гости удалились! Он продолжал и кончил письмо. Арабу поручено доставить его во что б ни стало и сейчас.

Когда княжна была приведена в чувство и государыня оставила ее в ее спальне, уверенная, что ей лучше, горничная ее Груня наэлектризовала ее одним прикосновением к руке. В этой руке очутился клочок бумаги, могучий проводник, возбудивший ее к жизни, полной, совершенной, к жизни любви. При этом было произнесено три волшебные слова: *«От Артемия Петровича»*. Казалось, она встала из гроба и услышала райское пенье. Глаза ее заблистали по-прежнему, грудь ее взволновалась. «Что бы ни было в этой записке,— думала она, целуя ее с восторгом,— я уж счастлива — это знак, что он помнит обо мне».

Задыхаясь, она читала письмо:

«Безумный! до чего довел я тебя?.. И вот небо, которое тебе обещал! Что должен я сделать, чтобы возвратить тебе прежнее спокойствие и счастие! Скажи, ми-

лая, бесценная Мариорица, научи меня. Одно слово, одно твое желание — и я спешу исполнить его, хотя бы стоило мне то жизни, хотя б я должен купить твое благополучие муками в здешнем мире и за пределами гроба. Дай малейшую отраду — напиши одно слово о своем здоровье. Ради бога, укрепи себя для лучших дней, или я уничтожу себя, жену, все, что только носит мое имя, что может его носить. Я не усну, если не получу от тебя ответа».

Половина того, что писал Волынской, была ложь; но она сделала свое действие — успокоила, утешила Мариорицу, и цель его была достигнута. Княжна отвечала:

«Ты обещал мне небо на земле — и дал мне его. Виноват ли ты, что не мог сделать его вечным? ведь ты не бог! За блаженство, которое я вкусила, пошли он мне тысячу мук, все не покроет этого блаженства. Ты с своей стороны мне ничего не должен — ты дал мне более, нежели я ожидала; с тобою узнала я благо, какого и самые горячие мечты мои не обещали мне. Теперь мое дело жить и умереть для тебя, для твоего спокойствия, счастия и славы.

Ты плакал? следы твоих слез остались на бумаге — о! для чего пали они на нее? для чего не могла я выпить их моими поцелуями? Боже! и я виною их...

Мне сделалось дурно от слов этого злого человека, Бирона; я к этому не приготовилась, еще не привыкла. Но с этой минуты даю тебе слово не потревожить тебя и тенью огорчения; буду тверда, как любовь моя. Спи, милый друг; сны твои да будут так радостны, как теперь сердце мое».

Ни слова о неудаче свидания, о болезни своей, ни слова о цыганке: она все забыла; она помнит только своего обольстителя. Сердце ее благоухает только одним чувством — похожее на цветок хлопчатой бумаги, который издает тем сильнейший запах, чем далее в него проникает губительный червь: отпадает червь, и благоухание исчезает.

Прочитав письмо, Волынской несколько успокоился; оно убаюкало его совесть, но и в дремоте ее виделись ему страшные грезы. Письмо было сожжено, и пепел брошен в печь, чтобы и следов его не оставалось. Ту же участь имели прежние письма к нему Мариорицы: так сделался он осторожен, боясь попасть с ними под новый ужасный упрек жены. Воспоминания прошлой

любви его к княжне разгорелись было при этом случае; он заплатил ей дань несколькими слезами. Но с прежнего его кумира *обстоятельства* сняли лучи, которыми любил он ее убирать во дни своей страсти, из которых он свил было для нее такой блистательный венец, и сердце его недолго удерживалось на этих воспоминаниях. Незавидна была двусмысленная роль его: надобно было обманывать и любовницу и жену, столь горячо его любивших. Волынской сделался низок в собственных глазах и растерялся. Мог ли он в этом состоянии работать отечеству с прежнею силою и благородством души?.. Всякая жертва требует очищения.

Зуда и на этот случай сказал свое пророческое слово.

Глава IV

КУДА ВЕТЕР ПОДУЕТ

Нечистая каморка, худо освещенная сальным огарком в железном подсвечнике. На полках — множество фолиантов с важною и преважною физиономией; большая часть с надгробною надписью: Rollin [1]. На других полках обгорелые горшки, накрытые дощечками и книгами; деревянная чаша, пара оловянных ложек, мышеловка, бутылка, заткнутая бумажкой, и еще кое-какая посуда, довольно нечистая. Стол с бумагами, из которых одна кипа придавлена кирпичом (cigît: [2] сын Одиссея, родившийся на острове Итаке, взлелеянный Минервой и Фенелоном и зарезанный в Санкт-Петербурге профессором элоквенции); тут же — великанша-чернилица, надутая, как... (не скажу кто, чтобы гусей не раздразнить), песок в коробочке, сложенной из писчей бумаги, и железные схемцы по образу адамовых. В комнате два стула, огромный сундук и постель, на которой подушки черны, как будто готовили на них блины, и одеялом служит тулуп. К стене жмется портрет с бородавкою; подле него туго насаленный парик и хлопушка для мух. Стены вспаханы стихами, писанными мелом,— для вы-

---

[1] Роллен *(фр.)*.
[2] Здесь погребен *(фр.)*.

тягивания их нужна бычачья грудь. Ролленъ? нечеловеческие стихи? бородавка? А! тут, верно, живет любитель муз Тредьяковский. Василий Кириллович занимает одно из седалищ. Голова его с обнаженною макушкою представляет целый земной шар; с одной стороны к свечке, служащей солнцем (как в свете нередко случается, что сальные огарки служат иным солнцами), сияет лучезарный полдень, далее рассвет, ночь и сумрак. Против него, на другом стуле, молодой офицер с красным носом. Ба! да это его благородие Подачкин. Видно, беседуют.

Подачкин. Смотри ж, не забудь. Тебя потребуют к государыне — ты прямо в ноги и расскажи, как стращал тебя Волынской виселицею, плахою, хотел тебя убить из своих рук, коли не скажешь молдаванке, что он вдовец, и не станешь носить его писем; как заставлял тебя писать вирши против ее величества и раздавать по народу...

Тредьяковский. Заставлял, конечно... но я и вознести мысль не посягнул.

Подачкин. Уж, разумеется, братец! Слышь? переврешь и не доврешь, в караульню, на палочную.

Тредьяковский. Возлягте упованием своим на меня, как на адамантов камень. Чего не возмогу я исполнить за великие щедроты, которые ниспосылает на меня его светлость! Да не дозволите ли утруждать ваше благородие. Вы, как особа, обретаетесь при высокостепенном господине... удостойте презентовать его светлости недостойное мое стихосложение, в честь его персоны составленное?

Подачкин *(качаясь на стуле)*. А почему ж не так, почему ж? Однако не худо, братец, понимаешь... ну, ты сам разумная голова... без мази и воз с места не тронется, а с нею въедем, пожалуй, хоть в спальню к герцогине.

Тредьяковский отпирает сундук, вынимает из *кошки* [1] целковый и вручает его с поклонами.

Подачкин. Я там видел у тебя другой.

Ты раздайся, расступись, туга *киса*;
Хоть глазком одним мигни, моя краса!

---

[1] Кошельки делались из кошачьей кожи, почему и назывались *кошками*, от того ж должно происходить и слово *киса*. *(Примеч. автора.)*

И другой целковый — тут было почти все денежное богатство Василия Кирилловича—отдан милостыни раздавателю его светлости. Но золотые горы и слава были впереди.

Тредьяковский. Соблаговолите ли, ваше благородие, дозволить прочитать вам поднос мой?

Подачкин. Похвально!.. (Сынок барской барыни играл уже роль покровителя наук.) Не худо бы, однако ж, при этом винца.

Желание его благородия было исполнено, и попойка началась. Между тем Василий Кириллович читал ему стихословный акростих в честь герцога курляндского, благодетеля и просветителя России, Аристида, Фемистокла, Солона и несколько раз Мецената.

Подачкин *(перебивая его)*. Похвально, ей-ей, хотя не понимаю! Да ты, черт побери, на виршах собаку съел. Знаешь ли, братец, напиши что-нибудь на свадьбу моей матери. Шут бы ее взял, славная матка!.. Воспоила, воскормила меня, в офицеры вывела да сама себя не забыла...

Тредьяковский. За особенное себе удовольствие должен почитать и с отменною ревностью готов вам таковым стихословием моей работы презентовать. На всякую потребу я изготовил преизящные эпиталамичекие [1] стихи, которые, без сомнения, пригодны будут и на бракосочетание вашей высокой матери.

Подачкин. Что высока, то высока, четырнадцать вершков мерных! Однако, братец, доходит ли ваше мастерство до того, чтобы твои стихи на бракосочетание можно тотчас, лихо, переделать в стихи на смерть?

Тредьяковский *(с гордостью охорашиваясь)*. Чего *мы* не возможем?.. О! го, го!.. И доложить вам осмеливаюсь, что стоит только некоторые слова, резвунчики, прыгунчики, как горные козочки, вытеснить, а на место их вогнать траурные и тяжелые, как черные волы, с трудом раздирающие плугом утробу земную. Однако ж дозвольте обратиться к предпринятому мною труду в честь его светлости, великого покровителя наук и благодетеля России.

И Василий Кириллович, надуваясь, читал свой панегирик, и новый валет высших валетов герцогских допивал свою бутылку. Между тем неслышными шагами во-

---

[1] Свадебные *(греч.)*.

шел в комнату старичок, едва ли не семидесятилетний, худощавый, бледно-восковой, с серебряным венцом из волос, с редкою седою бородкой, в черном русском кафтане, подпоясанный ремнем,— настоящий мертвец, которого требовала к себе земля! Одни глаза обнаруживали в нем жизнь, и жизнь мощную, пламенную. Это был дядя нашего стихотворца, некогда учитель в Киевской академии и потом служка тверского архиепископа Феофилакта Лопатинского, который за то, что не хотел отложиться от убеждения, проникшего ум и сердце его, но неприятного временщику, был схвачен от священнодействия в полном облачении и брошен в Петербурге в смрадную темницу. Увидав старика, племянник стал в тупик.

— Продолжай, племянничек, продолжай! — сказал служка, усмехаясь пронзительной усмешкой,— прибавь к своим похвалам новый подвиг благодетелю России! новый кровавый стих к твоим великолепным виршам!

Старик расстегнул на себе поясный ремень, спустил левый рукав кафтана и рубашки, отчего обнажилось плечо. Оно было изрыто кровавыми бороздами; кровь, худо запекшаяся, струилась еще по остову старца.

Тредьяковский смутился.

— Что, друг? не правда ли, стоит твоего панегирика? — продолжал он, одеваясь.— И это все он! твой Аристид, твой Солон и Фемистокл!.. За то, что я осмелился сквозь решетку тюрьмы подать моему архипастырю, моему благодетелю и отцу, чистую рубашку — три месяца носит одну, не скидая; гнезда насекомых источили уж ее! Вот человек — ирой... Отрекся ли он от своей веры, лишенный посоха своего, церкви, божьего света, воздуха, изгложенный червями и болезнями? Вымучили ли из него пытки хотя одно слово против его совести?.. Его бы славить, его бы воспевать!.. Где вам!.. На вас только облик человеческий, а так же ползаете, как четвероногие. Вам скорей награду здесь, на земле, хоть медный грош, лишь бы не даром!.. А небо? О! никогда не гляделось оно в вашу душу, никогда не тянуло оно ее к себе; ни одна йота из языка человека с богом не тревожила вас дивным восторгом! Твое сердце бежало ли когда на уста вместо слов? беседовал ли ты когда с этим богом слезами? Несчастный! ты из этого ничего не знаешь. Камень камнем и будет. Продолжай, любезный, подноси на коленах свое стихотворное вранье: сын вре-

мени погладит тебя по головке, может статься, окутает тебя в свою ливрею, озолотит тебя и поставит на запятки. Но, знай! внуки наши обрекут тебя достойному позору, оплюют твои подлые творения. Слышишь?.. громы надо теперь на палачей, ужасные громы неба, а не чиликанье синиц под ружьем охотника, не блеянье овец под ножом мясника! И грянет этот гром! Горе вам тогда! Слышишь ли?..

Голос вдохновенного старца умолк — может статься, последняя его лебединая песнь на земле. Он исчез.

Долго еще племянник слушал его, поверженный в ничтожество громовыми истинами старца, как бы приходившего на миг из гроба, чтобы обличить его в раболепстве. Подачкин, разинув рот, слушал также, ничего не понимая. Налитый стакан стоял нетронутый.

Наконец Василий Кириллович одумался, встал, подошел на цыпочках к двери и припал к ней ухом: никого! Отворил ее — никого! Тут он осмелился произнести:

— Сумасшедший! накупается каждодневно на побои: то нянчится около своего архиерея, дерзнувшего воспротивиться власти его светлости, то шляется по караульням, воздвигает на него ненависть солдат и предсказывает восшествие на престол Елисаветы Петровны. Кончить ему неблагообразно!

Василий Кириллович начал опять читать свой *поднос*, но чтение было опять прервано. Вошел в каморку кабинет-секретарь Эйхлер. Подачкин вытянулся во фронт; хозяин встал, смутившись, и приветствовал гостя как мог; но этот, не дав ему расплыться в многоглаголании, отвел его в соседнюю, еще меньшую, каморку. Здесь шепотом объявил, что все усилия произвесть Василия Кирилловича в профессоры элоквенции остались тщетны, потому что фаворит решительно падал и судьба его на волоске. Целая свита сожалений, вздохов, жалоб на несправедливость людей и переменчивость фортуны следовали за этим объяснением. Стук-стук, новый гость — и кто ж? Зуда, которого не видали целые веки. Никогда еще каморка Тредьяковского не имела у себя столько разнородных посетителей. Разумеется, что поклонение пиита обратилось к восходящему солнцу, и Эйхлер вынужден удалиться.

Тут Волынского торжество было объявлено во всеуслышание, так что и Подачкин струсил. Не обошлось, однако ж, без новых тайных переговоров в соседней ка-

морке, где Василию Кирилловичу предлагали милости, какие ему самому угодно будет назначить. Заслуги его умели всегда ценить, но случая не было к награде; теперь этот случай представился и спешили им воспользоваться. Взамен требовали только: в случае спроса государыни сказать, что он действительно был вчера у Волынского и от него пошел давать урок княжне Лелемико, у которой оставил свою книгу (а были ли в ней бумаги, ему неизвестно), и потом насчет связи кабинет-министра свалить всю вину на Бирона, который будто бы угрожал Василию Кирилловичу виселицею и плахою, если он не поддержит этой связи и не заверит княжну, что Волынской вдовец. Да это безделица!.. Василий Кириллович полезет для его превосходительства, своего благодетеля, покровителя и мецената, в огонь и в воду. Пошли уверения, клятвы, всепокорнейшие, всенижайшие, вседолжнейшие, так что крошечный Зуда едва не задохся от них. Кончилось тем, что два серебряные рублевика после упорной битвы были отняты пиитом, сильным, как Геркулес, и возвратились в свое прежнее обиталище, и новое его благородие согнато с Парнаса в толчки:

Ведь Парнас гора высокая,
И дорога к ней негладкая.

Глава V

СВАДЬБА ШУТА

Гимен на торжественной ехал колеснице,
Купидушки ту везли, прочие шли сице.

Тредьяковский

Приданого за ней полмиллиона,
Вот выдали Матрену за барона...
. . . .
И сделалась моя Матрена
Ни пава, ни ворона.

Крылов

Назначенный праздник не был отменен. По особенной привязанности к княжне Лелемико государыня хотела им воспользоваться, чтобы показаться вместе с нею

придворным и тем отразить стрелы клеветы, которые могли на нее посыпаться. Она верила любви Мариорицы к Волынскому — и как не верить? свидетельства были слишком явны: бедная не умела скрывать свои чувства,— но в голове Анны Иоанновны развилась мысль сделать эту любовь законною... На это довольно было одного ее царского слова.

При докладе Волынского, что шутовская свадьба снаряжена, с ним обошлись необыкновенно милостиво. Что, казалось, вело его к гибели, то послужило к выгодам его. Каких же странностей нет на свете! Прошу угадывать, где встать, где упасть. Напротив, к изумлению всего двора, Бирон был принят чрезвычайно холодно. Он хотел говорить о предмете, лежавшем у него на сердце, и не имел возможности: сначала речь его перебивали, потом решительно объявили, чтобы он не смел упоминать о княжне. За то отплатил он при выходе из внутренних комнат, хлопнув сильно дверью.

Тигра вводили в клетку, но боялись еще запереть ее; он знал свою силу и играл железной клеткой, входя и выходя из нее. Никто не смел говорить об охлаждении к фавориту — не верили ни слухам, ни глазам, боялись даже верить, чтобы не проговориться; хотели скорей думать, что тигр притворяется спящим.

Праздник! народный праздник! какое магическое слово для толпы! Полно, для одной ли толпы? Это слово не клич ли к общему веселию? И кто ж не хочет забыться от забот здешней жизни, вкусив хоть несколько капель у фонтана этого веселья, бьющего для всех и про каждого? Мужичок окунает в нем свою бороду, так он жаден напиться его до безумия; мудрец — хоть и мудрец, с припевом из Соломона *«все суета сует»*, осторожно, исподтишка, лезет тоже, за щитом густой бороды черни, испить с отдыхами ковшичек удовольствия — народного, грубого, как он называет его, но все-таки удовольствия. Накрой же кто его на этом ковшике любимою его сентенциею: *«все суета сует»,* у него тотчас готова оговорка: ведь надобно ж было испытать, какова водица, чтобы описать ее свойства! А все это сведем к тому, что все мы не прочь от народных увеселений.

Не пользуясь Мафусаиловой жизнью, мы не могли быть на празднике, который в последний год царствования Анны Иоанновны дан был по случаю свадьбы пажа и шута ее Кульковского. Постараюсь, однако ж,

описать праздник, будто сам видел его. А отчего так хорошо его знаю, то извольте знать, слышал я об нем от покойной моей бабушки, которая видела его своими глазами и вынесла из него рассказов на целую жизнь, восторгов на целую вечность, если б вечность дана была в удел моей бабушке.

Итак, просим ко мне под бочок: смотрите ж, что я буду вам показывать.

Видите ли? становится на площади между Зимним дворцом и ледяным домом карета золотая, десятистекольная, запряженная восмью *неаполитанскими* лошадьми. Что за кони! будто писаные! Сбруя пылает на них, страусовые перья развеваются на головах; снег курится из-под ног, тонких, как у оленя. Пиф, паф бичом — каково ж рисуются! Благородная кровь означилась струями по атласу их шерсти. Двенадцать пеших гайдуков идут по бокам цуга, готовые смирить рьяность коней в случае, если б забыли узду и бич. Кучера в треугольных шляпах с позументами, из-под которых прицеливается в карету длинная коса, в откидных ливрейных шубах, исписанных блестящими галунами, в башмаках и шелковых чулках с огромными пряжками. Пажи унизали карету ожерельем, которому служат как бы замком два араба в золотых шубах и в белых чалмах. Охраняют ее *двенадцать ездовых сержантов* верхами в гренадерских с плюмажем шапках. В ней сидит государыня, напротив ее княжна Лелемико (кабы знали, что она дочь цыганки!). На лице последней играет уж румянец, в глазах искрится удовольствие. Скоро ж оправилась! Мудрено ли? она уверена, что любима. Позади этой кареты несколько других с великими княжнами и придворными дамами. В одной из них — посмотрите — настоящая русская дева, кровь с молоком, и взгляд и привет царицы: это дочь Петра Великого, Елисавета. Она дарит толпу улыбкой, будто серебряным рублем. Кажется, сердце хочет сказать: «Желанная, царствуй над нами!» Как ей легко увлечь эту толпу! Невыгодно сравнение с нею для Анны Иоанновны, смуглой, рябоватой, с длинным носом, тучной, мрачной. Прибавьте к неприятной наружности потворство ужасному Бирону и можете судить, почему ее прозвали грозною, когда она, в самом деле, не была такою. Заметьте и эту молоденькую женщину в придворной карете — милое, дутое личико, на котором набросано кое-как простодушие, доброта, ветреность. Это Анна Леопольдовна, супруга герцога Браун-

швейгского. Кто бы подумал, что ей предоставлено сменить временщика и править государством? Кому, однако ж, как не голубке принести ветвь мира человечеству, усталому от казней! К карете нередко подъезжает муж ее, незначащее лицо, и статный, красивый Линар, этот очарователь... Но я расскажу вам когда-нибудь в другое время их историю. Вот и карета герцога курляндского, с его гусарами, скороходами, егерями и пажами. Он ослепляет великолепием своего экипажа и прислуги и красотою лошадей; он давит толпу своим грозным взором и именем. Жена его с ног до головы облита корою алмазною: знатоки ценят их в два миллиона. Вот и фельдмаршал Миних верхом — герой, инженер, честолюбец, волокита, любящий страстно ветчину с сахаром и женщин, но более всего славу. Посмотрите, как он увивается около кареты С...вой (дочери В...ва), первой красавицы при дворе — первой, хотел я сказать, после княжны Лелемико. Она небрежно отвечает ему; отуманенные грустью взоры пронзают толпу всадников и ищут между ними молодого В...ва, двоюродного брата ее, к которому пылает страстью преступной. Зато муж ее у ног прекрасной княжны Т...ой, венчающей его не одними надеждами. Но слышали ли вы про чудную смерть С...вой и про сердце ее, выставленное в церкви на золотом блюде, под стеклянным колпаком, и проч.?

О господи! положи на уста мои хранение. Когда-нибудь, если удастся, расскажу все, что я про них слышал от девяностолетнего старца[1], которому тайны их жизни были известны, как его собственная спальня. А теперь станет ли меня управиться и с настоящим рассказом!

Какой щегольской съезд! Играют волны страусовых перьев; переливается блеск золота в блеск алмазов; бархаты пышут яркостью своих цветов; черные соболи нежатся на женских коленках. Какое отборное собрание женщин! какие хорошенькие, свежие лица, будто сейчас умылись снегом или с серебра под первый весенний гром! Горят опасные взоры их, или проблескивает на вас из-под длинных ресниц луч потаенный. Кокетничают и красавицы лошади. Все блестит, все радуется снаружи. Зато какой хлам становится за придворными экипажа-

---

[1] От него ж узнал я историю молдаванской княжны Лелемико. *(Примеч. автора.)*

ми. Чего тут нет? Вот курятник, из которого выглядывает жирная наседка с полдюжиной хохлатых птенцов; вот человеческая мумия под белым париком, прилепленная к своему седалищу, устроенному в богатом берлине, который везут четыре лошадиные мумии веревочными постромками; она боится малейшего толчка, чтобы душа не вылетела из нее вон. Думаю, что и в соседней карете, со взводом прислуги в нарядной ливрее на запятках, барыня, разряженная, как жар-птица, при каждом ухабе дрожит не менее старика,— не за душу свою — кажется, душонки-то и нет у нее, а за свои соколиные брови, за жемчуг своих зубов, за розы и перловую белизну лица, взятые напрокат. Тут найдете в экипажах живые колоды карт, живые корзины с цветами, свежими и поблекшими, простыми и расписными, индейских петухов, ветвистых оленей и прочее и прочее, что и ныне можете найти на всяком съезде. Какая смесь вкуса с безвкусием, блеска с чернотою, великолепия с недостатком! Настоящая вывеска необразованности тогдашнего времени! Только два-три экипажа вполне щеголевато снаряжены, и в числе их карета Волынского. В нем сидит супруга его, счастливая, гордая им, только им и — разве плодом любви их, который носит под сердцем. Какая мысль блеснула в голове ее и Мариорицы; что почувствовали они, когда издали взглянули друг на друга в первый раз? Уж, верно, не Наталья Андреевна завидовала участи княжны, сидящей с государыней. Сам Волынской разъезжает на санях, чтобы удобней распоряжать всеми частями праздника.

Однако ж внимание, господа́ и госпожи! Не заглядывайтесь так на прекрасную, бледную княжну Лелемико и пригожую супругу кабинет-министра. Знаю, что обе загляденье. Одною, говорите вы, любуетесь, как звездою любви на роскошном ложе неба, как обольстительною девою, которая должна украшать рай магометов: все помыслы о ней — соблазн, грех, бессонница, видения, бунтующие кровь вашу. Другою восторжены вы, как Мурилловым идеалом, на который, кажется, боишься глядеть не душевными очами, которого взгляд соучастия дает крылья, чтобы лететь на небо христианское. Знаю, что вы колеблетесь, кому из них отдать золотое яблоко; но теперь не время играть роль Париса. Итак, прошу внимания, господа́ и госпожи!

В голове шествия — рота гвардейцев; треугольные шляпы солдат украшены еловыми и дубовыми ветвя-

ми, у офицер лаврами — так ходили они, возвратившись из славного турецкого похода. Проходя мимо императрицы, они приветствуют ее громким *«виват!»*.

Вот выступает огромный слон — сильное, мудрое животное из числа четвероногих, которое, однако ж, повинуется, как вы видите, маленькому двуногому животному, может быть и довольно глупому. Но этот простачок получил от одного лукавого выскочки из своего рода талисман — молоток, которым он, сидя на его хребте, долбит силача и мудреца в голову и управляет им как хочет. Тяжело выступает слон в теплых котах. Но каких это двух зверьков везут на спине его в огромной железной клетке, утвержденной к ней подпругами? Народ, несмотря на присутствие императрицы, встречает их радостными восклицаниями, хохочет, плещет руками. Поезжай они на слоне и не в клетке, народ не посмел бы смеяться! Эти зверьки, судя по образу их, человеки. Один — Кульковский, другой — супруга его, бывшая Подачкина и барская барыня. Кланяйтесь им, господа́ и госпожи, и поздравляйте их со вступлением в законное супружество. Они едут из церкви на свадебный обед, провожаемые многочисленным поездом. Напыщенные, как лягушка, собиравшаяся в быки, сидят они друг против друга в богатых креслах. Штоф, бархат, золото, вспыхивая от луча солнечного, сквозят через железные прутья клетки, муфты придают новобрачным высокую степень кукольного барства. Есть чем и похвалиться: от Баязета до них еще никто не езжал в таком чудесном экипаже; а Баязет, как вы изволите знать, был не мелкая спица в колеснице мира — легко сказать, султан!

Любезная старина! завидная старина! Увы! теперь не повезут человека в железной клетке!..

С какой высоты смотрят новобрачные на толпу! Все мало и низко перед ними. С каким самодовольством озираются они! Не для них ли съезд двора, стечение всего Петербурга? Для них собрание всей России — все диковинки, нигде еще не виданные! Особенно торжественна госпожа Кульковская: ей пожаловано богатое приданое, хоть бы невесте Миниха; она уж столбовая дворянка, может покупать на свое имя крестьян и колотить их из своих рук; мечты о столе царском, где сядет рядом с женою Волынского, бывшею своею барынею, о пирах и более о наказаниях, которые будет рассыпать, кружат ей голову. Осмелься кто из ее крестьян пискнуть перед

ней: кликнула — заплечный мастер садится на облучок ее повозки — летят, приехали, и по ее мановению, без дальнего суда, расправа готова. Все дело нескольких целковых и власти боярской. Чудные времена, славные времена!.. Госпожа Подачкина опьянела от восхищения, и ей не верится, что она на такой высоте почестей и могущества.

Глядите, глядите, что за странный поезд тянется за экипажем новобрачных! Честь первых за ними принадлежит остякам, или, лучше сказать, оленям, на которых они едут. Красивые животные дрожат и упираются; от страху по шерсти их перебегают тени. За ними новгородцы на паре козлов, малороссияне на волах, чухонцы на ослах, татарин с своею татаркою на откормленных свиньях, на которых посадили их, чтобы доказать, как можно преодолеть натуру и обычаи. Тут и рыжеволосые финны на крошечных конях, камчадалы на собаках, калмыки на верблюдах, белорусцы под войлоком колтуна, зыряне, которых честность могла бы поспорить с немецкою, ярославцы, взявшие верх на этой человеческой выставке статью, красотою, щегольством наряда, и так далее, все сто пятьдесят разноплеменных пар, каждая в своем народном костюме, на отличной паре животных, в различных санях и салазках. Блеянье, лай, мычанье, рев, ржанье, звон бубенчиков и колокольчиков — какая чудная музыка при этом диковинном поезде! Опять скажу, только в России можно было составить такой богатый этнографический праздник. На одной площадке собрались весь север Азии и почти весь восток Европы: для этого стоило только русской царице махнуть платком из окна своего терема.

По воле государыни поезд сделал два оборота на Луговой линии и тянется к манежу Бирона. Там приготовлен обед для новобрачных и гостей. Стол накрыт на триста три куверта. Музыка, составленная из труб, гобой и литавр, встречает поезд. Садятся за стол чинно, парами, в том порядке, в каком ехали,— разумеется, князь и княгиня свадьбы на переднем месте. Перед каждою парою поставлено национальное ее кушанье.

Государыня с своею свитою расположилась на возвышении под балдахином. Около нее составляется блестящая гора дам и кавалеров.

За обедом Тредьяковский громогласно произносит стихи «собственной работы»:

Здравствуйте женившись, дурак и дура,
Еще... тота и фигура!
Теперь-то прямое время вам повеселитца,
Теперь-то всячески поезжаным должно веситца.
Ну Мордва, ну Чуваша, ну Самоеды!
Начните веселье, молодые, деды!
Балалайки, гудки, рожки и волынки!
Сберите и вы бурлацки рынки.

. . . .

Ах, вижу, как вы теперь ради!
Гремите, гудите, брянчите, скачите,
Шалите, кричите, пляшите!
Свищи, весна, свищи, красна!

. . . .

И так надлежит новобрачных приветствовать ныне.
Дабы они во все свое время жили в благостыне;
Спалось бы им да вралось, пилось бы да елось.
Здравствуйте ж женившись, дурак и дурка,
Еще... тота и фигурка!

Государыня рукоплещет, именует Василия Кирилловича придворным пиитом, и, по приказанию ее, все ее окружающее осыпает певца рукоплесканием. Он встает, изнемогший под бременем своего торжества. Два пажа берут его под руки и сажают на противный конец стола, где для него поставлен особенный куверт под беседкою из веников. Ему одному нет пары; он единствен. Во время обеда служат ему пажи — честь, равняющая его с Шапеллем, если не с Тассом.

Обед кончился, начинаются пляски, каждая пара свою национальную. Там плывет лебедкою русская дева, и около нее увивается соколом ее товарищ; за ними ломаются, как одержимые духом, в шайтанской пляске; далее пристукивают *козачка* или выкидывают *журавля*. Тут мчатся степным вихрем цыгане: «Эй, жги, говори! эвое, эван!», и взоры исступленно-красноречивы, и каждая косточка говорит, каждая жилка бьется, и грудь дышит бурею любви. Но что с княжною Лелемико?.. Она бледнеет. Пляшущая цыганка не мать ее, но ее напоминает, и это напоминание леденит все существо Мариорицы. Она старается укрепиться, ищет взорами Волынского, находит и оживает. Между тем цыгане пролетели, голос их отдается слабее и слабее, наконец совсем замирает. Новые пары, новые пляски и голоса! И страх и грусть Мариорицы промчались, как мимолетные видения.

Великолепный балет! Испытайте задать нам подобный, господа директоры театров!..

Пир кончен, и новобрачные с своим пестрым многочисленным поездом отправились в прежнем порядке в ледяной дом. Здесь, при звуке труб, литавр и гобой, под ход козлов, быков, собак и ослов, высадили их из железной клетки и отвели с подобающею честию в спальню, где и заперли. Поезд распущен. Часовые приставлены к дому, чтобы влюбленная чета не могла из него освободиться. Каков алтарь Гименею?.. На что ни садятся, к чему ни прикасаются, все лед — стены, брачное ложе, утварь, отвсюду пышет на них холод, ближе, теснее, наконец душит, костенит их. Несколько минут утешает их огонь в ледяном камине, на ледяных свечах; но этот фосфорный огонь не греет — вот и он слабее перебегает по ледяным дровам, цепляется за них, бьется умирая, исчезает... Холодно, мрачно, как под землею! Сердце замерло. Сначала *молодые* силятся побороть холод: то бегают взад и вперед по комнате, пляшут, кривляются, то кувыркаются, то колотят друг друга. Смех, да и только!.. Нет более сил выдерживать. Стучатся в дверь, стонут, умоляют часовых выпустить их, припадают заочно к их ногам, клянутся по гроб не забыть их благодеяний, обещаются озолотить их. Ничто не помогает. Отчаяние берет верх. От мольбы переходят к проклятиям: все проклинают, что только носит имя человеческое; ломают и уничтожают все, что могут разломать и уничтожить, силятся разрыть стену... наконец, предавшись отчаянию, садятся на постель... Глаза слипаются, дремота одолевает их более и более; смерть уж протягивает на них руки, усыпляет их, убаюкивает сказками, сладкими видениями; еще одна минута... и они заснули бы навеки. Но утро отрясает уже свои белокурые кудри из-за снежного подзора; начинает светать... К новобрачным входит караульный офицер и, найдя их в предсмертном усыплении, старается их оживить. Их оттирают снегом и относят на квартиру, где помощь лекаря скоро возвращает им жизнь.

В этот день Бирон был чрезвычайно скучен, государыня очень весела, как бы утешаясь победою над своим любимцем и самой собою. Унизительное внимание герцога простиралось почти на каждого из придворных, кроме отъявленных врагов его. Упавший временщик всегда низок.

На следующий день государынею назначено кабинетское совещание по случаю вознаграждения поляков. Твердость ее делала успехи.

Глава VI

ОПАЛА

Грозой утомлено,
Спит море — тигра сон! не верь ему; оно
Пред новой бурею так страшно помертвело.

В. Тепляков

В полдень, когда кончились совещания, Эйхлер стоял у дверей государынина кабинета. Под мышкою держал он какие-то бумаги. Его, племянника Липмана, его, преданного Бирону, осыпанного благодеяниями герцога курляндского, избрали для доклада о поляках, решенного в государственном кабинете. Лучшего выбора нельзя было сделать. При этом докладе лукавый ум Эйхлера докончит то, что начали коварство и сила временщика. Тяжкая забота налегла на чело его; по временам трепет губ и рук обнаруживает в нем сильное душевное волнение. То садится он на стул, разбирает бумаги, углубляется в чтение их, с негодованием комкает их в руках, опять складывает; то встает, утирает холодный пот с лица, подходит к окну, смотрит на небо, будто с укоризной, то делает разные странные движения, как бы говоря с самим собой. Это уж не тот двусмысленный, сонный Эйхлер, которого мы видели с его дядей в домашней канцелярии герцога, когда они допрашивали Мариулу; это не тот ротозей, который считал на небе звезды, толкнувшись с кабинет-министром на лестнице Летнего дворца; не тот умышленный разгильдяй, приходивший благодарить своего патрона за высокие к нему милости; это, правда, Эйхлер, племянник Липмана, кабинет-секретарь, но Эйхлер обновившийся. Наружность его благородна, отчетлива; на лице его, во взорах резко написаны намерение, цель, подвиг. В душе его ворочается какой-то демон; видно, что ему надобно разрешиться от него.

— К ее величеству! — закричал дежурный паж, отворяя дверь кабинета, и указал туда рукою, давая знать, что государыня уже там.

Невольный трепет пробежал по всему составу Эйхлера; он имел только время поднять глаза к небу, как бы умоляя его о чем-то.

Он в кабинете государыни.

Анна Иоанновна сидела за письменным столом; к

ногам ее, покоящимся на шелковой подушке, прислонилась отвратительная карлица, которая по временам слегка терла их. Этот уродец слыл глухою... Кивнув приветливо кабинет-секретарю, ее величество в знак благоволения подала ему свою руку поцеловать.

— Что сделано? — спросила она потом с живым участием.

— Несправедливость восторжествовала, государыня! Все члены подписали вознаграждение, кроме кабинет-министра Волынского. Он один не изменил ни себе, ни правде: одушевленный любовию к отечеству и преданностью к вашему величеству, он один защищал ее горячо, благородно, как истинному вельможе следует. Каждое слово его, подобно огненному мечу ангела, карателя зла, падало на сердца его противников; сильные доводы его заставили их умолкнуть. Но герцог уже наперед подписал свое мнение, и все молча, страшась ужасных гонений, подписали за ним свой стыд и унижение России. Простите мне, ваше величество, если я, увлеченный любовью к правде, к пользам вашим и России, слишком смело изъяснился.

Эйхлер говорил с горячим чувством; слова его излетали, как молнии; когда он кончил, по его лицу катились слезы.

Кто бы мог подумать! Эйхлер? племянник Липмана, его сотрудник, клеврет и наследник, пестун злодейских замыслов Бирона?

— Ты?.. плачешь? — сказала изумленная государыня,— ты, любимец герцога.

— Ах! ваше величество, если бы вы знали, чего стоила мне эта любовь!.. Теперь, когда она не нужна мне более, в эту решительную минуту, когда я могу все потерять от вашего гнева и все приобресть от ваших милостей, я признаюсь, что моя преданность к герцогу была только личина. Скидаю эту личину, достигнув своей цели: открыть вашему величеству всю истину. Ненавижу Бирона, который угнетает мое второе отечество, покрыл кровавым струпом народ русский и бесславит ваше царствование; ненавижу его милости, презираю их. С тех пор как я узнал все благородство души Волынского, я предался ему безгранично, как друг, как сын его. Ему это неизвестно; он даже считает меня в числе своих врагов. Вот моя исповедь, государыня! Предаю вам всего себя.

— Чудные вещи слышу я!.. Чему и кому верить?..—

произнесла Анна Иоанновна, качая головой; потом взяла бумаги из рук Эйхлера, читала их про себя, перечитывала и долее всего останавливалась на мнении Волынского, которое состояло в следующих выражениях: *«Один вассал Польши может изъявить свое согласие на вознаграждение, но русский, храня пользы и честь своего отечества, как долг велит истинному сыну его, не даст на сие своего голоса».*

Пока государыня читала бумагу и озабоченный Эйхлер следил ее взоры, карлица ускользнула из-под стола и скрылась.

— Вассал? Это, однако ж, грубо!..— сказала государыня.— Разве он не мог употребить других выражений?..

— Не вините его, ваше величество, за то, что он для пользы России и чести вашей увлекся благородною пылкостью своего характера и не взвесил как должно слов своих. Эти же слова произнес он некогда самому герцогу и ныне хотел быть верен себе и на бумаге, которая пойдет к потомству. Герцог тогда же сильно чувствовал свое оскорбление: зачем же не жаловался вашему величеству? Оттого, что сам связан был по рукам и ногам ужасною смертью Горд...

Анна Иоанновна замахала рукой.

— Не говори мне про это... Мне всегда дурно делается, лишь только я об этом вспомню...

— Запутанный, он искал средств погубить кабинет-министра в глазах вашего величества. Случай скоро представился — любовь к княжне Лелемико. «Государыня не надышит на нее — вот точные слова герцога моему дяде — государыня лелеет ее, как свое дитя, свое утешение, свою любимую игрушку. Надо воспользоваться этой страстью, помогать ей, скрыть от княжны, что Волынской женат, облегчить им переписку, а там, когда он погубит ее и будет пойман, довесть все до сведения государыни. Она разгневается... и тогда голова его в наших руках». Так и делал герцог, верный своему плану. Не он ли перехватывал письма к Волынскому жены его и письма любовников? Первые сжигал, другие доставлял по принадлежности. Не он ли ввел цыганку во дворец и к вашему величеству, как знаменитую гадальщицу, чтобы она могла удобнее передавать тайные послания? И если любовь княжны и кабинет-министра привела их на край пропасти, виноват один герцог.

С живым участием слушала государыня все, что говорил Эйхлер; она была тронута его убеждениями, но спросила, готов ли он подтвердить это именем бога.

— Да поразит меня всемогущий бог, если хоть одно слово неправды донес я вашему величеству!

Государыня погрузилась в глубокие размышления; потом, прервав их, сказала, будто говоря сама с собою, однако ж вслух:

— Я все эти планы расстрою!.. Я женю его на княжне... Почему ж не так?.. Он жены не любит, кажется, и она за ним не гонится... детей нет... греха не будет!..

Выговорив это, она опять задумалась; то судорожно брала перо в руки, то бросала его. Видно было, что в душе ее происходила сильная борьба и она не смела решиться на подвиг, для нее небывалый.

— Что ж могу я сделать,— присовокупила она, наконец,— когда все члены кабинета подписали?

— Согласиться с мнением кабинет-министра,— отвечал с твердостью Эйхлер,— и тем восстановить униженную истину. Одно самодержавное слово ваше, только одно слово, подпись вашей руки — и потомство прибавит золотую страницу в истории вашей. Как слава легка для царей!

Была решительная минута.

Красноречие сердца превозмогло. Дрожащею рукой взяла Анна Иоанновна перо и написала на кабинетской бумаге: «Быть по мнению кабинет-министра Волынского».

Эта подпись скрепила победу Волынского и опалу герцога.

Эйхлер бросился к ногам государыни и с восторгом поцеловал руку, ему протянутую. Но лишь только собрался он выйти из кабинета, обремененный своими трофеями, как вошел Бирон, по обыкновению, без доклада. Он будто с неба упал. Губы его помертвели; голова, руки, колена дрожали. Каково ж? он все слышал!.. Пораженные его внезапным явлением, государыня и кабинет-секретарь, казалось, окаменели, так было еще ужасно это лицо! Никогда и сам Бирон не бывал в таком страшном положении; он хотел говорить, и язык его не двигался. Наконец, Анна Иоанновна сказала дрожащим голосом:

— Что вам угодно?.. Я вас не звала... Чтоб ваша

нога... не была у меня!..— и, не дожидаясь ответа, вышла.

Бирон все еще стоял на одном месте. Опомнившись, Эйхлер схватил кабинетскую бумагу за подписью государыни и собирался идти, но был остановлен...

Он чувствовал, что по нем неверно шарила ледяная рука, что по всему его существу блуждали глаза демона, как будто допытывали, он ли это, Эйхлер, племянник Липмана! И ни слова — язык не говорил. Презрительно посмотрел на Бирона кабинет-секретарь и оставил его.

Вскоре потребовали Волынского во дворец. Тут имел он уж случай развернуть пред государыней со всем усердием верноподданного и горячностью истинного патриота картину ужасных зол, которыми Бирон отяготил Россию.

К вечеру весь город узнал об опале фаворита. Сотни экипажей разного калибра осадили подъезд к дому Волынского: никто, кроме его друзей, не был принят.

Глава VII

ЧЕРНАЯ КОШКА

> Душа твоя чиста, унынье чуждо ей;
> Светла, как ясный день, младенческая совесть:
> К чему тебе внимать безумства и страстей
> Незанимательную повесть?
>
> *Пушкин*

Медленно, заботливо сходила госпожа Волынская с дворцовой лестницы. Ступени двоились у ней в глазах, и она с усилием старалась поймать их своею ногою. Досада, сильнее Декартовых вихрей, кружила ей голову, разрывала сердце, наводила оттенки злости на это лицо, прежде столь добродушное и приятное. И как не досадовать, как не беситься ей! Она во второй раз приезжает во дворец, во второй раз ей отказывают. Какая причина такой неблагосклонности государыни?.. И тогда, когда мужу ее изъявляют особенные милости, когда он взял верх даже над фаворитом? Тысячи предположений, и между ними одно, темное, но самое верное, то, что на

унижении ее строят торжество ее соперницы. Боже! какое оскорбление!.. Чем она заслужила его?.. Любовью к мужу, исполнением своих обязанностей! Опутанная этими думами, она несколько раз оступалась: дворцовая лестница казалась ей мрачным, перегнившим сходом в могилу. Гады ползут, шипят, обступают ее, обвивают своими холодными кольцами, готовы ее задушить. Но одно воззвание к богу — и нечистое сонмище исчезает.

Внизу лестницы кто-то назвал ее по имени. Едва не вскрикнула она от испуга, увидав пред собою длинный-предлинный и неподвижный стан, как будто проглотивший аршин, на огромных фижмах, при собольей муфте, сборище румян, белил, морщин, мушек и цветов, под высокостепенной, напудренной прической, все это на высоких, красных каблуках.

— Вы не узнаете меня, матушка, Наталья Андреевна? — сказала эта размалеванная вывеска придворной дамы, важно приседая.

Вгляделась пристально госпожа Волынская: а! это бывшая ее барская барыня — черная кошка, которая должна была пробежать ей чрез дорогу.

— Не узнала-таки, не узнала, Акулина Саввишна! Как можешь? — спросила Волынская, обняв ее от доброты души, ей свойственной.

И госпожа Кульковская, супруга столбового дворянина, старшего пажа и старшего придворного шута, щепетильно дозволила себя поцеловать в щеку, охраняя сколько возможно девственность своих румян, мушек и фижм.

— Правду сказать, матушка, немного похворала после свадьбы... спазмы, удушье... немудрено! хлопоты во дворце... около сучки ее величества... да господин Карл Карлович, дай бог ему здоровья, помог. Ведь вы знаете Карла Карловича, придворного дохтура?

Произнося это, Кульковская натягивала изо всей мочи на тон знатной барыни.

— Как же, знаю! Не задерживаю ли я тебя?

— Помилуйте, Наталья Андревна, я помню вашу отеческую (она хотела сказать: аттенцию [1]) ко мне и готова для вас и сучку царскую оставить. Признаться вам со всею открытостью моей души, я поджидала вас-таки

---

[1] Внимание (от *фр.* attention).

нарочно (тут она вздохнула). Много, очень много было бы мне вам в потаенность шепнуть... не для прочего иного, как для пожелания вам добра... Примером будучи сказать, может статься, вы и огорчаетесь, что вас Анна Ивановна не приняла... Господи боже мой! да этакой кровной обиды не снести бы и мне... слечь бы-таки, слечь в постелю... А все это, матушка, не взыщите, ваш дражайший супруг напроказил... У нас во дворце чудеса про него рассказывают, слушать, так ушки вянут... и будто он разводится с вами... и будто... Да на сем месте нас могут подслушать; а коли угодно было бы вам, сударыня, по старой памяти удостоить меня своим посещением, так я порассказала бы вам все... Милости просим! я живу недалечко, здесь во дворце, рукой подать.

Черная кошка не только что пробежала через дорогу Волынской, она вцепилась в грудь ее, скребет ей сердце, душит ее. Как не идти ей за демоном-искусителем? Он манит ее плодом, который дороже для нее, чем первой женщине плод познания добра и зла: в нем заключается познание сердца ее мужа. И когда она вкусит от него, ее рай, так же как рай Евин, должен исчезнуть.

Она идет — следы ее горят. Слуге при ней велено дожидаться в санях.

Чрез лабиринт коридоров вошли они в чистую комнату со сводами. Постель, напыщенная и вздутая, как толстая купчиха, с двумя пирамидами подушек, китайский фарфор в шкапе за стеклом, картина великого мастера в золотой раме, украденные из дворца, и рядом с нею лубочные эстампы с изображением, как мыши кота погребают и русского ада, в котором жарят, пекут, вешают за язык, за ребро, за ногу, во всех возможных положениях,— вот что составляло главное украшение знаменитого жилища господ Кульковских. На лежанке дремал ее сынок. Мать разбудила его и, когда он совершил три ужасных зевоты, которыми, казалось, хотел проглотить пришедших, сказала ему с нежностью:

— Душенька, выдь куда-нибудь прогуляться или развеселиться; да не забудь своей официи...

— На веселье нужны деньги,— отвечал он сурово,— дай целковенький прогулять, так пойду, а не то, хоть тресни, не выйду.

— Нежного сынка удовлетворили, и он, опоясав-

шись мечом-кладенцом, приветствовал его глупо-умильной усмешкой.

— Такой ветреник, все шпагу забывает!.. Да скажи в австерии, чтобы не слишком шумели, а то как раз пришлю унять. Вот, матушка, Наталья Андревна,— продолжала Кульковская, когда наследничек ее высоких душевных достоинств вышел, не поклонясь,— нажила себе забот. Да здесь не покойнее ли вам будет? а то против двери...

— Хорошо, хорошо,— повторяла Волынская, истерзанная душевными муками.

Если б посадили ее в это время на уголья, на лед, если бы земля колебалась под нею и громы над ней гремели, она ничего б не слыхала, ничего не видала.

— Воля ваша, матушка, неловко... пересядьте сюда.

Ужасная женщина!.. каковы послуги перед тем, как собиралась убить? Так палач, готовясь снять голову с своей жертвы, заботился бы на эшафоте о том, чтоб оградить ее от луча солнечного или сквозного ветра.

— Ахти, бедная головушка,— сказала, наконец, Кульковская, приведя в движение топор своего языка,— до какого позору дожила ты!.. На гибель свою прокатилась в Москву. Сам лукавый шепнул тебе ехать в этот путь-дорожку. Кабы тебе, сизая голубушка, половину рассказать, что было здесь без тебя, так сердце бы замерло, ох, ох!.. (И Кульковская заплакала; потом, осушив свои слезы, продолжала.) Добро б волокитство на речах, а то пошли записочки — пересылались сначала через школьника Тредьяковского, потом носил их бездельник Николка, черномазый дьявол; напоследок... язык не двигается... застали вашего благоверного супруга в спальне молдаванки...

— Неправда, Саввишна, неправда! — сказала полумертвая Волынская,— видно, зло берет иных на Артемия Петровича, что выдумали такие сказки!..

— Сказки?.. хороши сказочки, только не на сон грядущий, а на упокой души!.. Не верите мне, матушка? так, пожалуй, выставлю свидетелей: старика Липмана, самого герцога, человек десяток пажей, дворцовых лакеев, горничную девку... Да коли распоясываться, язык и душка устанут. Видно, приходит конец мира! Господи, надолго ли станет твоего долготерпения?.. Неправда? А почто ж вас государыня Анна Ивановна не принимает? Спросили б давно нас, дворцовых!.. Потому что ваш

дражайший бросился вчера ей в ноги, плакал, бил себя в грудь и упросил ее величество дозволить ему развестись с вами и жениться на своей молдаванке... Что, матушка, вы не верите? Так вот поверьте этому свидетелю, поверьте своим оченькам... (Она отошла к лежанке и из шкатулки, на ней стоявшей, вынула сложенную бумажку.) Чай, вы рукописание своего муженька знаете?.. прочтите, полюбуйтесь, а после скажите, наврала ли я вам, глупая баба, нанесла ли на святого человека околесицу... Да этих записочек ходит довольно по всему дворцу... Коли охоты станет читать, наберу их вам десятка два, хоть в книжечку извольте переплесть...

Не дождалась Волынская, чтобы подали ей записку,— сама вырвала из рук.

Это послание было одно из тех, от которых неопытную девушку бросает в одно время и в пламя и в дрожь, от земли на небо, в атмосферу, напитанную амброю, розой и ядом, где сладко, будто под крылом ангела, и душно, как в объятиях демона, где пульс бьется удвоенною жизнью и сердце замирает восторгами, для которых нет языка.

Надо было видеть, что делалось с несчастною Волынскою. Давно ли он был так нежен, так страстен? давно ли призывал бога в свидетели его любви? Как она была счастлива!.. И что ж? в один миг исчезло очарование этого счастия: знойное дыхание сатаны испепелило все ее надежды, все радости в мире! Глаза ее помутились, будто у безумной; запекшиеся губы дрожали; из полурастворенного рта, казалось, го эв был вылететь крик смерти. Видно было, как младенец ее трепетал... Что ей до младенца?.. *Был* один — по нем и другого дорого ценила; нет *того* — и ей нипочем дитя ее.

Сама Кульковская испугалась ужасного состояния, в которое ее повергла. Зная силу ее веры, напомнила ей о боге, о страданиях Иисуса Христа, оставившего нам собою образец терпения, показала ей на икону скорбящей божьей матери... И Наталья Андреевна, придя в себя, судорожно зарыдала и распростерлась пред ликом небесной утешительницы. Долго лежала она на полу, молясь и прерывая свои молитвы рыданиями; наконец, встала, с горячею верою приложилась к образу... Божья мать с такою небесною улыбкою то смотрела на своего младенца, то, казалось ей, на нее, как бы показывая, что она должна жить для того, кто у ней лежит под сердцем,— этого существа невинного в преступлениях отца...

Она не всего лишилась: с нею ее бог и господь; ее не покидает и матерь божья; она сама мать. Для младенца своего останется она жить, клянется жить — ни одной еще клятвы в жизнь свою не нарушала,— и неземное утешение прокралось невидимым лучом в ее душу.

Но с какими глазами встретит она Артемия Петровича? Что будет она в доме, откуда ее скоро изгонят холодность мужа и воля государыни? Как станет она смотреть на оскверненное ложе, где заменит ее счастливая соперница? Неужели дождется, чтоб ее выгнали?.. Нет, она не дойдет до такого унижения; она предупредит его. Нога ее не будет уж на пороге мужнина дома. У нее есть брат — тот примет ее к себе. Пускай придут там оспаривать ее законные права! Сам бог сказал, что, когда он сочетает, человек не разлучит,— пускай придут поспорить с богом!..

Написано письмо к Артемию Петровичу: в нем объясняли, что, обманутая, осмеянная, не может она уж явиться к нему в дом. Отказ от дворца, верные слухи, что государыня желает их развода для того, чтобы женить его на своей любимице, собственное письмо его к княжне — чего более? каких еще свидетельств?

Письмо отослано тот же час.

В доме брата своего, Перокина, просила она убежища и защиты. Ни убеждения разного рода, ни обещания помирить их с мужем не имели никакого действия: несчастная осталась непреклонною.

Глава VIII

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Тебе сказать не должен боле:
Судьба твоих грядущих дней,
Мой сын, в твоей отныне воле.

Пушкин

Гнев Липмана дошел до бешенства, когда он узнал об измене своего племянника. Он проклинал неблагодарного, рвал на себе волосы, терзал себе грудь ногтями, изрыгал богохуления; но — прошел пароксизм бе-

шенства, и он опять мудрец на злое. Сделаны новые, хитрые расчеты. Волынской не примет его под крыло свое; он пропал, если пропадет Бирон: следственно, надобно остаться верным герцогу не для него, а для себя; надобно спасти герцога, чтоб спасти себя. Эту верность запечатлел он клятвою выпутать его из худых обстоятельств. Гнев государыни не был тверд, одна Мариорица могла помешать примирению и доставить новую пищу к немилостям... на этой оси вертелось колесо фортуны обоих соперников. Что ж? сокрушить ее!.. Такие ли помехи уничтожают злодеи? Между тем и герцог должен был действовать посредством Остермана и людей, преданных ему из собственных своих видов.

С другой стороны, Артемий Петрович принимал поздравления неохотно. Он доволен был, что сделал свое дело, но отчаивался распутать домашние обстоятельства. Поставленный между любовью Мариорицы и любовью жены, он должен был погубить одну из них. Что еще скажет он, когда узнает решение последней?

В глубоких раздумьях застал Зуда того, кого весь город почитал первым счастливцем и будущим виновником счастия народного. Зуда вошел не один. Лицо, бывшее с ним, поразило кабинет-министра своим появлением. Не видение ли?.. Эйхлер?.. Может ли статься!

— Что вам нужно у меня? — спросил его Волынской сурово.

— Иметь честь вам рекомендовать себя,— отвечал, улыбаясь, Эйхлер.

— Напрасный труд!.. я вас давно очень хорошо знаю...

— Теперь только,— подхватил Зуда,— извольте узнать его, как вашего тайного друга, как того человека, который был вам столько полезен своими безыменными посланиями, под маскою астролога, под личиною нищего, через конюхов; доставил вам подлинный донос Горденки, вползал невидимкою в карету герцогскую, добрался до кабинета государыни, заставлял говорить камни: одним словом, это самый тот, которому обязаны вы победой над герцогом и настоящим своим счастливым положением, если еще можно назвать его счастливым.

Несколько мгновений стоял Волынской, как бы обезумленный; наконец, бросился обнимать Эйхлера.

— Как это сделалось, боже мой! — говорил он.— Мог ли я подумать?.. Друг мой, благороднейший друг! зачем вы ранее не открылись мне? зачем вы так долго играли роль моего врага, и я не мог вас достойно оценить? Сколько унижений разного рода, сколько оскорблений от меня претерпели!

— Простите мне, если скажу, что характер ваш, возвышенный, но слишком пылкий, слишком безрасчетный, налагал на меня эту скрытность. Я боялся, чтобы вы, узнав своего тайного корреспондента и помощника, не изменили себе при случае и не потеряли во мне того, чем я хотел быть для вас до конца своего назначения. Могу теперь открыть, что Зуда, с которым я связан был узами дружбы еще на школьной скамейке, в одном из немецких университетов, был со мною в заговоре.

— Каков? Ай да приятель!.. Дай же, лицемер, и тебя прижать к моему сердцу. (Волынской крепко обнял и маленького секретаря. Слезы были у всех на глазах.) Подвиг ваш, друзья мои, могу чувствовать; но оценить его должна Россия. Да, народ русский будет нам некогда признателен. Стыжусь, а должен сказать, я недостоин таких товарищей, таких бескорыстных поборников правды и любви к отечеству. Чем заплатил я вам?.. Вместо того чтобы нести мои жертвы хоть рядом с вами, если я не мог вас обогнать, я сбивал вас с пути, я делал ваши жертвы бесполезными, сквернил их моею глупою страстью!.. Господи! если проступки мои, мое безумие должны получить из рук твоих достойное возмездие на этой земле, то да идет чаша зол по крайней мере мимо этих двух прекраснейших твоих созданий!

— Если и нам суждено погибнуть,— сказал Эйхлер,— утешимся, что пали за дело человечества. Умирая, ничем упрекнуть себя не можем; мы действовали не как возмутители народного спокойствия, не из корыстных видов, но как верные сыны отечества, преданные государыне и долгу нашему. Не нарушали мы закона, но шли против беззакония в лице временщика; все наши действия вели к престолу и несли ему в дань. Его дело принять ее или отвергнуть. Чист наш подвиг, и стыд будет тому, кто исказит его!.. Не унижаясь перед счастливым злодеянием жили; не унижаясь — умрем.

— Да, скажут наши правнуки, им было больно угнетение России, и они решались выкупить ее и честь

государыни ценою своей крови и жизни! Пускай тот, кто не желает счастия своему отечеству, выйдет из рядов потомства, чтобы объявить нам приговор. Нет, нет, этого не будет! С Бироном кончится пора скоморохов, шутов и подлых угодников, кончится унижение России, и благородный потомок наш, кто бы он ни был, придет некогда сказать свое спасибо на могиле нашей. Помянув честно борцов и мучеников временщика, он сам возвысится духом.

Так в день своей победы и торжества говорили кабинет-министр и его советники, будто готовились на казнь... Заметно было, что Эйхлер имел нечто тяжелое передать Волынскому и что Волынской, по какому-то предчувствию, постигал его тайну. Так в знойный день, хотя еще нет ни одного облачка на небе, уже душно перед бурею. Долго собирался кабинет-секретарь открыться, наконец сказал:

— Горестно мне присовокупить теперь, что подвиг наш еще не кончен, что над головою вашей собирается грозная туча. Настоящее посещение мое, кроме желания скинуть пред вами гнусную личину и открыть себя, каков я есть, имеет еще целию исполнение трудной миссии... О, чего б не дал я, чтобы жребий этого поручения пал не на меня! Оно выше сил моих.

— Говорите,— отвечал с твердостью Волынской,— по словам моим вы видите, что я ко всему приготовился.

— Я несу вам предложение от самой государыни. Должен предупредить, что ваше согласие утвердит вас в милостях ее величества и послужит еще более к уничтожению вашего врага и, следственно, к благополучию России. Не могу также скрыть, что отказ ваш поведет вас к неприятным следствиям и что вы можете через него потерять едва ли не все свои приобретения. Итак, счастие ваше и благоденствие России в ваших руках.

— О! по этому вступлению вижу, что не могу исполнить желание государыни. Но я не боюсь его услышать и сделать отказ: душа моя испытана; тяжкий молот судьбы бил ее со всех сторон... не виню никого в своих несчастиях, кроме себя самого... Один лишний, решительный удар не много сделает над этой душой. Жду вашего объяснения.

— Не знаю, откуда ветер подул, но дело государственное взяло курс семейный, домашний. Ее величеству угодно было, совсем для меня неожиданно, по-

звать меня сейчас к себе. Воля ее передать вам, что она, желая согласить честь своей любимицы, княжны Лелемико с ее благополучием и зная, что вы... Извините... враги вас оклеветали... свидетельства слишком явные...

— Говорите, говорите прямей! Боюсь вашего суда, а не осуждения злодеев и низких людей.

— Итак, государыня, зная, что вы будто вовлекли княжну в порочную связь, что вы любите ее неограниченно (доказывают это письма ваши в руках у государыни); получив также верные свидетельства, что вы не любите супруги вашей, от которой не имеете и детей, и что вы хлопотали уже о разводе, предлагает вам свое покровительство в этом деле. Преступная любовь ваша и любовь сироты, столь драгоценной сердцу ее величества, должна освятиться у алтаря.

Встал дыбом волос на голове Артемия Петровича; он весь дрожал.

— А жену мою?..— спросил он задыхающимся голосом.

— Убедят идти в монастырь.

— В монастырь?.. Волынскую?.. жену мою с моим ребенком!.. Нет, этому не бывать!

Вне себя Волынской ходил скорыми шагами по комнате, как безумный ударял себя в лоб, ужасно вскрикивал по временам.

— Вот до чего довел я их и себя!.. Мне это смели предложить?.. И я?..

Крик этот сопровождался судорожным хохотом, судорожным плачем, наконец подошел он к Зуде и спросил его:

— Ты что сделал бы на моем месте?

— Вспомните, что говорил я вам, когда вы только затевали борьбу с герцогом,— отвечал хладнокровно Зуда.— Надо было остановиться вначале... но теперь, зашедши так далеко... чем нельзя пожертвовать для блага отечества! Я согласился бы на предложение ее величества.

— О! зачем было добиваться чувства у этого сердца, иссохшего на Махиавеле!.. Он тогда не человек, когда дело идет о цели политической; у него нет сердца — у него только ум. Но вы, господин Эйхлер? — И, как будто испугавшись, что Эйхлер скажет одно с Зудою, продолжал, не дав ему отвечать: — Нет, нет, прежде чем вы дадите ответ, я расскажу вам, в каком состоянии теперь

нахожусь, в каких отношениях я к двум особам, которых судьбу связал неразрывно с своею. Этот железный человек знает все (он указал на Зуду)... видно, ему нужно растравить мои раны... Но вам должен я открыть эти отношения. Видите, сударь, жена моя беременна; она любит меня горячо, выше всего в мире, кроме своего бога, и счастлива уверенностию, что я ее также люблю. Если б я оставил ее, недолго бы пережила она мой гнусный поступок. Убийца жены, убийца своего младенца, какую жизнь влачил бы я, двоеженец, на этой бедной земле?.. За что погубил бы я это создание, чистое, как ангелы?.. Безумие страсти уж исчезло вместе с очарованием ее... Положим, что Наталья Андреевна перенесла бы свое несчастие и осталась жить: чувствуете ли позор, который падал бы на меня?.. Жена Волынского, монахиня, родила бы в келье!.. Что за адская смесь! А потом? где б ни появилась она, везде указывали бы на нее пальцами; каждый прохожий, лохмотник, враги мои смели бы говорить: вот бывшая жена кабинет-министра Волынского! Он в чести, в холе у государыни, а она, глядите... в каком черном теле!.. А этот мальчик или девочка, это дитя, которое за нею таскается, это его отродье: ему нет имени!.. Каждый нищий счастливее его: он может указать на своего отца, а этот не смеет назвать своего — все равно что сын греха, сын блуда! Волынской продал жену свою, свое дитя, счастие и свободу их, закон, совесть, продал здешнюю и будущую жизнь — за что ж? За место любимца!.. Своекорыстным видам!.. Кто скажет — благу отечества?.. Нет, нет, этого не будет! Пускай отдам богу ответ на страшном суде за любовь мою к Мариорице — назовите ее слабостью, заблуждением, безрассудством, безумием, чем хотите,— пусть за нее карает меня правосудная десница господа! Но когда умолкнула страсть и говорит рассудок, когда дело идет о расчетах личных — каким бы покровом вы их ни одевали, выгодами ли общими, пользою отечества,— никогда не посягну на это святотатство. Я до того еще не унизился. Знаю, что отказом моим оскорбляю государыню, уверенную в успехе своего предложения; знаю, что лишаю себя, друзей и дело правое необходимой его опоры, что по-прежнему ввожу Бирона в милости ее величества и должен ожидать ужасной грозы; но... так низко и ни за что не продам души своей! Решение мое неизменно — донесите это государыне.

— Если б вы дали другой ответ,— сказал Эйхлер с

восторгом,— я каялся бы, что служил вам. Благодарю бога, что в вас не ошибся.

— Виноват,— подхватил Зуда, несколько смущенный,— может быть, я так создан... переменить себя не могу... но скажу опять, что не понимаю, к чему все это ведет. Когда вы готовились на подвиг освобождения отечества, не решались ли пожертвовать собою исполнению этого подвига? А теперь...

— Собою одним, да! А теперь, по-твоему, я спасал бы себя и жертвовал бы другими.

— Разве отказом государыне, как вы сами говорите, не вовлекаете в собственную гибель и ваших друзей и вашей супруги?

— Хотя бы и так, не сделаю подлого дела! И кто и чем поручится мне, что я, обрадовавшись без души предложению государыни и согласившись на него, не получу скоро достойной награды за своекорыстное угождение? Кто поручится, что Бирон через месяц, через несколько дней не овладеет снова милостями государыни и не насмеется достойным образом над подлым двоеженцем? Мудрено ль? (Видишь, какой оборот взяло дело: я нужен не для государства, а к случаю!..) Что скажешь тогда? Какими глазами прикажешь мне смотреть на людей, на божий свет? Как умирать мне будет?.. Теперь по крайней мере буду и тем доволен, что поколебал силу временщика и облегчил другим средства совсем его свергнуть. Отечество и за то останется мне признательным. Сколько дозволяло мне мое слабое человечество, я исполнил долг свой и не запятнал его гнусным поступком, который не может извиниться никакою целью. Если я и совратился с должного пути, то да судит меня бог! Требую, чтобы об этом мне более не говорили. Решение мое свято. Только прошу вас, господин Эйхлер, не объявлять моего ответа государыне до завтрашнего дня. Я приготовил бы ко всему друзей своих. Может быть, найдем еще способы с честью охранить наше дело от новых ударов судьбы.

Этим кончилась беседа. Зуда решился прибегнуть еще к одному средству: письмом объяснить княжне Лелемико затруднительное положение, в каком находился человек, ей столько драгоценный. Любовь изобретательна: не придумает ли чего к спасению его?

Несколько времени спустя принесли Волынскому письмо.

— От кого? — спросил он слугу.

— От барыни,— отвечал этот.

— Где ж она?

— У его превосходительства, братца своего.

— Письмо из дому брата? должно быть, чрезвычайное! — сказал встревоженный Волынской, распечатав письмо нетвердою рукой.

Первое, что бросилось ему в глаза, было собственное его послание к Мариорице. Будто ножом полоснуло его по сердцу. Он догадывался об истине, и одна догадка приводила его в ужас. Немалого подвига стоило ему прочесть письмо жены.

— По делам вору мука! — воскликнул он, изорвав то и другое в клочки...— Но... баба шалит!.. Есть мера всему!.. Не ожидает ли, что притащусь к ней умаливать о милости?.. Этого слишком много! Этого не будет!.. После уверений моих, после доказательств страстной любви и клятвы она должна была не раскрывать прошлого, не дотрогиваться до этой опасной струны. Что ж она делает? Выкапывает в навозной куче старые грехи мои, везде чутьем отыскивает их следы. И где ж наводит справку о поведении мужа?.. У бывшей своей барской барыни, у скверпавки, которая продавала меня злейшему врагу моему, на которую и плевать гадко!.. Дойти до такого унижения, боже мой! Отныне я сам не хочу ее знать... Что за жена!.. Пускай себе живет на здоровье у своего братца, да распускает басни о муже, да себе и людям на потеху малюет его сажей с ног до головы!.. Нет, Мариорица на ее месте не то бы сделала... О! это душа возвышенная, не рядовая! Да много ли Мариориц на свете? И я пожертвовал ею!.. Неблагодарный!.. Но,— прибавил он, успокоившись несколько от сильного душевного волнения, в которое бросила его ужасная посылка,— я исполнил долг свой. Не пойду назад. Пускай вина будет не на моей стороне!..

В этот же день Зуда доставил ему другого рода послание. Оно было от княжны Лелемико.

«Мне все известно,— писала она,— все: и предложение государыни, и любовь к тебе жены, и отношения твои к ней. Не хочу быть причиною твоего несчастия. В сердце моем отыскала я средства помочь всему... Но я сама должна с тобою переговорить... тайну мою не доверяю ни бумаге, ни людям. Будь у ледяного дома к стороне набережной, в 12 часов ночи. Теперь никто... не помешает...»

Да! никто не помешает: ее ангела-хранителя уж нет; сумасшедшая мать сидит в яме.

Что ей мать? У ней в мире никого нет, кроме *него; он* один для нее все — закон, родство, природа, начало и конец, альфа и омега ее бытия, все, все.

— О! эта пишет иначе,— сказал Волынской,— буду, непременно буду, хоть назло *той*...

Глава IX

НОЧНОЕ СВИДАНИЕ

О милый! Пусть растает вновь
Моя душа в твоем лобзанье:
Приди, допей мою любовь,
Допей ее в моем дыханье.
Прилиппу я к твоим устам,
И все тебе земное счастье,
И всей природы сладострастье
В последнем вздохе передам.

В. Тепляков

Не шути с огнем, обожжешься.

Пословица

«Зачем долее жить? — думала Мариорица, прочитав письмо от Зуды,— я любила, узнала все, что в любви и в жизни есть прекрасного... чего мне ждать еще? Разрушения моего и конца этой любви, не во мне, нет — моя любовь должна перейти со мною и в другой мир,— но в его сердце. Я только помеха *его* счастию. Если я буду за ним, что принесу ему? Минутные восторги и, может статься, раскаяние, чувство несчастия его жены и младенца — о! это дитя мне так же дорого, как бы оно было мое; оно мне не чужое, дитя моего Артемия! Лучше умереть, и умереть любимою, гордою, счастливою его любовью, с именем невесты, любовницы, друга, унеся с собою память сердца милого человека. Я прикую ее к своей могиле восторгами, признательностию, жертвами. Не завиднее ли это, чем жить для того, чтобы вечно тревожить его спокойствие и ждать охлаждения, видеть его неверность, может статься и презрение? Лучше всего умереть теперь, когда все зовут меня прекрасною. Хочу

и в гробу лежать достойною его любви, а не сухим, желтым остовом, от которого он будет отворачиваться, который поцелует с отвращением».

Так думала Мариорица, решаясь пожертвовать собою для блага Волынского. Находили минуты, в которые ей становилось грустно, холодно от мысли умереть такой молодою, когда существо ее только что раскинулось было пышным цветом, когда на устах и груди ее млели поцелуи любви, когда сердце нежило так много темных и вместе сладких желаний. Но мысль, что ей обязан *он* будет своим спокойствием, счастием, славою, торжествовала надо всем, уносила ее в небо, откуда она смотрела глазами любви неземной на свой земной подвиг. Ей становилось тогда легко, радостно; какой-то дивный восторг согревал ее; казалось ей, душа ее расправляла огненные крылья, чтобы скорее понестись в это небо и утонуть в нем...

Вот какие способы изберет она, чтобы исполнить свои замыслы.

Мариорица оставит письмо к государыне, в котором откроет, что она дочь цыганки. Уж и этот подвиг не безделица! Знаю, чего стоит иным просить грамоты на дворянство, то есть объявить, что был некогда не дворянином... Каково ж княжне, царской любимице, которую носили на руках, которой улыбка ценилась вместо милости, ей признаться этим самым людям, что она дочь... бродяги! Она, однако ж, сделает это. Для чего ж? Для того, что Волынскому нельзя будет жениться на дочери цыганки, и это самое послужит Волынскому оправданием. Потом Мариорица будет лгать в письме своем... в первый раз в жизни солжет — будет клеветать на Бирона... Чего не сделает для милого Артемия?.. О! в какие злодеяния не пустилась бы она, если б он был злодей!.. Она скажет в письме к государыне, что герцог знал ее низкое происхождение, но сам уговорил Мариулу не открывать этого никому, а помогать всячески связи дочери с кабинет-министром. Она будет клеветать и на себя: скажет, что еще до приезда в Петербург была порочна... что она неблагодарная, негодяйка, презренное орудие Бирона, избранное им для погибели его врага; что, взявшись погубить Волынского, невольно полюбила его и потом из любви решилась его спасти, доставив государыне бумагу с доносом на герцога. Мариорица прибавит, что раскаяние, нестерпимые угрызения совести заставили ее, наконец, открыть все пред тем, как она реши-

лась прекратить недостойную жизнь... Прекрасно! Бирон после этого письма падет решительно... а Артемий, ее милый Артемий, будет в милости, в чести, в славе, дитя его не умрет, жена не посмеет его упрекнуть ни в чем... Но милый бесценный Артемий ее также должен будет знать, что она все это налгала, наклеветала на себя, что все это жертва, ему принесенная... Она хочет видеть его в последний раз и доказать, что его одного любила и вечно будет любить. А там... пук его волос у сердца, мысль о нем и снежный саван — какой лучше смерти желать?.. Но,— прибавила она,— нынешний день *мой;* он должен мне его подарить!

В таком упоении сердечных замыслов послала она к Артемию Петровичу записку, которую мы уж видели; потом приготовила письмо к государыне и, запечатав, положила у себя за зеркалом.

Но каким образом Мариорица выполнит свое обещание прийти в назначенный час к ледяному дому? Поверенная ее тайн, Груня, больна (ей велено сказаться больной, потому что она неспособна к злодеяниям: видно, что власть Бирона имеет еще во дворце скрытых, но ревностных исполнителей). Груня заменена какою-то дуегной [1], которой наружность не предвещает ничего доброго. Свободный выход Мариорице из дворца уладит арабка, приятельница Николая; но можно ли утаить свое ночное путешествие от горничной, спящей за перегородкой ее спальни? Чего б ни стоило, надо купить молчание ее. Любовь Мариорицы готова и на это унижение: ведь эта жертва последняя! После смерти ее пускай говорят что хотят, лишь бы милый Артемий знал ее тем, чем она есть! Неосторожная!.. Время быть осторожной!.. Открывается... С радостью, которой изученное притворство непонятно для неопытной девушки, отвечают, что готовы помогать во всем такой милой доброй барышне, предлагают услуги бойкие, ловкие, сулящие успех верный. Ничего не требуют, кроме молчания. Тайна запечатлена ужасною клятвою. Все улажено.

Ожидания двенадцатого часа исполнены душевной тревоги. В этот час все уляжется во дворце и месяц уйдет за снежную окрайницу земли. А теперь как все везде суетится! назло ей каким ярким светом налился

---

[1] Дуегной — дуэньей, пожилой женщиной, наблюдающей за поведением девушки *(исп.)*.

месяц! как ослепительно вырезывается он на голубом небе! Только по временам струи облачков наводят на него легкую ржавчину или рисуются по нем волнистым перламутром. Как пышет свет этого месяца на серебряный мат снегов и преследует по нем малейшие предметы! Где укрыться от этого лазутчика?

«Может быть,— говорит сама с собою Мариорица, сокращая разлуку думами о *нем,*— может быть, и он смотрит теперь этому безжалостному месяцу в глаза и упрашивает его о том же, о чем я умоляю его. Луч этот, который падает на меня и гнетет так мое сердце, может статься, проник и в его грудь. Чувствует ли он, что я зову его проститься со мною навсегда — навеки. Боже! как ужасно это слово!.. Не жалко бы мне покинуть твой мир, где бы его не было, твое прекрасное солнышко, которое не освещало бы его вместе со мною, блеск двора, алмазы, зависть подруг, почести, которых он не разделял бы со мной,— это все, чем ты, мой боже! так щедро наделил меня (она посмотрела в зеркало, отражавшее всю роскошь ее прелестей)... это все, если б оно не было ему назначено; не жалко бы мне тогда покинуть твой мир; но теперь... когда он в этом мире, расстаться со всем этим... больно, грустно!»

И Мариорица плакала.

«На то была твоя всемогущая воля,— прибавила она, упав на колена и молясь,— я призвана была на землю спасти его своею любовью от бед, уберечь для славы его и счастия других... Да будет твоя воля! жертва готова».

Потом она вспомнила мать... Ей известно было, что государыня посылала наведаться о цыганке Мариуле: говорили, что бедной лучше, что она уж не кусается... Сердце Мариорицы облилось кровью при этой мысли. Чем же помочь?.. Фатализм увлек и мать в бездну, где суждено было пасть дочери. Никто уж не поможет, кроме бога. Его и молит со слезами Мариорица облегчить участь несчастной, столько ее любившей. Запиской, которую оставляет при письме к государыне, завещает Мариуле все свое добро.

Но месяц скрылся за снежный обзор; во дворце все расходится на покой по отделениям; в коридоре слышна неучтивая зевота гоф-лакея; скоро двенадцать часов... и с мыслью об этом часе Волынской, один Волынской становится на страже у сердца Мариорицы. Мечты ее

обняли его и не хотят более покинуть: ей уж так мало осталось времени любить его и думать о нем на земле!.. Она горит вся в ожиданиях роковых минут свидания; щеки ее пылают, грудь пожирает ужасное пламя, в устах пересохло... жажда томит ее... Она просит пить. Приносят воды... довольно мутной... Поднос в руках служанки дрожит так, что питье плещет чрез край стакана; помертвелое лицо ее что-то страшно подергивает. Мариорица ничего не замечает; вода выпита разом. Когда ей замечать! на адмиралтействе ударяет двенадцать часов, и все существо ее судорожно потряслось...

Наброшена кое-как на плеча шуба, накинута шапочка набекрень... кто-то стукнул в дверь: это арабка. Идут... по коридорам, худо освещенным или вовсе темным; спускаются по узким, истертым, душным лесенкам, кое-где ощупью, кое-где падают... Скоро ли? Вот сейчас!

И вот она у какой-то двери: ключ щелкнул, дверь вздохнула... Мариорица дышит свежим, холодным воздухом; она на дворцовой набережной. Неподалеку, в темноте, слабо рисуется высокая фигура... Ближе к ней. Обменялись вопросами и ответами: «Ты?» — «Я!» — и Мариорица пала на грудь Артемия Петровича. Долго были они безмолвны; он целовал ее, но это были не прежние поцелуи, в которых горела безумная любовь,— с ними лились теперь на лицо ее горячие слезы раскаяния.

— До чего довел я тебя, несчастную! — сказал он, наконец.

— О! не говори мне про несчастия,— возразила она, увлекая его далее.— Чего недостает мне теперь? я с тобою... Вот видишь, как я обезумела от своего счастия... мне столько было тебе сказать, и я все забыла. Постой немного... дай мне насмотреться на тебя, пока глаза могут еще различать твои черты; дай мне налюбоваться тобою, может быть в последний раз...

Они остановились. Мариорица схватила его руку, жала ее в своих руках, у своего сердца, силилась пламенными взорами прорезать темноту, чтобы вглядеться в Артемия Петровича и удержать милые ей черты.

— В последний раз? — спросил он с горестным участием,— отчего так?

— Нам должно расстаться! — отвечала она.

Он не возражал, но с нежностью поцеловал ее руку. Молчание его говорило: нам должно расстаться!

— Ну, если б я умерла, поплакал ли бы ты обо мне?

— Что это значит?.. объяснись...

— Надо ж когда-нибудь умереть... не ныне, завтра... когда-нибудь.

— Милая! не мучь меня, ради бога... Что за ужасные мысли, что за намерения? скажи мне.

Догадываясь по трепету его рук, по сильному биению сердца, ударявшего в ее грудь, что мысль об ее смерти встревожила Артемия Петровича, довольная этими знаками любви, она старалась успокоить его.

— Нет, милый, нет, я пошутила... я буду жить, но такая жизнь все равно, что смерть... нам надо расстаться для твоего счастия, для твоего спокойствия... Однако ж пойдем далее; здесь могут нас заметить... Видишь, как я стала осторожна!

Они пошли далее.

На этот раз Волынской дал было обет сохранить себя от всех искушений; но ласки Мариорицы были так нежны, так жарки, что обеты его понемногу распадались...

Надо было иметь силу остановиться на первом шагу, объяснить свои намерения, как друзья проститься, но... они пошли далее.

Каким исступленным восторгом пылала она, жрица любви возвышенной и вместе жертва самоотвержения!.. Не земным наслаждениям продавала она себя, Мариорица сожигала себя на священном костре...

Любовники остановились у дверей ледяного дома. Чудное это здание, уж заброшенное, кое-где распадалось; стража не охраняла его; двери сломанные лежали грудою. Ветер, проникая в разбитые окна, нашептывал какую-то волшебную таинственность. Будто духи овладели этим ледяным дворцом. Два ряда елей с ветвями, густо опушенными инеем, казались рыцарями в панцирях матового серебра, с пышным страусовым панашом на головах.

Волынской стал у порога и не шел далее. Святое чувство заглянуло еще раз в его душу.

— Что ж?..— сказала она, увлекая его, как исступленная вакханка.

— Если переступим порог, мы погибли,— отвечал он.

— Дитя!.. Ты боишься любви моей?.. Не погубить,

спасти тебя хочу; но вместе хочу, чтобы ты меня знал...

Этим упреком все святое опрокинулось в душе его. Пристыженный, он схватил ее в свои объятия и понес сладкое бремя...

— О милый! — сказала она, крепко обвив его своими руками,— наконец, ты *мой,* на этот час ты *мой:* не отдам тебя никому, приди хоть сам бог!.. Для этого часа я послана провидением на землю, для него я жила... в нем мое прошедшее и будущее.

Дворец в своей черной мантии уже приподнимался пред ними. Они прощались, долго прощались... Лицо Волынского было мокро от слез Мариорицы; сердце его разрывалось.

Они расстались было, но опять воротились друг к другу. Еще один длинный, томительный поцелуй... он проводил ее до дворца. Еще один... губы ее были холодны, как лед; она шаталась... Дверь отворилась, дверь вечности... Мариорица едва имела силы махнуть ему рукой... и исчезла.

Он еще долго стоял на одном месте, погруженный в ужасное предчувствие.

Несчастный! ты увидишь ее — разве там, где мертвые встают!..

— Не покидай меня,— сказала Мариорица, стиснув руку арабке, отворившей ей потаенную дверь,— у меня ножи в груди... режут ее... Но счастие мое было так велико!.. Я все преодолела... победа за мной!.. Теперь нет сил терпеть... Понимаю... яд... Как я им благодарна!.. Они... за меня сами все исполнили... избавили меня от самоубийства... Господи! как ты милостив!

Испуганная арабка с трудом дотащила ее до ее комнаты. Было в ней темно. Служанка спала или притворялась спящею. Мариорица не велела будить ее, не велела зажигать свечу. Сильные конвульсии перебирали ее; по временам слышен был скрежет зубов, но она старалась, сколько могла, поглотить в себе ужасные муки...

— Какие страдания! — говорила она, не пуская от себя арабку,— но все это пройдет сейчас!.. Вот уж и прошло!.. Как хорошо!.. Ах! милая, кабы ты знала, какая прекрасная ночь!.. На мне горят еще его поцелуи... Ка-

кое блаженство умереть так!.. Завтра ты скажешь ему, что я умерла счастлива, как нельзя счастливее, как нельзя лучше; прибавь, что никто не будет любить его, как я... О! он меня не забудет... он оценит, что я для него сделала... Сыщи за зеркалом письмо, отдай государыне, но только тогда, когда меня не станет... поклянись, что отдашь... В этом письме его счастие...

И арабка, не зная, что делает, клялась, обливаясь слезами.

— Ох! Боже, боже мой!.. что-то у меня в груди... Ничего, ничего,— произнесла она тише, уцепясь за рукав арабки,— это пройдет скоро... Слышишь ли? скажи ему, что посреди самых жестоких мук... милый образ его был передо мною... пойдет со мной... что имя его... на губах... в сердце... ох! милый... Артемий... прости... Арт...

Конец этого слова договорила она в вечности.

Бренная храмина опустела; дух, оглашавший ее гимнами любви и пропевший последний высокий стих этой любви, отлетел... Арабка держала уж холодный труп на руках своих. Она вскрикнула, ужасно вскрикнула, так что стены задребезжали.

— Что такое? что такое? — спросила вскочившая с постели служанка.

— Княжна... умерла! — могла только сказать арабка.

— Княжна умирает,— повторила служанка, выскочив в коридор, и этот возглас раздался по дворцу и дошел осторожно, шепотом, до изголовья государыни.

Призваны были искуснейшие лекари, употребляли все, чтобы... Но мертвые не воскресают. С трудом оттащили Анну Иоанновну от трупа любимицы ее.

Когда этот труп клали в гроб, на груди ее, у сердца, лежал венком черный локон... Ни одна злодейская рука не посягнула на него; он пошел с нею в гроб.

Небо услышало твои молитвы, прекрасное, высокое создание! ты умерла в лучшие минуты своей жизни; ты отлетела на небо с венком любви, еще не измятым, еще вполне сохранившим свое благоухание!..

Глава X

ПОХОРОНЫ

Не узнавай, куда я путь склонила,
В какой предел из мира перешла...
О друг! я все земное совершила,
Я на земле любила и жила!

Жуковский

Поутру, чтобы не тревожить государыни близостью мертвеца, вынесли княжну Лелемико в церковь Исакия Далматского.

Выносы были великолепные.

Во дворце решили, что она умерла от удара. Сама Анна Иоанновна видела раз, как она кашляла с кровью; по разным признакам надо было ожидать такой смерти, говорили доктора. Вспомнили теперь, будто профессор физики и вместе придворный астролог (Крафт) за несколько дней предсказывал ее кончину. Утешались тем, что суженого не избегнешь.

Письма́ Мариорицы к государыне не нашлось за зеркалом...

Все в городе знали о смерти княжны; но тому, кто был первою виною ее, не смели о ней сказать. Наконец... и *он* узнал.

Отказываюсь от муки описывать ужасное его состояние. Скажу только, что у него, как у несчастной королевы Марии-Антуанетты, в один день побелели волосы.

Было много посетителей у гроба княжны Лелемико.

Как хорошо лежала она в нем, будто живая! Как шли к ней на ее черных волосах этот венок из цветов и эта золотая диадема, которою венчают на смертном одре и последнего из людей!..

Видели у этого гроба рыдающую женщину; видели, как она молилась с горячею верою за упокой души усопшей, как она поцеловала и перекрестила ее.

Молившаяся за Мариорицу, благословлявшая ее, была жена Волынского.

Видели потом у гроба мужчину... Лицо мертвеца, искаженное страданиями, всклоченные волосы... в мутных, страшных очах ни слезинки! Вид его раздирал душу. Это был сам Волынской. Забыв стыд, мнения лю-

дей, все, он притащился к трупу той, которой лобзания еще не остыли на нем... Долго лежал он полумертвый на холодном помосте храма. Встав, он застонал... от стона его потряслись стены храма, у зрителей встали волосы дыбом... Служитель алтаря оскорбился этими стенаниями... несколько десятков рук вытащили несчастного... Ему не дали проститься с ней... Может быть, он и не посмел бы!

Целый день женщины, дети, старики, множество народа толпились около гроба княжны. Всякий толковал по-своему о смерти ее; иной хвалил приличие ее наряда, другой — узоры парчи, богатство гроба, все превозносили красоту ее, которую и смерть не посмела еще разрушить.

В этот самый день Мариула жалобно просилась из ямы; в ее просьбе было что-то неизъяснимо убедительное. На другой день опять те же просьбы. Она была так смирна, так благоразумна, с таким жаром целовала руки у своего сторожа, что ей нельзя было отказать. Доложили начальству, и ее выпустили. Товарищ ее, Василий, не отходил от нее. Лишь только почуяла она свежий воздух и свободу,— прямо на дворцовую площадь. Пришла, осмотрелась... глаза ее остановились на дворце и радостно запрыгали.

— Ведь это дворец? — спросила она.

— Ты видишь,— отвечал печально цыган, знавший уже о смерти княжны Лелемико.

— Да, да, помню!.. Тут живет она, мое дитя, моя Мариорица... Давно не видала ее, очень давно! Божье благословение над тобой, мое дитя! Порадуй меня, взгляни хоть в окошко, моя душечка, мой розанчик, мой херувимчик! Видишь... видишь, у одного окна кто-то двигается... Знать, она, душа моя, смотрит... Она, она! Сердце ее почуяло свою мать... Васенька! ведь она смотрит на меня, говори же...

— Смотрит,— сказал старик, и сердце его поворотилось в груди. Он отвернулся, чтобы утереть слезы.

— Каково ж, Васенька? Княжна!.. в милости, в любви у государыни!.. Невеста Волынского... скоро свадьба!.. Каково? Ведь это все я для тебя, милочка, устроила. Ты грозишь мне, чтобы я не проговорилась... Небось не скажу, что мать твоя цыганка... Да не проговорилась ли я когда, Васенька?..

Она терла себе лоб, как будто припоминала себе что-то.

— Нет, никогда.

— То-то и есть!.. Не пережить бы мне этой беды!.. Проговориться?.. да разве я с ума сошла!.. Не бойся, душечка моя, не потревожу твоего счастия... Бог это будет знать да я.

Мариула была счастлива; это счастие горело в черных диких глазах ее.

Вдруг от Исакия Далматского ветер донес до слуха ее заунывное похоронное пенье.

— Что это? — сказала она, откинув фату свою, чтобы лучше слышать.

Пенье приближалось.

— Кого-то хоронят... Слава богу, что не с той стороны... не из дворца несут!..

— Да, не из дворца,— подхватил испуганный цыган.— Мне сказывали, что княжна Лелемико будет ныне в Гостином дворе. Пойдем лучше туда, дожидаться ее.

— Пойдем,— отвечала Мариула, крепко схватив его за руку,— может статься, мы там увидим ее.

Они отошли к *большой прешпективе*.

В это время вдали поравнялся с ними розовый гроб, предшествуемый многочисленным синклитом. Мариула остановилась... Вытянув шею, она жадно прислушивалась к пенью; сердце ее шибко билось, синие губы дрожали... Гроб на повороте улицы исчез.

— Слава богу, что не из дворца! — повторила она; кивнула еще раза два дворцу ласково, с любовью, как бы говоря: «Божье благословение над этим домом!» — и побежала с товарищем к Гостиному двору искать, смотреть княжну Лелемико...

Глава XI

АРЕСТ

> Делайте с ним, что хотите... с той поры как земля взяла ее к себе, он перестал быть вельможею, подданным, гражданином, мужем... все связи его с миром прерваны.

Прошло несколько дней. Волынской, убитый своею судьбой, не выходил из дому. До слуха Анны Иоанновны успели уж довесть ночное путешествие... Дела го-

сударственные стали. Она грустила, скучала, досадовала. В таком душевном состоянии призвала к себе Остермана, Миниха и некоторых других вельмож (все, кроме Миниха, были явные противники Волынского) и требовала советов, как ей поступить в этих затруднительных обстоятельствах. Остерман и за ним другие объяснили, что спасти государство от неминуемого расстройства может только герцог курляндский. Миних молчал.

Этот ответ льстил сердцу государыни; она спешила им воспользоваться. Бирон был позван.

Собираясь во дворец, герцог велел позвать к себе Липмана. Среди ликования семейного он обнял его и поздравил с победой.

— Я вам ручался за нее головой моей,— отвечал Липман.

Глаза обоих блистали адским огнем. Герцог хотел показать свое великодушие.

— Желаешь ли,— сказал он,— чтоб я облегчил участь твоего племянника и ограничился одним изгнанием?

— Требую его казни,— подхватил клеврет с жестокою твердостью, поразившею самое семейство его патрона. За эту твердость, достойную Брута (как говорил Бирон), он удостоился нового прижатия к груди его светлости.

Пасмурный, угрюмый явился Бирон во дворец. Не уступая, он хотел возвратить прежнее свое влияние на душу государыни. Это ему и удалось. Лишь только показался он у нее, она протянула ему дрожащую руку и сказала голосом, проникнутым особенным благоволением:

— Забудем старое; мир навсегда!

Припав на колено, Бирон спешил поцеловать эту руку; потом, встав, произнес с твердостью:

— Благоволением вашего величества вознагражден я за несправедливости. В них вовлекли вас враги мои; но забыть прошедшее могу и должен только с условием. Не хочу говорить о кровных оскорблениях слуги, преданного вам до последнего издыхания, посвятившего вам себя безусловно, неограниченно, готового для вас выдержать все пытки: за эти обиды предоставляю суд вам самим. Но оскорбление моей императрицы мятежными подданными, унизительное приноровление вас к какой-то Иоанне, нарушение вашего спокойствия даже

среди невинных забав ваших, позорная связь в самом дворце, которой причину нагло старались мне приписать, бесчестье и смерть вашей любимицы, умышленное расстройство государственного управления и возбуждение народа к мятежу... о! в таком случае чем кто ближе к вам, тем сильнее, неумолимее должен быть защитником ваших прав. Он не отойдет от вашего престола, пока не охранит его и нарушители этих прав не будут достойно наказаны. Ваше величество возвращаете мне снова милости ваши и прежнюю мою власть: не приму их иначе, как с головою мятежного Волынского и сообщников его...

— Этого никогда не будет! — вскричала государыня, испуганная решительным предложением своего любимца.

— В таком случае я, как ложный обвинитель верноподданных ваших, повергаю себя высшему суду: вы должны меня казнить.

— Нет, нет, вы по-прежнему мой советник, мой друг; Волынского мы удалим...

— Этого мало для примера подобных ему или мне. Моя или его голова должна слететь; нет середины, ваше величество! Избирайте.

— Боже мой! что они со мною делают! — говорила Анна Иоанновна, обращая глаза к небу, как бы прося его помощи.

— Вашему величеству предлагают собственное ваше благо, благо империи, вверенной вам богом.

— По крайней мере не без суда... Да, я хочу, чтобы он предан был суду, и если оправдается...

— Обвинения законные,— сказал Бирон, вынув из бокового кармана бумагу и подложив ее к подписи государыни,— закон и должен наказать или оправдать. Я ничего другого не требую. Осмелюсь ли я, преданный вам раб, предлагать что-либо недостойное вашего характера, вашей прекрасной, высокой души?.. Взгляните на осуждения... Государыня! твердость есть также добродетель... Вспомните, что этого требует от вас Россия.

Перо подано государыне. Дрожащею рукою подписала она приказ держать Волынского под арестом в собственном доме, и предать его суду за оскорбление величества, и прочее, и прочее.

Участь кабинет-министра и его друзей была решена. Так вертится колесо фортуны!..

Пока наряжался суд, Эйхлер успел дать знать об этом Артемию Петровичу.

— Спасайтесь,— говорил он ему,— голова ваша обречена плахе.

— Я ожидал этого,— отвечал хладнокровно Волынской, приподняв с подушки отяжелевшую голову,— я готов... Пора! Недостойный муж, недостойный сын отечества, омерзевший друзьям, самому себе, я только тягочу собою землю. Зуда прав: не мне, с моими страстями, браться было за святое, великое дело!.. Наказание, посылаемое мне богом, считаю особенной для себя милостью. Ах! Если б оно искупило хоть часть грехов моих... Нет, друг мой, я не побегу от руки, меня карающей. Жаль мне только вас... Спасайтесь вы с Зудою, пока еще время.

Волынской встал, отпер свое бюро и вынул несколько свертков с золотом.

— Возьмите это, друзья мои... поспешите где-нибудь укрыться... деньги вам помогут лучше людей... а там проберетесь в чужие края. Да спасет вас десница милосердого бога от новых бед и страстей, подобных моим...

— За кого почитаете вы меня? — прервал с негодованием Эйхлер.— Я поклялся разделить вашу участь, какова бы она ни была, и никогда не изменял своему слову. Разве и у меня недостанет сил умереть?..

Не было ответа. Рыдая, они обнялись.

Когда Волынской узнал, кто был наряжен судить его, он уверился, что смертный его приговор неминуем.

— Но прежде казни моей,— сказал он,— хочу еще замолвить одно слово государыне за мое отечество. Истина пред смертным часом должна быть убедительна.

Надеясь всего хорошего от личного свидания его с государыней, Эйхлер не отговаривал его.

Наскоро оделся кабинет-министр и отправился во дворец. Внезапному его там появлению изумились, как удивились бы появлению преступника, сорвавшегося с цепи. Придворные со страхом перешептывались; никто не смел доложить о нем императрице. Недолго находился он в этом положении и собирался уж идти далее, прямо в кабинет ее величества, как навстречу ему, из внутренних покоев — Педрилло. Наклонив голову, как

разъяренный бык, прямо, всею силою,— в грудь Волынского. На груди означился круг от пудры.

— Ге, ге, ге! каковы рога у козла! — вскричал Педрилло, отскочив шага на два назад, выпучил страшно глаза и заблеял по-козлиному.

Разъяренный, забыв, что он во дворце, кабинет-министр замахнулся на шута тростью... удар был силен и пришел в шутовскую харю. С ужасным криком растянулся Педрилло; кровь полила из носу струею.

— Кровь! кровь! убил!..— раздалось по дворцу.

Тревога, беготня, шум. Прислуга, лекаря, придворные — все смешалось, все составило новый, грозный обвинительный акт против кабинет-министра.

Шута, вскоре оживленного, прибрали. Но через несколько минут вышел из внутренних покоев фельдмаршал Миних и объявил Волынскому от имени ее императорского величества, чтоб он вручил ему свою шпагу и немедленно возвратился домой, где ему назначен арест. Это объявление сопровождалось дружеским и горестным пожатием руки.

— Граф! — отвечал Волынской, отдавая ему свою шпагу и гоф-лакею свою трость,— участь моя решена... От вас Россия имеет право ожидать, чтобы вы докончили то, что внушила мне любовь к отечеству и что я испортил моею безумною страстью... Избавьте ее от злодея и шутов и поддержите славу ее...

Когда он возвращался домой, несколько людей остановили его карету.

— Спасайся, наш отец,— говорили они,— дом твой окружен крепким караулом. Отпряжем лошадей и ускачем от беды.

— Благодарю, друзья мои,— отвечал Артемий Петрович и велел кучеру ехать прямо домой.

Пленник сам отдался страже. На дворе успел он только проститься с Зудою, которого увлекали. В прихожей встретили его объятия жены, забывшей все прошедшее при одной вести, что муж ее в несчастии. Она узнала от Зуды благородный поступок Артемия Петровича по случаю предложения государыни жениться на княжне Лелемико.

Суд продолжался несколько дней. Не все формы были соблюдены. Но Волынского и друзей его велено осудить, и кто смел отступить от этого повеления?.. К прежним обвинительным пунктам присоединили и пролитие крови во дворце. Один из судей

(Ушаков), подписывая смертный приговор, заливался слезами.

С этим приговором герцог курляндский явился к государыне.

— Что несете вы мне? — спросила она дрожащим голосом и вся побледневши.

— Смертный приговор мятежникам,— отвечал он с грозною твердостью.

— Ах! Герцог, в нем написана и моя смерть... Вы решились отравить последние дни моей жизни...

Государыня заплакала.

— Я желаю только вашего благополучия и славы! Впрочем, на всякий случай я изготовил другое решение.

Бирон, трясясь в ужасном ожидании, подал ей другую бумагу.

— Что это значит? — вскричала Анна Иоанновна,— казнь ваша?.. И вы даете мне выбирать?..

— Ту голову, которая для вас дороже. Я не могу пережить унижение закона и честь вашу.

— Господи! Господи! что должна я делать?.. Герцог, друг мой! сжальтесь надо мною... мне так мало остается жить... я прошу вас, я вас умоляю...

Государыня вне себя ломала себе руки. Бирон был неумолим. В эти минуты он истощил все свое красноречие в защиту чести, закона, престола... Злодей восторжествовал. Четыре роковые буквы «Анна» подписаны рукою полуумирающей... Слезы ее испятнили смертный приговор.

Глава XII

РАЗВЯЗКА

Во все время, пока продолжался суд, Наталья Андреевна не отходила от своего мужа, утешала его как могла, читала ему псалмы, молилась с ним и за него. Последние часы его были услаждены этим ангелом, посетившим землю, не приняв на ней ничего земного, кроме человеческого образа. Она понемногу облегчала для него ужасный путь.

Наступил роковой час. Прислали — кого ж? Подачкина — взять бывшего кабинет-министра из-под домаш-

него ареста, чтобы до исполнения приговора держать его в крепости.

— Безумцы! — сказал, горько усмехаясь, Волынской, когда надевали на него цепи,— они думают оскорбить меня, подчинив надзору бывшего моего слуги! Я уж не земной, а *там* не знают ни оскорблений, ни цепей.

Только при виде жены, лежавшей без памяти на пороге и загородившей ему собой дорогу, он потерял твердость. Облив слезами ее ледяные руки, повергнулся пред образом спасителя, молился о ней, поручал ее с младенцем своим милостям и покровительству царя небесного:

— Будь им отец вместо меня! Если у меня будет сын, научи его любить отечество выше всего и...

Только бог слышал остальные слова.

— Я хотел просить ее благословения,— сказал он, когда толкнул его грубо Подачкин и напомнил, что время идти,— но, видно, я недостоин и его...

— Прости мне, хоть заочно,— прибавил он; с грустью еще раз поцеловал ее руку и перешагнул через нее...

На дворе ожидало его новое горестное зрелище. Вся дворня, от малого до большого, выстроилась в два ряда. Все плакало навзрыд; все целовали его руки, прощались с ним, молили отца небесного помиловать их отца земного. Каждого обнял он, всех умолял служить Наталье Андреевне, как ему служили... не покидать ее в случае невзгоды...

Умолчу об ужасном заточении, об ужасных пытках... скажу только: они были достойны сердца временщика.

Наконец, день казни назначен.

К лобному месту, окруженному многочисленным народом, привезли сначала Волынского, потом тайного советника Щурхова в красном колпаке и тиковой фуфайке (не знаю как, очутились тут же и четыре польские собачки его; верного Ивана не допустили); прибыли на тот же пир седовласый (сенатор) граф Сумин-Купшин, неразлучный с ним (гоф-интендант) Перокин и молодой (кабинет-секретарь) Эйхлер. Какое отборное общество! почти все, что было благороднейшего в Петербурге!.. Недоставало только одного... Друзья осматривались, как будто искали его.

— Где ж Зуда? — спросил Эйхлер.

— Он сослан в Камчатку,— отвечал офицер, наряженный в экзекуцию [1].

— Благодарение богу! — воскликнул с чувством Волынской,— хоть одним меньше!

Негодование вылилось на лице Эйхлера.

— А разве меня выкинете из вашего счета,— сказало новое лицо, только что приведенное на лобное место (это был служка несчастного архиепископа Феофилакта),— по крайней мере я благодарю господа, что дозволил мне умереть не посреди рабов временщика. Утешьтесь! мы идем в лоно отца небесного.

Друзья, старые и новые, обнялись, прочитали с умилением молитву, перекрестились и ожидали с твердостью смерти.

Сначала пала рука Волынского, потом три окровавленные головы (его, Щурхова и Перокина). Эйхлер и служка не удостоены этой чести: их наказали кнутом и сослали в Сибирь, в каторжную работу. Графу Купшину (по лишении его чинов!..) отрезали язык и дали паспорт в вечную ссылку. Видно было по знакам его, что он просил смерти.

В это время раскаленное ядро солнца с каким-то пламенным рогом опускалось в тревожные волны Бельта, готовые его окатить [2], залив, казалось, подернулся кровью. Народ ужаснулся... «Видно, пред новой бедой»,— говорил он, расходясь.

Все мертвое отвезли на телеге, под рогожкою, на Выборгскую сторону, ко храму Самсона-страноприимца [3], все живое выпроводили куда следовало.

Предание говорит, что на лобном месте видели какого-то *некреста,* ругавшегося над головою Волынского и будто произнесшего при этом случае: «Попру пятою главу врага моего». По бородавке на щеке, глупо-умильной роже, невольническим ухваткам можно бы поду-

---

[1] Участь Зуды облегчена, без всякого, однако ж, со стороны его домогательства, потому только, что он в самом начале борьбы Волынского с Бироном уговаривал первого не вступать в нее. До ссылки наказан он, однако ж, плетьми. Одну участь и в одно же время с Эйхлером имел генерал-кригскомиссар Соймонов. *(Примеч. автора.)*

[2] После жестоких морозов была оттепель, отчего в заливе переломался лед. *(Примеч. автора.)*

[3] Выстроенному Петром I в память победы, одержанной под Полтавою. *(Примеч. автора.)*

мать, что этот изверг был... Но нет, нет, сердце отказывается верить этому преданию.

Вскоре Тредьяковский получил кафедру элоквенции.

Предание говорит также, что на первом этапе нашли Эйхлера, плавающего в крови, и подле него ржавый гвоздь, которым он себя умертвил.

Со дня казни полиция беспрестанно разбирала в драке людей Волынского, пустившихся в пьянство, с людьми Бирона. Неугомонных принуждены были выслать из города, а некоторых наказать плетьми.

От всего этого разрушения осталась одна несчастная Волынская,— божье дерево, выжженное почти до корня ужасною грозою. Она дала слово жить для своего младенца — и исполнила его.

Все имение осужденных было взято в казну. Жене бывшего кабинет-министра оставили дворов пять в каком-то погосте, удаленном от Петербурга. За нею просились все дворовые люди; но позволили идти только двум старикам.

Ледяной дом рухнулся; уцелевшие льдины развезены по погребам. В доме Волынского, прежде столь шумном и веселом, выл ветер. Народ говорил, что в нем поселился дух...

Когда растаял снег, на берегу Невы оказался весьма хорошо сохранившийся труп человека с бритой головой и хохлом... Под смертною казнью запрещено было говорить об этой находке.

Глава XIII

ЭПИЛОГ

Сыны отечества! в слезах
Ко храму древнему Самсона!
Там за оградой, при вратах
Почиет прах врага Бирона.
Отец семейства! приведи
К могиле мученика сына:
Да закипит в его груди
Святая ревность гражданина!

...Ангелам своим заповедает о тебе — охранять тебя на всех путях твоих.

Пс. XC, ст. 11

Анна Иоанновна недолго пережила казнь Волынского. Чтобы сделаться правителем России, Бирону недоставало только имени: исторгнув его от умирающей государыни, предсказавшей вместе с этим падение своего любимца, *регент* недолго пользовался своею грозною, хищническою властью. Слово мученика не прошло мимо. Кто не знает об ужасной ночи, в которую, под неучтивыми ружейными прикладами, стащили его за волосы с пышной дворцовой постели, чтобы отправить в Сибирь по пути, протоптанному тысячами его жертв? Кто не слыхал об этой ночи, в которую жена его, столь надменная и пышная, предана поруганию солдат, влачивших ее по снегу в самой легкой ночной одежде? За плащ, чтобы прикрыть свою наготу, отдала бы она тогда все свои бриллианты!.. Миних совершил это дело, может быть, оплодотворив в сердце своем семена, брошенные на него Волынским.

Мелькнула на ступенях трона и неосторожно оступилась на нем Анна Леопольдовна, это миловидное, простодушное дитя-женщина, рожденная не для управления царством, а для неги и любви. Россия ждала *свою* родную царицу, дочь Петра Великого, и Елисавета Петровна одним народным именем умела в несколько часов приобресть державу, которую оспоривала у ней глубокая, утонченная, хотя и своекорыстная, политика, умевшая постигнуть русский ум, но не понимавшая русского сердца. *«Вы знаете, чья я дочь?»* — сказала она горсти русских, и эта горсть, откликнувшись ей родным

приветом *матери*, в одну ночь завоевала для нее венец, у ней несправедливо отнятый.

Чего не могла сделать государыня по сердцу народа? Она сбросила с него цепи, заживила раны его, сорвала черную печать, которою сердце и уста были запечатаны, успокоила его насчет *православия*, которым он так дорожит, воскрылила победу, дала жизнь наукам, поставив сердце России краеугольным камнем [1] того храма, которое с ее времени в честь их так великолепно воздвигается. Она — чего нам забыть не должно,— своим примером внушив немецкой княжне, что́ может *народность* над сердцем русского, подарила нас великою государынею, которая потому только в истории нашей не стоит на первом месте, что оно было занято Петром беспримерным. Тотчас по вступлении своем на престол Елисавета спешила посетить в душном, мрачном заключении тверского архиепископа Феофилакта.

— Узнал ли ты меня? — спросила она, снимая с него железа.

— *Ты искра Петра Великого!* — отвечал старец и умер вскоре, благословляя провидение, дозволившее ему увидеть на русском престоле народную царицу.

Русский гений поэзии и красноречия, в лице холмогорского рыбака, приветствовал ее гармоническое царствование первыми сладкозвучными стихами и первою благородною прозой. Но лучшею одою, лучшим панегириком Елисавете были благословения народные. Вскоре забыли о кровавой бироновщине, и разве в дальних городах и селах говорили о ней, как теперь говорят о пугачевщине; да разве в хижинах, чтобы унять плачущих ребят, пугали именем *басурмана-буки*.

Здесь должен я, однако ж, рассказать одно происшествие, которое невольно напоминает нам грозного временщика.

В один из летних дней 1743 года, когда вместе с жителями Петербурга улыбалась и природа, подходили от московской стороны к Исакию Далматскому три лица, на которых наблюдательный взор невольно должен был остановиться, которые живописец вырвал бы из толпы, тут же сновавшейся, чтобы одушевить ими свой холст. Впереди шла крестьянка, по-видимому лет тридцати. Несмотря на худобу ее и темный загар, напоминающий картины греческого *письма*, взор ваш сейчас угадал бы,

---

[1] Московский университет. *(Примеч. автора.)*

что она была некогда красавица; сердце и теперь назвало бы ее прекрасною — столько было души в ее печальных взорах, так много было возвышенного, благородного, чего-то небесного, разлитого по ее интересной физиономии. Это благородство в чертах, какая-то покорность своему жребию, несвойственная черни, и руки, хотя загорелые, но чрезвычайно нежные, не ладили с ее крестьянской одеждой. За нею шел седовласый старик, что-то вроде отставного солдата, в сером балахоне и в белом, чистом галстухе, в лаптях и с бритой бородой. Он имел одно из тех счастливых лиц, по которому с первого взгляда вы поручили бы ему свои деньги на сохранение, свое дитя под надзор. Он нес на руках дитя, лет трех, смугло-розовое, с черными кудрями, завитыми в кольца, с черными, острыми глазами, которые, казалось, все допытывали, все пожирали. «Прекрасный цыганенок!» — сказали бы вы. Между тем в нем было что-то такое, почему б вы его тотчас признали за барского сына. Обвив левою рукою шею старика, он то прижимался к нему, когда встречал экипаж, с громом на них наезжавший, то ласково трепал его ручонкою по щеке, миловал его, то с любопытством указывал на высокие домы и церкви, на флаги кораблей, на золотую иглу адмиралтейского шпица.

— Это что, дядя, это что? — спрашивал он, поворачивая за подбородок голову старика, куда ему нужно было.

На челе последнего тяжелыми слоями лежала печаль, так же как и на лице молодой женщины; но заметно было, что он, вызываемый из своего пасмурного состояния живыми вопросами малютки, силился улыбнуться, чтобы не огорчить его. Не с большею бережью и заботливостью нес бы он царское дитя.

У паперти Исакиевской церкви остановились они. Дверь в церковь была отворена; в темной глубине ее мелькала от лампады светлая, огненная точка. Молодая женщина взяла малютку с рук пестуна его, велела ему молиться и сама положила три глубоких земных поклона. Когда она встала, в глазах ее блистали слезы. Потом вынула из сумочки, на поясе висевшей, свернутую, крошечную бумажку и три гроша и, отдавая их слуге, сказала:

— Поскорей! нам надо поспешать к обедне.

Слуга вошел в церковь, где причет готовился к священнослужению, отозвал к себе дьячка, вручил ему бу-

мажку и два гроша, на третий взял восковую свечу, поставил ее пред образом спасителя и, положив пред ним три земных поклона, возвратился к молодой женщине. Дьячок передал бумажку священнику, а тот, развернув ее при свете лампады, прочел вслух:

— *За упокой души рабы божьей Марии,*— и прибавил лаконическое: — будет исполнено!

Молодая женщина сама уж взяла на руки дитя, несмотря на заботливые предложения слуги понести это бремя. Потом вся эта занимательная группа побрела далее, чрез дворцовую площадь, в каком-то сумрачном благоговении, молча, с поникшими в землю взорами, как будто шла на поклонение святым местам. Сам малютка, смотря на пасмурное лицо молодой женщины, долго не смел нарушить это благочестивое шествие. Но против дворца необычайность поразившего его зрелища заставила его вскрикнуть:

— Мамаша, мамаша! посмотри, что это такое?

Мать оглянулась, куда указывало дитя, и увидела в двух шагах от себя что-то безобразное, изуродованное, в лохмотьях, похожее на цыганку. Эти развалины живого человека лежали в двухколесной тележке, которую вез старик цыган. Грозно приподняв на него палку, полицейский служитель кричал, чтоб они съезжали с дворцовой площади и никогда на ней не показывались, что им уже давно велено из Петербурга вон. По-видимому, цыганка была лишена употребления ног. В диких глазах ее выражалось совершенное расстройство ума. Она делала разные движения рукой, указывая на дворец, и бормотала какие-то приветствия какой-то княжне, называя ее самими нежными именами. Когда цыган хотел везти ее далее, безумная приходила в бешенство, и тот принужден был уступать, уверяя полицейского солдата, что они сейчас съедут, лишь бы ему немного вздохнуть.

Поравнявшись с ними, молодая крестьянка, или та, которую мы за нее принимаем, бросила во имя Христа в тележку несколько медных денег. Будто гальванической силой приподняло цыганку при взгляде на ребенка.

— Подай, подай мне!.. это *его* сын...— закричала она так, что мать в испуге бросилась бежать, озираясь частенько, не выскочила ли из тележки ужасная женщина, не преследует ли ее...

Потеряв цыган из виду, она перекрестилась; но заметно было, что какие-то мрачные думы тревожили ее

во всю дорогу, и шаги ее, прежде твердые, стали запинаться. Чаще взглядывала она на свое дитя, еще нежнее прижимала его к груди.

Путь их был на Выборгскую сторону.

Они спешили. День был жаркий. Лицо молодой женщины разгорелось, щеки малютки алели — слуга убеждал отдать ему драгоценное бремя; но мать не соглашалась, как бы боясь поручить его хилым рукам старика, из которых какая-нибудь новая цыганка могла бы вырвать.

Вот они уж на Выборгской стороне, вот и у церкви Самсона-страннолриимца. Благоговейный ужас выразился на лицах пилигримов, когда они через ворота вошли в ограду. Здесь представился им погост, усыпанный многочисленными возвышениями, изрытыми смертью, этим всемирным, неутомимым кротом,— гостиница, где для всякого нового приезжего и прихожего всегда найдется приличная почивальня, на которую ни один из них еще не жаловался! И почти над всяким возвышением по камню, положенному будто из боязни, чтобы принятый землею не возвратился на нее! И на каждом крест — знамение жизни земной и стремления к небу!.. С трепетом оглянулись путники на могилу у самых ворот... молодая женщина побледнела, губы ее посинели, и руки затряслись так, что она была готова уронить свое дитя. Слуга успел принять его и опустить возле себя на землю. Рыдая, пала странница на могилу и долго, очень долго лежала на ней без чувств. Старик стоял на коленах; он молился... слезы текли по изрытым его щекам. Дитя плакало и, уцепившись ручонками за платье матери, силилось приподнять ее.

Эта крестьянка была Наталья Андреевна Волынская, это дитя был ее сын, старик — слуга ее и пестун малютки.

Наталья Андреевна пришла в Петербург, куда вызвало ее правительство для возвращения ей имения, отнятого в казну во время бироновщины. Первым делом ее, по прибытии в город, было идти на святую для нее могилу.

Ударили в колокол к обедне. Стараниями усердного служителя приведена она в себя. Она перекрестилась, стала на колена, схватила сына и, наклонив его голову на могилу, говорила ему, нередко прерывая свою речь рыданиями:

— Здесь лежит отец твой... молись за упокой

души его... скажи: папенька! благослови меня с того света!

И дитя твердило:

— Папенька! благослови меня с того света...

— О милый, незабвенный друг! видишь, я исполнила обет свой... я дала тебе сына... посмотри, он весь в тебя... я привела его к тебе... благослови нас, милый мученик!.. Кабы не он, я давно б лежала здесь подле тебя.

Вдохновенная своею любовью, она, казалось, видела кого-то сходящего с неба, и глаза ее блистали дивным, неизъяснимым восторгом.

Слуга напомнил, что пора к обедне. В самом деле, она началась, и Волынская, бросив еще взгляд на бугор, где, казалось, почивало существо, для нее бесценное, шатаясь, побрела с своим младенцем в церковь. Там дьячок читал уж апостол. Кроме двух, трех старух, богомольцев никого не было. Невольно взглянул чтец на пришедших... и что ж? он смешался... голос его начал прерываться более и более, наконец слезы задушили его.

— Что с тобой? — спросил священник с неудовольствием.

Этот выговор заставил его оправиться; кое-как докончил он чтение. Нередко вглядывался в него и слуга Волынского.

По окончании обедни, когда Наталья Андреевна просила отслужить панихиду на могиле мужа, дьячок бросился целовать у ней руки и сказал:

— Матушка, Наталья Андревна, вы не узнали меня?.. А помните ли тайного советника Щурхова... приятель был вашего сожителя и положил вместе с ним голову: я Иван... бывший дворец...

Дьячок не договорил и залился опять слезами.

Это был верный служитель благородного, возвышенного чудака в красном колпаке. Он выучился исправно читать и определился дьячком к той церкви, при которой был погребен его барин. Он не хотел расстаться и с прахом его.

С любовью сестры Наталья Андреевна обняла Ивана и *представила* ему своего сына.

Можно догадаться, с каким чувством пел он похоронные песни при служении панихиды.

По окончании ее повел он Волынскую на ближнюю могилу.

— Здесь лежат косточки моего барина...— начал он и опять не договорил. Немного погодя, оправившись, продолжал: — Ах! матушка, кабы вы знали, как все его-то для меня дорого... Обноски его берегу, словно зеницу ока... Две польские собачки и теперь живут со мною; а двух других, поверите ли? не мог оттащить от его могилы; на ней, бедненькие, и издохли...

С того времени видали очень часто молодую знатную барыню, всю в черном, с маленьким сыном на могиле Волынского. На ней, казалось, она состарилась, на ней вырастила и воспитала его.

Слышно было вскоре, что в Рыбачьей слободе умерла какая-то сумасшедшая цыганка и что ее товарищ ускакал бог весть куда, на кровном коне, которого украл с бывшей конюшни Бирона.

«ЛЕДЯНОЙ ДОМ»: ЛЕГЕНДА И ИСТОРИЯ

Иван Иванович Лажечников (1792—1869) был из тех, кто всегда шагает в ногу с эпохой, не забегая вперед, но и не отставая от нее. Он рано определился в службу — и к концу жизни выслужился: в 1840—1850-е годы Лажечников исправлял вице-губернаторские должности в Твери и Витебске. В молодости он успел и повоевать — в 1812 году вступил в ополчение, через три года участвовал во взятии Парижа и в 1819 году вышел в отставку в чине штабс-капитана. Так появились «Походные записки русского офицера» (отд. изд.: СПб., 1820), которые доставили Лажечникову литературную известность; писательскую же славу он стяжал много позже, когда выпустил три исторических романа кряду — «Последний Новик» (1833), «Ледяной дом» (1835) и «Басурман» (1838).

Спрос на историческую беллетристику в 1820—1830-е годы был неизменно велик (вкусы читательской аудитории воспитывались на романах Вальтера Скотта), удовлетворялся он отнюдь не равноценной по качеству продукцией, и нет ничего удивительного в том, что удачный дебют Лажечникова сразу выдвинул его в ряд признанных мастеров этого жанра (таких, как Загоскин, Марлинский, Полевой). Но вообще-то популярность романов Лажечникова, среди которых первенствует, конечно, «Ледяной дом», объясняется не только их литературными достоинствами и очень недурной по тем временам эрудицией автора в специальных вопросах. Дело заключалось еще и в выборе самих сюжетов, в продуманном распределении света и тени при описании тех или иных исторических ситуаций и конфликтов. Коротко говоря, Лажечников проявил себя как умный стратег, в полной мере учитывающий господствующее настроение умов в современный ему период русской истории.

Известно, что первые годы царствования Николая I породили в обществе надежду на обновление страны. Сменив на престоле своего старшего брата, некогда очень много обещавшего, но ничего не добившегося практически, подчинившего, по общему мнению, внешнюю политику иностранным интере-

сам и передоверившего административную власть Аракчееву,— Николай постарался вдохнуть энергию в государственную жизнь, резко поменял правительственный курс и преобразил придворный стиль. Русской публике импонировали твердая рука и армейская прямота нового императора; крутая расправа с декабристами ужасала, но учреждение комитета для рассмотрения проектов насущных реформ, удаление ненавидимого всеми Аракчеева, наконец, активные и удачные мероприятия на международной арене вызывали сочувствие в обществе, быстро эволюционировавшем от оппозиции к лояльности. По словам возвращенного из ссылки Пушкина, «Россию вдруг он оживил // Войной, надеждами, трудами».

Параллель между Николаем I и Петром Великим (их правления разделяло ровно сто лет: 1725—1825) получила в те годы широкое хождение; ее использовала официальная пропаганда (Николай — непосредственный продолжатель дела Петра), к ней обращались и независимые литераторы (Петр — образец, которому должен подражать молодой государь). Поэтому произведения, посвященные петровской эпохе — и в частности первый исторический роман Лажечникова,— имели весьма актуальный подтекст. Самому Петру уделено не так уж много места в «Последнем Новике», но читатель обязательно запомнит то обстоятельство, что император прощает заглавного героя, который некогда участвовал в заговоре против него и даже покушался убить Петра. «Милость красит венец царский» — эта реплика, вложенная в уста одного из советников Петра, одновременно резюмирует толки значительной части русского общества начала 1830-х годов, ожидавшего от Николая амнистии декабристам. При всем том Лажечников вовсе не разделял воззрений вождей тайного общества: он был одушевлен идеями «человеколюбия», «европейского просвещения», «прогресса», но они никогда не ассоциировались у него с политическим радикализмом.

Идеальным монархом и идеальным человеком выступает у Лажечникова Петр — вернее мифологизированный его облик, который вытеснил из массового сознания реальную фигуру первого отечественного императора. Лажечников допустил эту подмену сознательно: отнюдь не пренебрегавший разведкой документальных материалов и достоверно воспроизводивший бытовой фон, он убежденно отстаивал право исторического романиста «следовать более поэзии истории», нежели истинному ходу событий описываемой эпохи; «не его дело,— читаем в прологе к «Басурману»,— перебирать всю меледу, пересчитывать труженически все звенья в цепи этой эпохи...». Такой установкой руководствовался Лажечников и в работе над «Ледяным домом», где изображен один из самых мрачных и таинственных

периодов русской истории — правление императрицы Анны Иоанновны (в прошлом курляндской герцогини).

Подобно тому как образ Петра в «Последнем Новике» ориентирован на устойчивые одические клише, основной конфликт «Ледяного дома» восходит к преданию (сложившемуся в екатерининскую эпоху) о русском патриоте Волынском, погубленном в результате происков своекорыстного «иноземца» Бирона — фаворита Анны. Еще в 1809 году популярный тогда драматург В. А. Озеров замыслил трагедию «о смерти Волынского, пострадавшего от Бирона за правду и защиту русского народа» (Русский архив, 1869, стлб. 143), однако свое намерение не реализовал. Первое произведение на этот сюжет — дума К. Ф. Рылеева «Волынский», герой которой — «верный сын отчизны», а его борьба с «пришлецом иноплеменным» — «пламенный порыв // Души прекрасной и свободной». Строки из рылеевской думы Лажечников поставил эпиграфом к эпилогу «Ледяного дома», и это не носило характер смелого гражданского акта (как порой у нас пишут), ибо основывавшаяся на предании декабристская трактовка конфликта между Волынским и Бироном вполне укладывалась в рамки культивируемой в николаевское время национально-патриотической концепции русской истории.

Волынский в романе говорит о «чужеземном нашествии»; этот оборот был памятен всем читателям, пережившим Отечественную войну с французами. В их сознании размывалась граница между патриотической легендой, зародившейся в XVIII веке, и недавней героической историей: сам термин «бироновщина», не встречавшийся в литературе вплоть до начала 1830-х годов и впервые употребленный, видимо, именно в «Ледяном доме», воспринимался —и воспринимается до сих пор! — в одном ряду с терминами, происхождение которых документируется историческими источниками (такими, как «двунадесять языков» и т. п.).

«Ледяной дом» выявил продуктивность еще одной легенды, также возникшей в XVIII веке. Она была направлена против поэта и филолога В. К. Тредиаковского, имя которого стало синонимом совершенной бездарности, псевдоучености, непроходимой глупости и человеческой ничтожности. Согласно этой легенде, «поэту-шуту» Тредиаковскому неизменно противостоял Ломоносов — великий ученый и создатель русской литературы. Влиятельность легенды была такова, что даже Пушкин долгое время находился в ее плену. Но уже в 1835 г. его отзыв о романе (в письме Лажечникову) включал, помимо замечаний общего характера, и апологию «вечного труженика»: «Может быть, в художественном отношении «Ледяной дом» и выше «Последнего Новика», но истина историческая в нем не соблюдена,

и это со временем, когда дело Волынского будет обнародовано, конечно, повредит вашему созданию. <...> За Василия Тредьяковского, признаюсь, я готов с вами поспорить. Вы оскорбляете человека, достойного во многих отношениях уважения и благодарности нашей. В деле же Волынского играет он лице мученика» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. 16. М.— Л., Изд-во АН СССР, 1937—1962, с. 62).

Голос Пушкина прозвучал, впрочем, одиноко. Публике было мало дела до «истины исторической», а сюжетной стройности, повествовательного динамизма, выразительной портретности у «Ледяного дома» не отнимешь. Важной и смелой новацией Лажечникова явилось то, что главными героями романа избраны реальные исторические персонажи — Анна Иоанновна, Бирон, Волынский... В русской романической традиции было принято оставлять фигуры такого масштаба на втором и третьем планах (если действие разворачивалось не в баснословные времена Дмитрия Донского или Ивана III): они скорее обозначались, нежели изображались, и демонстрировались читателю для подтверждения «документальной» основы описываемых событий — или же являлись как «deus ex machina» [1] в развязке. У Лажечникова упор сделан на невыдуманных конфликтах, и теперь частная жизнь оттеняет исторические деяния государственных особ. Все это обостряло интерес к «Ледяному дому» и определило двоякое его восприятие — и как художественного произведения, и как исторического повествования, сообщающего определенную информацию об эпохе, еще не подвергшейся научному изучению.

В главный (политический) конфликт «Ледяного дома» — между пылким патриотом Волынским и бездушным немцем Бироном — вплетено несколько сквозных мотивов, три из которых — ледяного дома, шутовства, шпионства — не только важны для сюжета и поэтики романа, но и имеют твердую историческую подоснову.

Бирон Эрнст-Иоганн (1690—1772) — фаворит Анны Иоанновны, в 1730 г. приехавший в Россию вслед за ней из Курляндии. Во все царствование императрицы Анны (1730—1740) пользовался ее абсолютным доверием и преимущественным влиянием в государственных делах, особенно при назначении на высшие должности и в решении вопросов, касающихся сферы его личных интересов. Официальных постов в русском правительстве Бирон не занимал, довольствуясь придворным званием обер-камергера. В 1737 г. он был заочно избран герцогом Кур-

[1] Бог из машины *(лат.)*.

ляндии, которой управлял из Петербурга. Арестованный в ноябре 1740 г., через три недели после смерти императрицы, 20 лет провел в ссылке, в 1762 г. был возвращен в герцогство. Ко времени написания «Ледяного дома» сложилась устойчивая мемуарная и историографическая традиция, восходящая к 1770-м гг. и оценивавшая Бирона исключительно отрицательно. Постоянно подчеркивались «честолюбие, злоба, мщение и ненасытное сребролюбие герцога Курляндского» (Кайданов И. Начертание истории государства Российского. СПб., 1829, с. 346). Бирон объявлялся единственным виновником всех преступлений эпохи: «Неслыханно ужасные казни Долгоруких, гибель Волынского, гонения на Миниха и 20 000 жертв, погубленных им именем императрицы, долгое время делали страшным для слуха век, к которому вовсе несправедливо привязывалось имя Анны Иоанновны и который по истине должно было бы назвать Бироновским» (Энциклопедический лексикон, т. 2. СПб., 1835, с. 322). На фоне единодушного осуждения изредка встречались и более объемные оценки: «Бирон был умен, и хотя он никакого языка не знал порядочно, но от природы одарен был красноречием» (Миних Э. Россия и русский двор в первой половине XVIII века. СПб., 1891, с. 140); «От природы тщеславный, грубый и жестокий, он, однако ж, был тверд, решителен в делах и склонен к предприятиям самым обширным. Побуждаемый честолюбием, он желал прославить имя своей государыни по всему свету. Жадный к приобретениям и вместе с тем расточительный, он обладал несколькими полезными качествами, не имея ни одного хорошего или привлекательного» (Письма леди Рондо, жены английского резидента при русском дворе в царствование имп. Анны Иоанновны. СПб., 1874, с. 152). Эти отзывы (второй из которых принадлежал прусскому королю Фридриху II), вероятно, привлекли внимание Пушкина и способствовали переосмыслению им личности и исторического места Бирона. В пушкинских черновиках в начале 1830-х гг. появляется: «И Бирон твердый непреклонный», «И Бирон умный и суровый» и т. п. (Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. 5, с. 402); ср. более развернутое и полемически заостренное суждение в письме к Лажечникову от 3.XI 1835 г.: «Он имел несчастие родиться немцем; на него свалили весь ужас царствования Анны, которое было в духе его времени и в нравах народа. Впрочем, он имел великий ум и великие таланты» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. 16, с. 62). Лажечников, в отличие от Пушкина, игнорировал «усложнявшие» Бирона характеристики и предпочел остаться в рамках однозначной «антибироновской» концепции. При этом, создавая портрет Бирона, Лажечников старался использовать источники как можно полнее: тщеславие, презре-

ние к русским, страсть к лошадям, любовь к ярким цветам в одежде — все это и многое другое документировано историческим материалом.

Волынский Артемий Петрович (1689—1740) принадлежал к младшему поколению «птенцов гнезда Петрова». Высших должностей он достиг после того, как с середины 1730-х гг. стал пользоваться покровительством Бирона. В 1736 г. был назначен обер-егермейстером (управляющим придворной охотой), одновременно управлял и конюшенным ведомством. Это были места, обеспечивавшие постоянную близость к императрице, учитывая ее любовь к охоте, лошадям и стрельбе. В 1737 г. Волынский — один из главных деятелей «Вышнего суда» над Д. М. Голицыным, вождем аристократической группировки, стремившейся ограничить власть императрицы Анны при ее восшествии на престол. В апреле 1738 г. Волынский, по его словам, «через великий порог перешагнул или перелетел» — вошел в Кабинет министров. В руках энергичного и честолюбивого Волынского вскоре сосредоточились многие нити управления страной; он выдвинулся в основные докладчики императрицы по кабинетским делам. В этой связи обострились его отношения с А. И. Остерманом, которого Волынский старался оттеснить на второй план, а в 1739 г.— и с Бироном. Ощутивший себя теперь едва ли не первым лицом в правительстве, Волынский зимой 1740 г. решился даже на открытый конфликт с Бироном — из-за вознаграждения полякам. Этот хорошо известный эпизод подробно воспроизведен в «Ледяном доме». Все это предрешило опалу Волынского, от которой его не спасло и удачное устройство шутовской свадьбы (Волынский был главой «машкерадной комиссии»). В начале апреля 1740 г. Волынскому запретили появляться при дворе. Попытки обратиться за помощью к Бирону и Миниху ни к чему не привели; вскоре Волынский был арестован и доставлен в Тайную канцелярию. Вслед за ним арестовали нескольких его друзей, помогавших ему в работе над «Генеральным проектом о поправлении государственных дел» и вошедших в историю под именем «конфидентов Волынского»: придворного архитектора П. М. Еропкина (в романе — Перокина), советника Берг-коллегии А. Ф. Хрущева (Щурхова), президента Коммерц-коллегии графа П. И. Мусина-Пушкина (Сумина-Купшина), генерал-кригскомиссара Ф. И. Соймонова, а также секретаря Иностранной коллегии де ла Суду (Зуду) и тайного кабинет-секретаря Эйхлера, единственного из «конфидентов», выведенного Лажечниковым под своим именем. Волынского обвиняли в измене, дерзких отзывах об императрице, взятках, жестокости (в том числе в избиении Тредиаковского).

Измену, подготовку государственного переворота он отрицал и на дыбе. 27 июня 1740 г. Волынского, Еропкина и Хрущева казнили; остальных подвергли ссылке.

Сделав Волынского много моложе, чем он был, изменив его семейный статус (к 1740 г. Волынский был дважды вдов, его первая жена А. Л. Нарышкина — двоюродная сестра Петра I, вторая — сестра П. М. Еропкина; от первого брака он имел троих детей), придав ему романтическую внешность, от реального лица Лажечников сохранил лишь общий контур биографии и отдельные свойства личности, тщательно отобранные им в исторических источниках. Так, из развернутой (и совпадавшей в целом с другими) характеристики, данной Манштейном: «Волынский был умен, но и чрезмерно честолюбив; гордый, тщеславный, неосторожный, он был склонен к интриге и всю жизнь слыл за неугомонного человека» (Манштейн К. Г. Записки о России. СПб., 1875, с. 189), Лажечников исключил пороки — честолюбие, тщеславие, интриганство, зато активизировал остальные свойства, соответствовавшие создаваемому в романе героическому образу.

«Ледяной дом» был выстроен зимой 1739/40 г. на Неве, рядом с императорским дворцом, примерно на месте нынешнего Дворцового моста. Работы начались в декабре, но из-за неожиданной оттепели здание было затоплено; в январе его отстроили заново. 6 февраля оно приняло новобрачных — шута князя М. А. Голицына (в романе — Кульковского) и крещеную придворную калмычку А. И. Буженинову. Современников, давно привычных к разнообразным потешным сооружениям, в том числе к снежным городкам и ледовым крепостям, постройка поразила не тем, что была создана из льда, не обширностью (16 метров в длину, 5 — в ширину и 6 — в высоту), а искусностью отделки, красотой внутреннего убранства, причудливостью скульптурного окружения. Здание подробно описал принимавший участие в его создании петербургский академик Г. В. Крафт; его книжка широко использована в романе (ч. 3, гл. I). Достоверны и приведенные Лажечниковым детали «дурацкой» свадьбы. Они стали известны писателю, конечно, не от «покойной бабушки», которая все видела «своими глазами» (ч. 4, гл. V), а из мемуаристики, например из воспоминаний Манштейна, рассказавшего о торжественном кортеже, прошедшем по главным улицам города, об обеде в манеже Бирона, о плясках и песнях инородцев, свезенных на свадьбу со всей империи, о часовых, не позволявших шутам покинуть ночью ледяной дом. Отношение Лажечникова к самой пышной из потех императрицы Анны следует интерпретировать в общем контек-

сте противопоставления писателем аннинского и петровского царствований. «Забавы» Петра I, как правило, были наполнены глубоким общественным и культурным смыслом: «всешутейный и всепьянейший собор» с его оргиями, «славлениями», пародийными церемониями, свадьбами шутов и карликов был заострен против «старины» — церковной и светской иерархии, «старого чинного уклада дворцовой жизни и жизни боярского терема» (Семенова Л. Н. Очерки истории быта и культурной жизни России. Л., 1982, с. 198); знаменитые ассамблеи приучали к современным европейским формам общения, годовщины военных побед, отмечаемые богатыми фейерверками, салютами, гуляниями, одушевляли население, воспитывали национальную гордость. Забавы Анны Иоанновны в романе лишены содержательности, они только развлечения — ее и временщика. (Ср. сетования одной из придворных дам в 1737 г.: «Теперь мы сделались драгунами: при дворе главная забава — стрелянье в цель и беганье; то и другое вытеснило катанье с горы; после всего этого едва ли мы не будем канатными танцовщицами и шутихами».— Общезанимательный вестник, 1857, № 16, с. 556.) Потехи императрицы в романе Лажечникова протекают на мрачном фоне бироновщины. Ледяная статуя — образ «бедствующей и немотствующей» России — вызвала мысль о строительстве Ледяного дома, ставшего у Лажечникова символом власти пышной, внешне блестящей, но глубоко равнодушной к судьбе страны, бесконечно далекой от ее жизни.

Шутовство в романе — знак и символ попранного человеческого и национального достоинства; как и шпионство — это характерная черта бироновщины. Возмущение Волынского тем, что «князья, люди первых фамилий русских, которых отцы стяжали себе славу на ратном поле, рядом с бессмертным Петром <...> спешат наперерыв записаться в скоморохи, в шуты» (ч. 1, гл. V),— акцентирует внимание на родовитости аннинских шутов. Действительно, из шести придворных шутов императрицы Анны — М. А. Голицына, А. П. Апраксина, Н. Ф. Волконского, И. А. Балакирева, Пьетро Мира (Петрилло, Педрилло), Я. Д'Акоста (Дакоста, Лакоста) — трое первых принадлежали к старинным фамилиям. В этом, однако, не было ничего удивительного, родовитые шуты бывали уже при Иване Грозном, а среди шутов Петра I встречались и Рюриковичи. Представление, сложившееся ко временам Лажечникова, противопоставляло аннинских шутов их предшественникам не по родовитости, а по той роли, какую играли они при дворе. Средневековые и петровские шуты, согласно этому представлению, были «голосом правды» при царе, «высказывали горькие истины в обществе»,

«обличали пороки, злоупотребления и тайные козни» (Анекдоты о Балакиреве, бывшем при дворе императора Петра Великого шутом. М., 1833, с. 9). Шуты Анны, наоборот,— это клевреты Бирона, кривляки, грубыми выходками потешавшие императрицу и ее фаворита и потакавшие их вкусам. «Должность большей части сих людей состояла более ругаться и драться между собою, нежели какие смешные штуки делать и говорить. Они набраны были из разных наций и чинов. Российские князья из знатнейших фамилий должны были в сии роли записываться. Чудный и странный внешний вид, глупость или токмо косноязычество составляли достаточные качества, чтобы приняту быть в дурацкий орден» (Миних Э. Россия и русский двор в первой половине XVIII века. СПб., 1891, с. 93).

В печальной участи легендарного «любимого шута Петра Великого» И. А. Балакирева (на самом деле он стал шутом только при Анне), единственного «сочувственника» Волынского во дворце, в унижении русских князей, пошедших в шуты к Бирону, в вынужденном участии русских бояр в шутовских праздниках видит Лажечников национальное унижение, искажение «дела Петра I». Увеселениями и шутами как бы отгорожена в романе Анна Иоанновна от России; обе попытки донести до нее правду были произведены во время ее шутовских забав (в Ледяном доме и на «родинах козы») — и обе закончились неудачно.

Роман Лажечникова породил огромный читательский интерес к шутам XVIII века. В 1836 г. появляются «Умные, острые, забавные и смешные анекдоты Адамки Педрилло», «Анекдоты Кульковского, придворного шута императрицы Анны Иоанновны» (с подробной «биографией» шута в предисловии); почти ежегодно в течение многих лет издавались, все увеличиваясь в объеме, «Анекдоты Балакирева». Для всех этих книг «Ледяной дом» обрел статус авторитетного источника.

Атмосфера эпохи, достоверно воссозданная в «Ледяном доме», — высшее достижение Лажечникова, одного из первых и лучших русских исторических романистов. «Романы Лажечникова были фактами эстетического и нравственного образования русского общества и навсегда будут достойны почетного упоминания в истории русской литературы» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. VI. М.— Л., Изд-во АН СССР, 1953—1959, с. 31).

А. Рогинский

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая

Часть вторая

Часть третья

Часть четвертая

Лажечников И. И.

Л16 Ледяной дом: Роман/Послесл. А. Рогинского.— М.: Худож. лит., 1988.— 316 с. (Классики и современники. Рус. классич. лит.).

ISBN 5-280-00022-1

Роман «Ледяной дом» (1835) — один из лучших русских исторических романов, изображающий мрачную эпоху царствования императрицы Анны Иоанновны, засилье временщика Бирона и немцев при русском дворе, рисующий героический образ Волынского, который восстал за справедливость и достоинство человека против жестокой деспотии.

Л $\frac{4702010100-017}{028(01)-88}$ 18-88

ББК 84Р1

КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННИКИ

Русская классическая литература

ИВАН ИВАНОВИЧ ЛАЖЕЧНИКОВ

Ледяной дом

Роман

Редактор
И. Парина

Художественный редактор
А. Моисеев

Технический редактор
Г. Морозова

Корректор М. Миримская

ИБ № 4893

Сдано в набор 26.02.87. Подписано в печать 23.07.87. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага кн.-журн. № 2. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 17,43. Уч.-изд. л. 17,47. Тираж 1 000 000 (2 зав. 250 001—500 000) экз. Изд. № I-2710. Заказ № 368. Цена 1 р. 40 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28

В 1987 ГОДУ В СЕРИИ «КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННИКИ» ВЫШЛИ В СВЕТ:

Русские сказки
Н. Гоголь. Повести
Н. Помяловский. Мещанское счастье. Молотов. Очерки бурсы
Сочинения Козьмы Пруткова
Л. Толстой. Анна Каренина. В 2-х книгах
В. Вересаев. Повести и рассказы
Вс. Иванов. Повести и рассказы
А. Макаренко. Педагогическая поэма
Ю. Тынянов. Пушкин
В. Шишков. Угрюм-река. В 2-х книгах
Т. Гарди. Тэсс из рода д'Эрбервиллей
Ч. Диккенс. Большие надежды
Т. Драйзер. Сестра Керри
Ш. де Костер. Легенда об Уленшпигеле
С. Льюис. У нас это невозможно. Рассказы
Г. Манн. Верноподданный. Рассказы
В. Скотт. Квентин Дорвард

«ПОЭТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

Слово о полку Игореве
К. Батюшков. Лирика
Из персидско-таджикской поэзии
Г. Лонгфелло. Песнь о Гайавате. Поэмы. Стихотворения

В 1988 ГОДУ В СЕРИИ «КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННИКИ» ВЫЙДУТ В СВЕТ:

А. Бестужев (Марлинский). Ночь на корабле. Повести и рассказы
Н. Гарин-Михайловский. Детство Темы. Гимназисты
Н. Гарин-Михайловский. Студенты. Инженеры
М. Лермонтов. Герой нашего времени. Мцыри. Демон. Маскарад. Лирика
Мелочи жизни. Русская сатира и юмор второй половины XIX — начала XX века
В. Одоевский. Повести и рассказы
А. Писемский. Тысяча душ
Русские пословицы и поговорки
Э. Казакевич. Весна на Одере. Повести
П. Нилин. Жестокость. Испытательный срок. Рассказы
А. Новиков-Прибой. Цусима. В 2-х книгах
Ю. Тынянов. Смерть Вазир-Мухтара
О. Форш. Михайловский замок. Одеты камнем
Вольтер. Орлеанская девственница. Философские повести
В. Гауф. Сказки
Ч. Диккенс. Домби и сын. В 2-х книгах
Ж. Санд. Консуэло. В 2-х книгах
В. Скотт. Пуритане

«ПОЭТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

Чудное мгновенье. В 2-х книгах
Д. Бедный. Стихотворения
Б. Пастернак. Стихотворения и поэмы
Л. Украинка. Лесная песня. Лирика и драматические поэмы

1 р. 40 к.



Русская классическая литература



И.И.Лажечников ЛЕДЯНОЙ ДОМ